дмитрий мейснер

миражи и действительность

ЗАПИСКИ ЭМИГРАНТА


АПН



Автор этой книги Д. И. Мейснер много лет живет вдали от родины. В своих воспоминаниях он рассказывает о жизненном пути, о ряде событий, участником или близким свидетелем которых он был, описывает процессы, происходившие в кругах русских белоэмигрантов.

В его записках, охватывающих более полувека, читатель найдет ряд характеристик видных политических деятелей старой России и Запада, встретит известных русских писателей и артистов, очутившихся за рубежом родины, ознакомится с эволюцией некоторых столпов белой эмиграции. Автор несколько раз бывал в Советской стране. Своими впечатлениями от поездок он делится на страницах этой книги.

ДМИТРИЙ
МЕЙСНЕР

МИРАЖИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ЗАПИСКИ ЭМИГРАНТА

Издательство
Агентства
печати
Новости
Москва 1966 г.

...Россия без каждого из нас обойтись может,
но никто из нас без нее не может обойтись;
горе тому, кто это думает, двойное горе тому,
кто действительно без нее обходится.

И. С. ТУРГЕНЕВ

К читателю

В 1959 году на мою долю выпало великое счастье — после сорокалетнего перерыва увидеть родину.

Встреча с новой Россией после долгих лет эмиграции заставила меня еще раз вспомнить свой жизненный путь, привела к волнующей работе над воспоминаниями о прожитом. С отрывками из этих воспоминаний я и обращаюсь прежде всего к советскому читателю, а также к тем русским людям и другим выходцам из России, чья судьба подобна моей, то есть к людям, живущим вне своей страны и тоскующим по ней; обращаюсь и к иностранному читателю, интересующемуся моей родиной.

Сорок лет даже в жизни страны — срок не такой уж малый. В жизни же и судьбе человека сорок лет решают обычно все, даже если эта жизнь и длится долго.

И все же чрезвычайность моей встречи с родиной совсем не в одном лишь долгом времени, прошедшем от расставания до первого свидания с ней. Гораздо важнее те огромные изменения, которые произошли в России, равно как и перемены, наступившие в сознании людей, когда-то покинувших родину, чтобы стать эмигрантами.

В самом деле, когда белая армия, потерпевшая поражение в последних схватках под Перекопом, покидала родную землю,

кто из этих часто незрелых юношей думал тогда, что он уходит навсегда, как это случилось с огромным большинством, или же в лучшем случае увидит Россию через сорок и более лет; увидит уже человеком старым и совсем не так и не такой, и сам тоже будет совсем не таким, как он представлял бы себе это тогда, если вообще в те дни об этом думал.

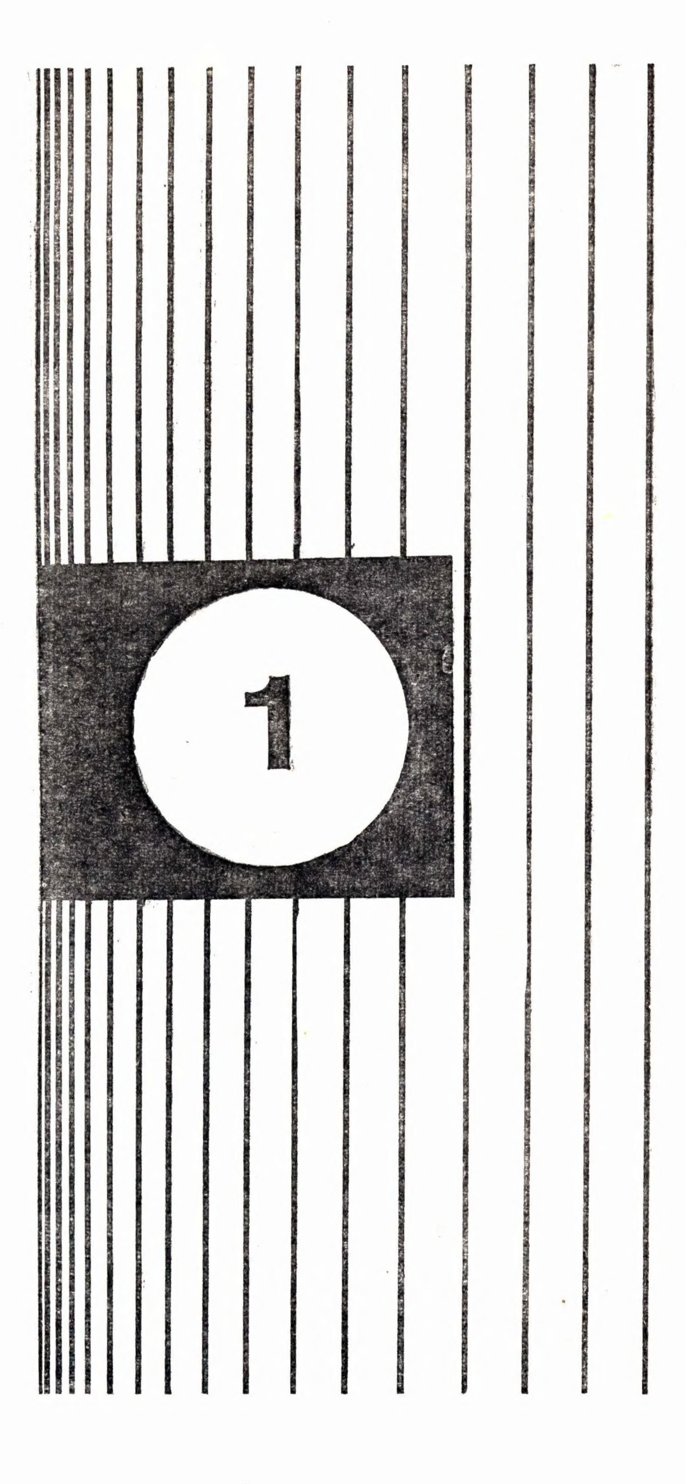
Сейчас, на самом склоне жизни, перебирая долгими вечерами и в ночную бессонницу старые записи, тетради и дневники, восстанавливая на экране памяти картины прошлого, я делаю попытку отдать себе отчет в последних днях прежней России, в горячих схватках революционных лет; прежде же всего хочу еще раз вспомнить долгие годы эмиграции. Я хотел бы рассказать о том, как из десятилетия в десятилетие, из года в год крошилась казавшаяся нам — эмигрантам — такой цельной, живой и неустранимой антисоветская идеология. Я хочу напомнить, как распадались самые главные, казалось, непреодолимые ее основы и как вторая мировая война нанесла остаткам этой идеологии решающий, сокрушительный удар.

Здесь не будет точной хронологической последовательности. Всего только ряд «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Только ряд особенно запечатлевшихся в памяти эпизодов, образов, имен, пейзажей, столкновений, чувств и размышлений.

На грани двух эпох проходила моя жизнь; вот почему в этих записках звучат, быть может, иногда перебивая друг друга, и старый мир и новый. Пусть это останется так. Каждый из своего угла или со своего маяка наблюдал бушующие перед ним волны. Каждый по-своему вдыхал аромат эпохи, и мемуаристу необходимо и важно быть правдивым и только правдивым, иначе перо само выскользнет, должно выскользнуть из его рук.

Итак, от старого мира, ушедшего в вечность, к новому миру, созидающему новую и лучшую жизнь.

Автор



У ИСТОКОВ

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа.

Ф. И. ТЮТЧЕВ

Когда я далеко за пределами родины в прекрасном, но тесном и закованном в камень древнем европейском городе думал о русской деревне, читал о колхозах-миллионерах, об огромных совхозах — фабриках зерна, о несчетных тысячах тракторов, бороздящих ее поля, я испытывал чувство гордости за свою отчизну. Радовался ее многосторонним успехам, но все же не мог до конца, во всей реальности представить себе самую плоть сегодняшней русской сельской жизни.

А между тем все свое детство я провел в деревне, впервые увидев большой город — это был Петербург — в двенадцать лет.

Деревня моего детства была во многом, можно сказать, почти во всем, совсем другая, не похожая на нынешнюю, советскую. То была деревня сиротливо выставленных ветрам и суровой непогоде бедных селений с бесчисленными покривившимися избами, жалобно поглядывавшими на окружающий мир своими маленькими подслеповатыми оконцами.

То была деревня прочно срубленных, просторных, но плохо убранных, часто грязных, заполненных многочисленной семьей изб местных кулаков, крестьян хватких, работящих, но холодных и часто бездушных, знавших одно — стремление к наживе, прежде всего к наживе, в форме «округления» принадлежащей им «землицы». Ради этого часто неустроенно жила семья, через силу рабо-

тали бабы и молодежь, надрывались в непосильном труде недоедавшие работники.

Наконец, то была деревня разбросанных по русской равнине иногда гуще, иногда реже помещичьих усадеб и имений разной величины и разной степени благосостояния. Старые «дворянские гнезда» быстро переходили в более сильные цепкие руки местных купцов, мещан и зажиточных крестьян.

В одной из оскудевших усадеб прошло и мое детство. Богатые шумные имения и тихие уголки дворянского оскудения были позднее сметены вихрем революции. С дворянской усадьбой ушло из жизни то, что неизбежно должно было уйти, что изжило себя. Это, однако, не мешает мне отдать должное личным качествам некоторых окружавших меня людей, с любовью и признательностью вспомнить моих близких, давно ушедших из жизни.

Раз мы у «истоков», то прежде всего и скажу коротко о моих родителях, о той семейной среде, в которой я вырастал.

Мой отец, как и ряд поколений его предков, получил военное образование, окончив кадетский корпус, артиллерийское училище и артиллерийскую академию. Однако военное дело было ему чуждо, и он его не любил. Молодым офицером он участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

В его рассказах о ней часто звучало принципиальное отрицание войны как таковой. Несмотря на открывавшуюся большую карьеру, он рано расстался с военным мундиром и несколько лет прослужил в деревне, управляя «удельными» имениями. Потом он доживал свою жизнь в унаследованной им усадьбе, где и протекало мое детство.

Отец, хотя и долго жил в лесах, не любил ни охоты, ни прямого общения с природой, ни оружия, как не любил и всякой игры стихий. Его радостью была интеллектуальная беседа, общество таких же, как и он, культурных людей, интересующихся общественными вопросами, следящими за русской и иностранной литературой, за «толстыми» журналами, которые отец выписывал, как и все главные газеты, и внимательно читал, горячо обсуждая прочитанное.

Он отчетливо ощущал приближение революции, но отношение к ней было у него двойственным. Либерал по убеждениям, по всему своему складу, он был противником традиционного русского строя, не любил русской монархии и последних царей. Он считал, что они ведут безумную политику, которая закончится революцией, признававшейся им поэтому закономерной. Вместе с тем близкая революция ужасала его. Он знал, что она означает гибель всего того слоя людей, к которому он принадлежал, который был ему близок, хотя в очень многом он и расходился с его традиционными представлениями. По-видимому, отец в самом деле понимал глубину назревавших и потом происшедших революционных событий. Совсем недавно я услышал в Москве рассказ о том,

как мой отец, грустя, что я оказался за границей, решительно не верил в возможность встречи со мной, горячо любимым, единственным сыном, говорил, что он будет рад, если я смогу вернуться на родину — при условии, если доживу до этого,— лет через сорок, пятьдесят. Как в воду глядел!

Отец умер в 1923 году. У меня хранится его последнее письмо, написанное твердым бисерным почерком за несколько часов до кончины.

Мои родители, хотя и были знакомы смолоду, сблизились и поженились поздно. Я родился, когда матери было под 40, а отцу под 50 лет. Моя мать была дочерью широко известного русского ученого, естественника-натуралиста, профессора Петербургского университета С. С. Куторги и племянницей еще более известного ученого-историка М. С. Куторги. Сама она окончила Высшие женские педагогические курсы и принадлежала к первым русским женщинам, получившим высшее образование на родине.

Долгие года она принимала активное участие в движении за женское равноправие. В молодости она была в Петербурге педагогом, любила широкое общение с людьми, любила участвовать в их заботах и волнениях. Дожила она до глубокой старости и умерла 83 лет в Ленинграде, накануне Великой Отечественной войны, все еще окруженная учениками, обучавшимися у нее французскому и немецкому языкам. Этими языками она владела в совершенстве и пользовалась ими очень охотно.

От новой жизни России моя мать не отвернулась. Как я потом узнал, она горевала, что ее единственный сын где-то за рубежом не нашел того пути, которого она ему желала. Сама любившая творческую работу, она понимала и ценила трудовой и созидательный размах, столь характерный для обновляющейся родины.

В дворянской усадьбе

Первое, что я вспоминаю, когда память обращена в далекое прошлое,— это зимний пейзаж и весь уклад жизни в нашем семейном гнезде, уклад столь далекий от теперешних дней.

Сугробы, сугробы, сугробы... Снегом завален большой балкон, дорожки вокруг дома, окружающие усадьбу поля. Центр нашей детской жизни — большой высокий зал с рядом окон. Вот отец с подзорной трубой стоит у одного из них и внимательно всматривается в белую пелену. Какая-то движущаяся в снегах темная точка заинтересовала его. Это лисица, предпринимающая по какой-то особой своей логике сложные маневры в неполной версте от усадьбы прямо среди бела дня. Меня же с сестрой больше занимают заячьи следы на балконе. Их так много, как будто ночью тут водились целые хороводы.

Впрочем, снег и мороз — это снаружи. В зале, где греет высокая печь, а временами камин, очень любимый нами, всегда тепло. Мы тут заняты своим делом. В углу у окна стоит большое, обитое темно-зеленым бархатом кресло. Роль его в нашей жизни велика: в нем мы путешествуем. Над креслом сооружается крыша из одеял, и кибитка готова. Впрягаются привезенные бабушкой из Петербурга большие игрушечные лошади, как полагается, в хомутах и шлеях. Мы забираем всю дорожную поклажу и едем.

Наш путь далек. Волга, Урал и даже Сибирь, в географии которой мы совсем не разбирались. Поездка наша, собственно, состояла в том, что я — мне было на три года больше — рассказывал сестре весь наш воображаемый путь: куда едем, что происходит по дороге, что ждет нас впереди. На нас нападали волки и даже медведи, мы переживали голод, переносили лютые морозы, перебирались через великие реки, словом, нам тут мог позавидовать сам знаменитый землепроходец Ермак Тимофеевич.

Мы были очень предусмотрительны и, собираясь в дальнюю дорогу, делали запасы и везли с собой пищу для себя и корм для лошадей; мы припасали также теплые вещи и даже лекарства. Под влиянием матери, в отношении нас очень мнительной, я рос в страхе перед болезнями.

Путешествовали мы так не год, не два, а несколько лет. Потом игрушечные лошади уже не впрягались в возок, но в нашем любимом кресле мы продолжали сидеть часами и рассказывать теперь уже друг другу наши общие приключения. Прошли еще годы, прежде чем мы стали мечтать врозь.

Жизнь каждого из нас сложилась очень разно; у сестры она оборвалась рано. Приключений, притом иногда очень тяжелых, было немало, но рассказать их друг другу мы уже не смогли.

Мы не только путешествовали в нашем любимом кресле в далекие края. Мы часто катались зимой в больших санях с металлическими полозьями, а иногда в широких низких розвальнях, что было особенно увлекательно.

Я, как и многие мальчики, горячо любил в детстве лошадей. Даже не то! Я любил не только лошадей, а весь мир, окружавший их, мир конного двора. Когда к нам приезжали в усадьбу гости, то больше всего меня интересовали останавливающиеся у парадного подъезда тройки.

...И опять картина зимних месяцев! Вот в передней восклицания, шум, снимаются шубы, платки, на крепкий крючок вешается огромная сибирская доха. Иной раз приезжают целые семьи. Значит предстоит продолжительный ужин и чаепитие с бесконечными разговорами за столом.

К моим родителям, людям живым, с общественными интересами, притом людям «столичным», долго жившим в родном им Петербурге и постоянно там бывавшим, всегда тянулись посетители из окрестных городков, сел и усадеб. Люди бывали совсем разные:

интеллигенты революционного направления, помещики — либеральные консерваторы и консервативные либералы, сторонники женского равноправия и разная пишущая братия, которую родители особенно любили.

Шум, оживление и веселость неизменно вносил писатель Н. Г. Гарин-Михайловский, который любил и умел быть душой общества. Потом, много лет спустя, я прочел известную тетралогию, особенно увлекаясь «Детством Темы», «Гимназистами» и другими произведениями этого беспокойного человека, примкнувшего сначала к народникам, потом склонившегося к марксистам, объездившего весь мир и все не находившего себе постоянного места; писателя по призванию, а по профессии путейского инженера, о котором злые и несправедливые языки говорили, что он строит романы и сочиняет железные дороги.

Мой отец тоже посещал Гарина-Михайловского и любил, полусмущенно-полуласково улыбаясь, рассказывать, как этот обольстительный человек, трижды женатый, подводя к отцу своих многочисленных потомков, заявлял вполголоса, виновато и в то же время озорно ухмыляясь: «А вот уж кто от кого, право не помню!»

В доме гости. На дворе суровый мороз, шаги на протоптанных вокруг усадьбы дорожках гулки, скрипит снег, слышится потрескивание обледенелых тополей и лип, а за большим обеденным столом горячие, страстные разговоры и споры.

Время ведь было не простое. Первые годы после проигрыша русско-японской войны и подавления первой революции. И хотя я тогда еще не жил в полном смысле слова сознательной жизнью, но все же с жадностью прислушивался ко всему, о чем говорили и толковали вокруг меня. Между прочим, одну беседу я часто потом вспоминал при различных спорах о судьбах России. Наш сосед, бескомпромиссный реакционер, высказывал радость по поводу казавшегося ему реальным «умиротворения» деревни и восхвалял политику Столыпина, а мой отец резко ему возражал. Он не видел мирного выхода из создавшегося положения. Он громко повторял, почти кричал, что близка новая революция, которая всех нас сметет с лица земли вместе со всеми нашими усадьбами и имениями, большими и малыми, со всеми нашими званиями, чинами и орденами, крупными и незначительными. Мне тогда на всю жизнь врезалось в память это грозное пророчество, с такой уверенностью высказанное и с такой абсолютной полнотой оправдавшееся.

Мало того, отец в этом споре не скрывал, что он не видит права, по которому помещик владеет землей. Он считал, что земля должна принадлежать тем, кто сам на ней работает.

А в то время как в усадьбах долго горели яркие огни, хозяева и гости плотно ужинали и вели беседы разного уровня и содержа-

ния, в бесконечных белых полях тянуло морозным ветром, дороги быстро заносило снегом, новые сугробы грозили, казалось, прикрыть своим саваном целые селения.

В этих бедных селениях в тесных и душных избах на печи укладывались спать детвора и старики, на лавках расстилали полушубки молодые пары, на лежанке устраивался кот, перед печкой тяжело вздыхал новорожденный теленок, а у двери хрюкали спросонья отъемыши-поросята. С потолка же, в семье, где была молодуха, свешивалась зыбка с будущим наследником этого убожества. Избу, в которой сотнями шелестели тараканы, освещала жалкая лампа-коптилка, сестра недавней лучины, с которой у нее нетрудно было найти черты семейного сходства.

Преувеличено? Нет, так часто, слишком часто бывало. Во всяком случае у нас, в средней России.

Когда-то очень давно широко известный русский историк В. О. Ключевский, большой мастер на меткие характеристики исторических деятелей и на глубоко запоминающиеся определения, сказал, что в русской крестьянской люльке нетерпеливо расправляет члены и пробует голос будущее не только России, но, может быть, и всего мира.

Куда уйдешь от этих прозревающих новую эпоху слов, если подумаешь о судьбах страны за последние десятилетия, о биографиях многих советских деятелей. Куда уйдешь от них, читая о подвигах славных советских разведчиков космоса?

Рано, очень рано был я пленен книгой, прежде всего творениями художественной литературы. Потом, в тревогах жизни, в постоянной, иногда бурной смене впечатлений, среди очередных волнений и увлечений я иногда — правда, всегда ненадолго и всегда с ощущением утраты — отходил от книги. Но в детские и особенно, конечно, в отроческие и юношеские годы я читал много, запоем, жил событиями и страстями любимого произведения.

Мне отвели в моей комнате старый, довольно убогий застекленный шкаф, куда я ставил, постоянно переставляя, наводя порядок и выделяя любимцев, свои собственные книги. Большую их часть я получал из Петербурга от бабушки по матери, очень меня любившей. Особое место занимали первые мои любимцы — «Хижина дяди Тома», «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», «Всадник без головы», «Давид Копперфильд», «Домби и сын», потом «Айвенго». Жюль Верна я любил меньше. Я был холоден к техническим его предвидениям, самым, вероятно, замечательным в его книгах.

Однако шкафчик с юношеской литературой недолго владел моим сердцем. Внизу, в книгах отца и матери я узнал Пушкина и с первых отроческих лет полюбил его страстно и на всю жизнь.

Пушкин — самые счастливые, самые радостные, самые волнующие, самые горячие часы встреч моих с книгой, моего общения с ней в те годы, а может быть, и дальше. От матери я узнал биографию поэта, историю дуэли и возненавидел Дантеса непримиримой, бескомпромиссной детской ненавистью. Ложась спать, я подолгу придумывал ему кару, иногда очень жестокую. Я не мог понять, почему никто не скрестил с ним оружия; не мог понять, как дали ему возможность живым уйти из России. С этим мучившим меня вопросом я шел к отцу, но его слишком академические объяснения не удовлетворяли меня. Когда же я прочел и сразу на всю жизнь запомнил на память лермонтовские строки «На смерть поэта», моя привязанность к Пушкину еще больше возросла. Я полюбил очень крепко и Лермонтова, но даже не позволял себе и мысли о сравнении. В отношении к Пушкину у меня было что-то личное, что-то от однолюба, который живет в каждой юной душе. Моя младшая сестра тоже скоро полюбила стихи, ее кумиром стал Лермонтов. Наступило время литературных споров, быстро переходивших в раздраженные крики и ссору, в которой мы обижали не только друг друга, но и наших любимцев. Бывали и слезы.

Русская поэзия, прежде всего Пушкин, за ним Лермонтов, А. К. Толстой, Некрасов, Фет, а также Кольцов, Никитин, в более зрелом возрасте захвативший меня Тютчев, потом Блок, Бальмонт и особенно Есенин, много дала моей душе. Как любил я, да и теперь люблю, когда тревожно и смутно на сердце, двинуться в долгий путь по городу или, еще лучше, по деревне без какой-либо определенной программы, без задания и вдруг обратиться к стихам. Одни за другими десятками возникают они в памяти, твердишь их и постепенно перестаешь замечать окружающее. Часдва такой прогулки, а иногда, когда нельзя выйти, метания по комнате — и душевная ванна уже очистила душу. По тому, какие именно стихи приходили и приходят на память, я узнавал и узнаю собственное настроение, тревогу, их истоки.

В детские годы с литературой меня шаг за шагом знакомили родители, особенно отец. Он часто и много читал мне вслух, это была его радость. Помню, однажды в сумерках на угловом диване традиционного красного дерева, пристроившись к шахматному столику, за которым он учил меня великой игре, отец начал читать «Страшную месть».

Видимо, он совсем не заметил, какое потрясающее, болезненное впечатление произвел на меня рассказ из второй части «Вечеров на хуторе близ Диканьки» со всем тем, что есть в этом рассказе и чего я не мог понять, но всеми своими нервами почувствовал. Я начал дрожать всем телом и что-то закричал. Отец страшно испугался, бросился ко мне, успокаивал, объяснял сказочность чертовщины, обходя уродливую страсть отца-колдуна к дочери. А именно в этом непонятном клубке отношений и чудилось мне что-то ужасное, что заставило меня безутешно рыдать на руках

глубоко потрясенного отца. Гоголь был убран надолго. Я и потом многие годы подходил к нему с опаской.

Сам же я упивался тогда «Дубровским». С неясной и грустной судьбой Владимира я не мог примириться так же, как и с концом самого Пушкина. Но тут я был спокойнее, и по вечерам, засыпая, придумывал бесконечные продолжения с новыми похождениями Владимира, новыми его подвигами. Напряженный романтизм этой повести увлекал меня тогда больше, чем «Капитанская дочка», многие лучшие реалистические страницы которой я понял только позже.

Очень скоро в мои руки попали «Детство», «Отрочество» и «Юность» Льва Толстого. Я их знал тогда назубок.

Так с каждым годом, месяцем и неделей приходили новые и новые открытия.

Я не хотел бы, чтобы выходило так, будто мы в детские и юные годы в нашей усадьбе только и делали, что читали прекрасные, умные книги и размышляли о судьбах поэтов и писателей. Нет, конечно, это было далеко не так. Наша дружная детская компания в самом деле была детской, а потом становилась уже и юношеской. А наш довольно обширный сад с его запущенной частью, переходящей в дубовую рощу, представлял, как нам казалось тогда, почти неограниченные возможности. Особенно любили мы игру в казаки-разбойники. Тут нужна была не только быстрота, но и умение, и фантазия.

В нашей компании я был старшим и бегал быстрее всех; это преимущество я так и сохранял за собой. Оно мне очень пригодилось несколько лет спустя, когда грянула великая революция и судьба привела меня в белую армию. В один из первых дней участия в боях я — совсем неопытный, неискушенный солдат — оказался в кустарниках под Черниговом, отрезанным от своих; с трех сторон приближались красные цепи. Было от чего растеряться и более опытному воину. Тут-то и выручили меня мои быстрые ноги. Помню, я бежал версты две-три, с легкостью птицы перелетая через канавы и кустарник. Но... это потом!

А крокет! Как не волноваться, когда одним туром пройдешь двое ворот и дужку. Это не был тот великосветский, холодный крокет, который так бесподобно описан в «Анне Карениной»; то был крокет детской вольницы со спорами, столкновениями, иногда слезами. Еще больше увлекали нас лапта и городки. Увы, сильные и меткие удары, разом вышибавшие с площадки целый «поезд» или «ворота», так и остались мне недоступны.

Когда я и мои товарищи стали постарше, пришли новые радости. Помню веселые рождественские елки, поездки верхом в имение знакомых, куда одно время нас — мужскую молодежь — притягивало, как магнитом. Летом в усадьбе гостили у своей

тетки московские начинающие курсистки. Они были постарше нас и в городе смотрели бы на нас, наверное, свысока. Но здесь была деревня, наша стихия. Мы хорошо ездили верхом, мы привозили с собой не только дамские седла, но приводили и лошадей, на которых было удобно и приятно учиться этому увлекательному спорту. Нас принимали радушно и весело, и я до сих пор помню темноволосых, полногрудых девушек с румянцем на смуглых лицах и веселым, открытым выражением темных глаз. В доме, где они жили, стихов не читали и о романах не спорили. Наши московские курсистки вкусно и сытно обедали и ужинали, с увлечением учились верховой езде и потом ехали кататься с мальчиками, охотно задерживая руку при первом приветствии и позволяя ее поцеловать в конце поездки.

На тех же наших любимых лошадях, той же зеленой мужской компанией мы подъезжали к тесно окруженному заросшим тенистым парком помещичьему дому у деревни Шигаевка. Там жила тогда летом молодая хозяйка Галина Алексеевна. Впрочем, хозяйка чего? В шигаевской усадьбе, удивительно привлекательном уголке, ничего или почти ничего не было, чем можно было бы управлять и хозяйничать. Молодая хозяйка была уже искушена жизнью. Незадолго до этого она разошлась с мужем и служила где-то в Москве, приезжая отдыхать в старое семейное гнездо. Она мне казалась очень интересной, но я чувствовал себя возле нее мальчиком и боялся попасть впросак. От своего отца наша приятельница унаследовала нетерпеливую, беспокойную кровь и далеко не сентиментальные склонности.

Как-то я ужинал у нее один после долгого совместного катания в шарабане. Она посматривала на меня усмехаясь и потом повела в чудесный запущенный парк, легла в траву, посадила меня рядом и, наклонив ко мне голову, шепотом рассказала историю своего разрыва с мужем с подробностями, которые я не совсем понимал и которые привели меня в ужасное смятение. Потом она вдруг всем большим своим телом придвинулась ко мне и тихо шепнула: «Разрешается только один поцелуй, один». А я не то что целовать, а двинуться не мог от волнения и бесконечного смущения. Чувствуя, что делаю что-то смешное, я объявил, что мне пора домой. Она весело засмеялась, сильно пригнула мою голову, обняла и, закрыв глаза, поцеловала долгим женским поцелуем.

Потом, энергично встряхнувшись, вскочила со словами, которые годы жгли мне память: «Марш к Ольге Степановне (моей матери) молоко пить!» Совсем потерянный, я поплелся во двор, разобрал вожжи и, с трудом сдерживая спешившего домой коня, двинулся через широкий двор к выезду.

У ворот же стояла, весело улыбаясь, моя мучительница, приглашая на следующий день опять кататься с ней в шарабане по окрестным лугам и лесочкам. И я зачастил в ставший мне милым шигаевский дом, пока его обитательница вдруг не покинула его,

уйдя, насколько помню, сестрой Красного Креста на один из фронтов нагрянувшей войны.

И сейчас я иногда слышу запах цветущих лип шигаевского дома, вижу большую, спрятанную в глубокую тень, немного угрюмую веранду, клумбы пионов внизу.

Неужели в самом деле все это так и было?!

Закат

В двенадцатый час старого мира проходили первые годы моей юности. Она еще стояла во весь свой исполинский рост — прежняя Россия.

Жизнь очень своеобразная, во многом сумбурная, как кто-то тогда сказал «ни на что не похожая», шла своим чередом. Однако уже давно набившие оскомину слова о колоссе на глиняных ногах все сильнее и глубже завладевали сознанием тогдашних думающих и чувствующих людей, жили в их сердцах.

О неизбежном и скором конце старого мира не только пророчествовали в своих произведениях тогдашние русские мыслители, писатели и поэты, его не только предвидели многие прозорливые деятели, но о нем, казалось, чирикали воробьи на петербургских и московских крышах.

Умные люди понимали — такому колоссу опасно каждое сотрясение; он, этот колосс, не выдержит и сколько-нибудь сильного толчка. Не поможет ему, а, вернее, обратится против него создаваемая веками великая русская культура, не помогут древние государственные традиции.

Слишком медленно, слишком по капелькам проникало в русскую жизнь того времени новое, чтобы старое, безнадежно одряхлевшее, не было сметено одним ударом. Слишком тогдашние люди заждались перемен!

Что это неизбежное и скорое падение будет грандиозным, понимали многие. С этим они жили, доживая старую Россию, пока не ударил настоящий гром, пока не поднялся великий смерч, когда рухнул колосс на глиняных ногах, которого некому было уже подпереть.

Увертюрой этого дня стало 1 августа 1914 года, когда германская армия открыла огонь по передовым русским батареям.

...Первая мировая война. О громе этих батарей мы впервые узнали на балконе нашего деревенского дома. В жаркие послеобеденные часы молодой парень, посланный на почту, привез отцу телеграмму, извещавшую о начале войны, и пачку московских газет, полных грозных, глубоко тревожных сведений.

Начало великой исторической драмы! Объем и значение ее оказались больше и глубже, чем могло предполагать самое пылкое, самое необузданное воображение.

В те далекие годы вести не приходили в село так, как теперь — одновременно с событиями. Но мы все же и тогда, в 1914 году, вскоре были в курсе развертывающихся событий.

Я живо помню, как мои близкие, прежде всего отец, с глубоким волнением восприняли это известие. Отец при всей своей нелюбви к военному ремеслу, к войнам с десятилетнего возраста носил погоны и этого не забывал. Теперь, с началом великого столкновения, в нем вдруг пробудился, притом с большой силой, если и не военный человек, то во всяком случае человек, который был глубоко захвачен событиями.

Стены отцовского кабинета покрыли большие карты с флажками, переставляемые им в каждодневной тяжелой тревоге. Они показывали прихотливые изгибы рокового фронта. Это были дни нетерпеливого, с каждым днем все более взволнованного ожидания очередной почты. Дни быстрой, широкой мобилизации, сразу перевернувшей во многом жизнь наших сел. На станциях и полустанках появились шумные толпы мобилизованных — сначала молодых крепышей, а потом и потрепанных жизнью бородачей; много горячих слез проливали провожавшие их жены, матери, невесты.

Помню уход на войну моих родственников, белые косынки сестер милосердия, украсившие многих знакомых нам молодых, а иногда и совсем уже пожилых женщин; помню первых раненых не только в больших, всем известных госпиталях, но и в бесчисленных маленьких, открытых нередко в частных домах, на личные средства.

Это было время, когда неуклонно нарастало убеждение в том, что великой России (я тут перефразирую известные слова последнего царского премьера, представлявшего собой какую-то политическую величину, П. А. Столыпина) предстоят и великие потрясения, и великие перемены.

Русские солдаты все более проникались убеждением, что приносимые ими все возраставшие кровавые жертвы не должны остаться напрасными.

Не хочу и не могу претендовать здесь на характеристику сложного процесса, начавшегося в первые месяцы войны, который к концу 1916 года привел почти к полному параличу центральной власти, во всяком случае к полной ее дискредитации.

Я, тогда еще полумальчик-полуюноша, не включил как-то войну в полной мере в свое сознание, вернее, в свою душевную жизнь. Война, которая нас, юношей, казалось, должна была бы особенно увлечь, оставалась в какой-то мере далекой. Будто растили свои силы, свою душевную энергию для других эмоций, черед которым пришел очень скоро. Так это было со мной во всяком случае.

А сейчас еще о жарком летнем дне первого августа 1914 года. Запыленный работник соскочил с запотевшей лошади у крыль-

ца хлопинского балкона для того, чтобы вручить нам известие, означавшее конец старой жизни. На этом и нужно будет расстаться с нашим сельским домом, где прошли детские годы. С хлопинской усадьбой мне пришлось, правда, еще встретиться, но уже в других условиях, в иной жизни.

За два года до начала войны мы перестали быть постоянными жителями деревни и каждую осень перебирались на зимние месяцы в Петербург. В деревню возвращались только на летние, в редких случаях на зимние каникулы, и из усадебного мальчика мне пришлось стать городским жителем, гимназистом.

Пересадка из деревни непосредственно в невскую столицу оказалась нелегкой. Дело осложнялось еще теми особыми условиями, в которых в те далекие годы жили в деревне обитатели помещичьих усадеб. Как бы ни была эта усадьба скромна, даже бедна, все равно в ней жили «господа». Как бы они ни были либерально и прогрессивно — по тогдашним временам и понятиям — настроены, в них открыто жило или скрыто гнездилось сознание того, что они не то, что окружающий их мир.

Это сознание исключительности хорошо видно из эпизода, рассказанного мне еще в юные годы моим дальним родственником. Уже тогда он вскоре понял, при всей его молодости, чудовищность и архаичность собственной психологии — мальчика, как и я, выросшего в небогатой помещичьей семье. А рассказал он мне следующее.

По случаю болезни его брата в усадьбу приехал земский врач. После осмотра больного он по приглашению родителей остался обедать. Мальчик запоздал к обеду, быстро вошел в столовую, отвесил общий поклон и занял свое место. После обеда отец спросил его: «Почему же ты не подошел к Петру Александровичу и не поздоровался с ним как полагается?» Мальчик ответил: «Я думал, что доктору не подают руку».

Прошло очень мало времени, и он уже со стыдом рассказывал об этом. Так и я, вспоминая первые впечатления от Петербурга, помню крушение привычного строя представлений. Прежде всего, вдруг ставшее ясным понимание того, что наша семья, и я в том числе, ровным счетом ничего собой не представляет, ничем не выделяется из окружающих нас семей. Это понимание, идущее наперекор тому крепко вжившемуся представлению о какой-то нашей исключительности, в котором мы росли,— первый урок, полученный мною от города. Не одной пелене суждено было упасть с моих глаз за долгую, сложную жизнь — эта была первой.

Молодые люди, сидевшие со мной за партами, часто превосходили меня по общему культурному уровню, многие из них уже детьми бывали за границей, хорошо знали театр, в домашнем кругу видели знаменитых писателей, художников, актеров.

Нужно было и мне приспосабливаться к городской жизни и к тому неизреченно прекрасному, но сложному, чем-то даже иногда нездоровому, глубоко волнующему городу, имя которому Петербург.

К невской столице приходилось приспосабливаться не только мне, но даже моему отцу, проведшему в этом городе всю юность и раннюю молодость. Отец против своей воли, несмотря на весь его по тогдашним, конечно, временам «демократизм», успел внешне сильно «опомещиться». Помню, не раз бывали с ним такие курьезы: входя в трамвай, как полагалось тогда с передней площадки, он поворачивал голову к водителю и говорил ему спокойным, ласковым голосом: «Трогай».

Перед ним все еще была его тройка и кучер на козлах, ждавший его слова.

В январе 1961 года я пришел в театр, который в годы моей юности носил название Мариинского, а ныне называется Кировским. Давали прекрасный балет Прокофьева «Каменный цветок». Увидев огромный зал и обитые голубым плюшем кресла и ложи, я вспомнил, как в первый год первой мировой войны мою сестру и меня привел в этот театр друг моих родителей. Мне было тогда 14 лет, и я только что, как взрослый, начинал носить настоящий пиджак.

Тот же залитый светом голубой плюш, а на сцене — классический балет «Спящая красавица». Но между людьми, сидевшими тогда и теперь в бархатных креслах самого нарядного русского театра, разница была велика. Теперь в партере, в ложах сидели люди, чьи родители или деды в огромном большинстве были очень далеки от такой возможности. Сидели люди новой России, люди, которых в зал бывшего Мариинского театра привела Октябрьская революция.

Тогда — за 46 лет до этого посещения театра — при взгляде на партер рябило в глазах от блеска роскошных туалетов, драгоценностей на женщинах, от нарядных военных и гражданских мундиров. Вдруг по залу пронеслось как бы дуновение, и все военные, стоявшие в антракте (в старой России военные обязаны были в антрактах стоять), повернулись вполоборота к левой директорской ложе. Зазвучали гимны союзных держав, и приятель наших родителей зашептал мне на ухо: «Смотри, смотри, вон в этой ложе, крайней слева, царь и его дочери».

Это был как бы апофеоз старого мира накануне его гибели. Но я вырос совершенно вне монархических традиций, и маленький полковник в походной гимнастерке, сидевший в директорской ложе, не волновал моего сердца.

...У невской столицы при всей ее стройности, архитектурном единстве и законченности есть, вероятно, все же несколько ликов.

Есть тот величественный, неповторимо прекрасный, не боящийся сравнения ни с одним городом мира град Петра, который с предельной гениальностью изобразил Пушкин в прологе к «Медному всаднику». Есть и другой, сумрачный, искаженный социальной несправедливостью и насилием над человеческой душой город, который глядит на нас со страниц романов Достоевского и страшных повестей Гоголя. Есть и изысканный в его чувствах и ощущениях город «конца века», известный нам по стихам Гумилева, Блока, Ахматовой и многих других русских поэтов. Есть, наконец, потрясавший друзей и врагов город Ленина, охваченный бурей революции.

Героизм ленинградцев во время блокады города гитлеровскими полчищами — незабываемая страница, исполненная удивительной стойкости, трагизма и величия, не знающая себе равной в истории современных столиц.

Из этих — очень различных — ликов великого города мне в те юные годы, которые я провел в нем, особенно понятен был город Пушкина и «Медного всадника»; именно так чувствовал и воспринимал я Северную Пальмиру, хотя в мое сознание проникал и Петербург Достоевского и Гоголя. Отсюда была та двойственность восприятия города, моего отношения к нему и его воздействия на мою душу.

Вот что хотелось бы мне к этому еще добавить. Повидав много красот и много прекрасных городов Западной Европы, вновь уже старым человеком, попав в Ленинград и увидев из окон Эрмитажа волны Невы и Петропавловскую крепость, я еще раз подумал, что трудно найти в мире равное по величию место. Как оторвать глаза? Как уйти отсюда? Каким мелким, суетным и случайным представляется многое!

...В дореволюционной России были не только казенные государственные, но также и частные учебные заведения.

Обычно это были доходные предприятия; в них обучались дети, признанные неуспевающими в казенных школах; частная гимназия вытаскивала за уши слабого ученика и в конце концов вручала ему диплом. Правда, его родителям приходилось вносить солидную сумму за право обучения в такой школе.

Были, особенно в обеих столицах, и совсем иные частные учебные заведения, созданные просвещенными людьми и лучшими педагогами с целью дать молодежи хорошее образование. Эти школы тоже были дороже казенных, но коммерческой цели их создатели не преследовали. Школы эти были по тому времени прогрессивными, и обучающаяся в них молодежь часто не шла за официальной политической идеологией.

В такой частной гимназии Л. Д. Лентовской, основанной педагогами, изгнанными из казенных школ за крамольные убеждения, я и учился. Моими товарищами были дети, родители которых принадлежали к верхушке тогдашней петербургской интелли-

генции, дети писателей, академиков и профессоров, политических деятелей левого толка, работников искусства.

Чтобы не перечислять слишком много имен, назову детей писателя Леонида Андреева, лидера партии народных социалистов А. В. Пешехонова, ставшего после Октября эмигрантом, а потом вернувшегося в СССР; вспоминаю также моих друзей — сыновей известного историка академика А. С. Лаппо-Данилевского. Старший сын этого чопорного, необыкновенно пунктуального, холодного человека был выдающимся с юных лет математиком. А вот внук академика С. Ф. Ольденбурга, большого ученого-востоковеда, долгие годы занимавшего пост непременного секретаря Российской Академии наук. Двухсветный зал в квартире Ольденбурга до самого верха заполняли полки с книгами, а хозяин этой обширной библиотеки бывало часами не спускался с передвижной лестницы, просматривая понадобившуюся книгу.

Учились со мной и сыновья известного депутата Государственной думы А. И. Шингарева; один из них потом, уже в эмиграции, жил одно время у меня в Праге. Было у нас в школе также много детей зажиточной и просто богатой еврейской буржуазии и интеллигенции — процентная норма закрывала им двери в казенные средние учебные заведения.

В большом зале одной из таких петербургских частных школ пришлось мне в юные годы услышать на литературном вечере А. М. Горького и очень тогда популярного поэта, многие стихи которого молодежь твердила на память,— К. Д. Бальмонта.

Не нужно говорить, что зал был переполнен. Хотя вечер был посвящен чисто литературным вопросам и выступлениям, но за внешним фасадом каждого такого собрания опять и опять стояла политика, такие уж тогда переживались времена...

Бальмонта встретили шумными аплодисментами, возгласами. Он был строен, интересен, уверен в себе. Что-то гордое и отчужденное от масс, от толпы было в нем или чудилось мне. Говорил он мало, читал свои популярные тогда стихи. Взволнованные курсистки и гимназистки пробивались к трибуне с букетиками цветов.

Горький произнес целую речь, прежде чем начал читать отрывки из своих произведений. Как только он вышел на трибуну, откинул прядь волос и заговорил с оттенком, как мне показалось, какой-то особенной, нарочитой властности в голосе,— так иногда он говорил, как я потом об этом читал, перед мало ему близкой или совсем далекой аудиторией — я в большей мере подпал под обаяние его личности, его имени, его ума. А вместе с тем почувствовал какое-то внутреннее сильное отталкивание, желание преодолеть силу его воздействия, его интеллекта. Это сопротивление меня тогда самого удивило, а еще больше моих родителей, когда я делился с ними впечатлениями.

Потом только, несколькими десятилетиями позже, я понял, в чем было дело, прочтя первый отзыв Л. Н. Толстого о Горьком. Он тогда в нем еще не разобрался, еще не создал своего мнения, но уже сказал: это «чужой». Великий писатель сразу же почувствовал и точно определил вступление в жизнь нового, во многом чуждого ему мира в лице большого человека и большого писателя, пришедшего к нему. А полуподросток-полуюноша из рязанской усадьбы, увидев и услышав Горького, старался перебороть его, чувствуя в нем опять же «чужого».

Уже только в эмиграции я полностью осознал значение Горького, понял, каким он был крупным, оригинальным и ярким явлением в русской и мировой культуре. В плане же личном — с той поры, как я стал зрелым, — Горький для меня — один из постоянных спутников, с которыми я прохожу свой жизненный путь.

В тесной дружеской компании, в которую я попал, из ученья большого вопроса не делали. Шла война, жизнь изо дня в день становилась все более расстроенной, ни у кого ни в чем не было уверенности. Ни в победе над врагом, ни в том, что государственная власть делает все (или хотя бы часть) необходимого для этой войны, ни в том, что эта власть долго останется властью, ни в том также, что провожаемый на фронт дорогой человек вернется. Не было уверенности в том, что остающаяся дома жена будет действительно руководствоваться принципом, выраженным в следующую мировую войну словами «жди меня». Никто не был уверен, что дети доучатся в школах, что богатые люди сохранят свои дома, акции, капиталы, земли. Наконец, что женщины, уходящие на фронт сестрами милосердия, действительно идут всегда для героического, каторжного труда, а не для безудержной жизни, лишенной всяких устоев.

Все это создавало своеобразную, глубоко нездоровую обстановку, в которой многие «дети страшных лет России» в самом деле «пути не знали своего», а молодежь вырастала как бы расшатанной, нервной, скептической и часто легковесной.

К этому нужно добавить, что старшее поколение, в частности русские поэты, писатели, художники, билось в конце концов в тех же тенетах, только на ином, как теперь любят говорить, более высоком уровне. Не случайно мы спорили на наших, тогда чуть не ежедневных вечерних товарищеских сборищах о декадентах, символистах, импрессионистах, имажинистах, почти еще не известных тогда в России акмеистах, футуристах и еще бог знает о каких течениях в художественном творчестве того времени.

Что же до наших литературных склонностей, прежде всего в поэзии, то среди моих товарищей было в основном две группы. Одни из нас отдавались современной тогда поэзии, постоянно цитировали Бальмонта, Блока, Брюсова, Гумилева, Ахматову,

потом начинающих Есенина, Маяковского и т. д., а другая группа твердо оставалась при поэтах-классиках XIX века.

Когда теперь я слышу и читаю о том, что советская молодежь увлекается поэзией и вечера поэтов собирают тысячи людей, я вспоминаю свою юность — мы тоже горячо любили стихи и горячо спорили о путях их создателей, задачах поэзии и литературы вообще.

Однако та взволнованность, нервозность и как бы психическая неустойчивость, которые так обострились в годы войны, сильно сказались на нас, мешали нам отдаться чему-либо с подлинной силой и страстностью. Мы — я говорю о молодежи того круга, в котором я рос,— были детьми последнего поколения старой России и на нас лежала печать известной обреченности. Мы этого не понимали, не знали, но ощущали подсознательно. Небывалая же по напряженности война с необыкновенной быстротой расшатывала все устои. Разрыв между отдельными слоями населения возрастал.

Моя тетка, начальница городского училища на Выборгской стороне Петрограда, где учились дети, как тогда говорили, «простых людей», рассказывала, как она однажды в разгар боев под Варшавой спросила подростков одного из классов: «Что такое Россия?» Класс молчал, только один мальчик смело поднял руку. «Трактир на Саратовской улице»,— сказал он с полной уверенностью. И никто из детей не засмеялся, не удивился. А тетка моя пришла к нам вечером расстроенная: «Что же это такое?». Конечно, это был, может быть, случайный ответ неразумного мальчика, а все же! Разве возможно теперь на нашей родине что-либо подобное?

Мальчик с Выборгской стороны думал, что Россия — это только трактир на Саратовской улице, а сама эта Россия, залитая кровью, противоречивая, нескладная и усталая и в то же время полная еще непробужденных сил, быстро приближалась к порогу нового этапа своей истории.

Непримиримые

Приближение революционного шквала отчетливо ощущалось всеми. Последние годы и месяцы перед Февральской революцией были глубоко драматичны. Это знает каждый, хотя бы немного знакомый с историей России того времени.

Министерская чехарда в правительстве, в которой можно было усмотреть только одну последовательность — каждый вновь приходящий премьер или министр фатально оказывался хуже предшествовавшего, все более жестокие и все более нетерпеливые речи представителей не только социалистов, но и либерально-буржуазных партий в Государственной думе, наконец, труп Распутина

под льдом Невы — все это и многое другое говорило об одном и том же: старая власть до конца исчерпала себя, как полностью исчерпал себя весь политический и социальный строй, ею представляемый.

А реально великое действие, как его увидел неутомимо бегавший по улицам восемнадцатилетний юноша, в голове у которого уже зрели заботы о предстоящих выпускных экзаменах, началось так. Группы людей, растущие как снежный ком, кто они были — рабочие, студенты, служащие, право не знаю, останавливали трамваи, предлагали пассажирам выйти и присоединиться к ним. Трамвайные вагоны, если людей собиралось побольше, часто опрокидывали, готовя баррикады. В руках людей красные флаги. Понеслись легковые машины: на их крыльях лежали матросы и солдаты с винтовками на прицеле. Штыки были примкнуты. А на крышах этих автомобилей сидели полицейские офицеры и жандармы, с трудом удерживающие равновесие. Лица у них были перепуганные, полные отчаяния.

С каждым часом, можно сказать, с каждой минутой революция набирала силы. Уже не группы, не отдельные толпы, а тысячи и тысячи людей маршировали по улицам Петрограда, объявляя конец старой России.

Помню, как я выходил на Марсово поле с выставки «Мир искусства», все еще переживая живопись тогдашних героев дня Петрова-Водкина, Григорьева, Шухаева и других и все еще отчетливо не осознавая, что произошла та самая революция, о которой столько говорилось.

От Летнего сада к центру Марсова поля двигалась большая толпа. Несли красные знамена, флаги и пели революционные песни. Зазвучали слова «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног...»

А навстречу демонстрантам из ворот казармы лейб-гвардии Павловского полка вылетела донская казачья сотня, раздалась команда: «Пики к бою, шашки вон!»

Стоя в стременах, немного наклонившись вперед по казачьей манере, с грозно поднятыми шашками и тусклыми длинными пиками казаки неслись прямо на толпу. Это было страшно.

Неслись и... не донеслись! Перед безоружными людьми казачья лава вдруг заметалась, донцы на всем скаку остановили лошадей, опустили пики и шашки, несмотря на грозные окрики есаула; кони и всадники смешались с толпой, на уздечках и седлах, на кокардах появились красные ленточки.

Оплот старой России, казаки-донцы, с кумачовыми флажками на пиках!!!

Сколько бы я ни думал о Февральской революции 1917 года, о первых судорожных ее днях, я всегда и всегда вспоминаю Марсово поле и казачью сотню, казалось, готовую обратить оружие против врагов революции.

Нам было тогда восемнадцать лет, многие из нас, и я в том числе, отдались событиям всецело и полностью. Это была страсть, захватившая нас до конца, с силой, у многих никогда уже не повторившейся. И эти месяцы, первые месяцы революции определили в значительной мере судьбу многих из нас.

Люди по-разному, но одинаково страстно воспринимали крушение старой России. Я вырос в семье, преданной либеральным идеям. Неудивительно, что февральские события я воспринял как нечто не только естественное, но и желанное, как бы само собой разумеющееся. И вместе с тем, как я вижу теперь, думая о моей тогдашней настроенности, не далеко шли мои внутренние симпатии по революционному пути. В моей душе сильно звучало и охранительное начало. Конечный выбор между революционной толпой и мчавшимися на нее казаками,— чтобы сказать совсем правду,— не знаю, был ли для меня так бесспорен. Вероятно, в чем-то я не был душевно ни с теми, ни с другими.

Когда же в эти первые бушующие месяцы революции ясно выкристаллизовались, сложились, оформились и выстроились основные политические силы того времени, я без долгих колебаний сразу же примкнул к молодежи, сгруппировавшейся вокруг главной либерально-буржуазной партии тогдашней России — конституционно-демократической, сокращенно кадетской. Это вышло не случайно — с идеологией этой партии, с именами ее лидеров я был знаком с детских лет. Это стало отчасти и случайно — я заявил себя кадетом, не зная еще самой программы партии сколько-нибудь серьезно.

В те лихорадочные месяцы политические карьеры складывались с молниеносной быстротой. Вчера неизвестные или мало известные люди сегодня завоевывали признание, любовь или ненависть миллионов людей.

Так это было в большом, государственном масштабе так было и в самом маленьком, в котором тогда пришлось жить и действовать мне.

Коротко говоря, придя на собрание учащихся средних учебных заведений столицы, созванное в помещении Центрального комитета кадетской партии, я сразу же был избран председателем петроградской молодежной организации учащихся средних школ при этой партии. Тогда кадеты — партия народной свободы — были основной силой русской либеральной буржуазии и примыкавшей к ней части интеллигенции. Так в мае 1917 года на тогдашней Французской набережной дом 8 началась моя политическая жизнь, далекая от того, чтобы быть вполне сознательной. Это собрание зеленой молодежи в просторном зале ЦК кадетской партии в значительной мере предопределило, скажу я, мой дальнейший путь. Предопределило, вероятно, слишком поспешно для того, чтобы избранная дорога оказалась действительно со всей серьезностью продуманной.

Потом последовали — от мая по конец октября — месяцы, когда мы, мои товарищи и я, пытались вести активную работу в рядах нашей молодежной организации.

Тогда в Петрограде (об этом очень много написано) люди прежде всего неутомимо и много говорили. Чуть не на всех улицах города, чуть ли не на каждом углу, и уже во всяком случае, на каждом перекрестке кучка слушателей, нетерпеливых, требовательных, возражающих, а перед ней оратор, защищающий программу той организации, лозунги которой он пропагандирует.

Это не были кем-то заранее подготовленные выступления или дебаты. Вовсе нет! Люди говорили, потому что внутренняя необходимость заставляла их выходить на улицу с тем, что было у них на душе, с тем, во что они верили, на что надеялись, что отрицали или ненавидели. Немало добродушно-лукавых и прямо насмешливых, а иногда злых слов произнесено не только в России, но и во всем мире по адресу этой февральской всероссийской «говорильни». «Проговорили Россию» — эти слова противников Февральской революции в свое время были очень ходкими не только у русских реакционеров, но и шагнули далеко за пределы России.

А между тем, как накопившийся в котле пар рвет винты крепко закрученной крышки, так заговорили в февральские дни русские люди, переставшие быть подданными Российской империи и ее венценосного монарха и впервые в своей истории становящиеся гражданами своей отчизны. Народные массы вышли на улицу, и уже не было такой силы, которая заставила бы их вернуться к прежней жизни.

Эсеры, кадеты, все больше входившие в силу большевики страстно, а порой и ожесточенно, до хрипоты спорили на митингах.

Вот таким-то «оратором» на петроградских перекрестках, в актовых залах учебных заведений — перед гимназистами и гимназистками, курсистками и дворниками, горничными и классными наставниками и, конечно, прежде всего солдатами — выступал и я, защищая программу и тактику той партии, в которую я так скоропалительно попал.

События между тем нарастали, как грозный вал. Я очень хорошо помню, как в нашей молодежной организации мы, совсем неопытные, но уже в силу самой нашей молодости особенно восприимчивые и чуткие, всем существом ощущали близость предстоящей схватки. Ощущали почти физически, не отдавая себе сколько-нибудь ясного отчета в расстановке сил и уже совсем не сознавая неизбежности и закономерности того основного русла, по которому потекла, снося со своего пути все препятствия, охватившая страну революция.

Страсти были сильны. Помню такой скорее комический, чем трагический эпизод. Я вернулся домой, переполненный впечатле-

ниями от бушующего города, с головой, наполненной услышанными лозунгами и призывами. Такие, как я, тогда ведь тоже были «за революцию», но революцию «строго февральскую», ограниченную теми рамками, которые ей ставила не только близкая нам партийная программа, но вся наша социальная психика. Мы были против царя и против социализма, за свободу, понимаемую так, как ее понимают либералы, но против свободы, направленной на экспроприацию имущих классов или на ликвидацию войны с ее замершими в тревожном ожидании фронтами. Вот таким возбужденным юношей, немного душевно растрепанным, охваченным угаром волнующих революционных дней, я вернулся домой, чтобы наскоро пообедать перед митингом, на котором (это ведь тоже что-то значило в тогдашние мои восемнадцать лет) мне предстояло председательствовать на собрании во много сотен человек и предоставлять слово людям, пользующимся широкой известностью.

Так я за супом и продолжал разглагольствовать, повторяя недосказанное на улице. А тетка моя, пожилая почтенная петербургская дама, дочь известного русского ученого, вдруг налилась кровью, вскочила со своего места и, далеко отбросив салфетку, молча подбежала ко мне, схватила меня за горло и, задыхаясь, начала меня душить. Она верила в традиционную Россию, была предана монарху, и ей было больно, что любимый её племянник перешел на сторону «улицы» и вместе с этой «улицей» грязнит, как ей казалось, русское имя. Так она понимала происходящее.

Я бы не вспомнил этого эпизода, разыгравшегося в петербургской благовоспитанной семье, если бы он как нельзя лучше не подтверждал правильности только что сказанного: над Петроградом тех дней уже кружила тень скорой гражданской войны.

Наша стычка произошла в небольшой уютной столовой и вместе гостиной, обставленной старомодной мебелью красного дерева. Со стен комнаты с полуприкрытым интересом и недоумением смотрели на взрыв политических страстей предки действующих лиц, закованные в широкие, холодные, золоченые рамы, из которых нельзя было выйти, чтобы сказать свое слово о происходящих великих событиях. Некоторые из этих давно уже ушедших из жизни людей ждали таких событий, предвидели, радуясь их приходу или ужасаясь.

Еще раньше, чем в нашей маленькой столовой, политические страсти со всей их суровой непримиримостью вскипели на улицах. Вспоминаю две большие демонстрации того времени.

Борьба во Временном правительстве... Решается вопрос о сохранении в нем или уходе из него крупнейшего политического деятеля, лидера кадетской партии П. Н. Милюкова, а также военного министра А. И. Гучкова. Тысячи их приверженцев собрались перед Мариинским дворцом. Среди этих демонстрантов чуть ли не вся тогдашняя несоциалистическая интеллигенция. Сколько нарядных женских одежд, добротных мужских пальто, как много-

численны казались ряды подтянутой мужской молодежи в ловко скроенных офицерских шинелях! Сколько возбужденных, взволнованных лиц, обрамленных почтенными седыми бородами, как холоден строгий блеск пенсне,— это тогдашние петроградские ученые, инженеры, писатели, поэты «умеренного» толка вышли на апрельскую улицу, оставив свои заваленные книгами и рукописями письменные столы, чтобы сказать своему лидеру: мы сейчас с вами. Мне, новичку в такого рода передрягах, казалось, что в самом деле «весь Петроград» пришел к подъезду Мариинского дворца.

Так это представлялось, вероятно, многим из тех, кто шел в этой демонстрации, кто нес плакаты, призывавшие к войне до победного конца, к верности союзникам, к доверию кадетскому лидеру.

На этих плакатах провозглашалась анафема большевикам, и прежде всего недавно прибывшему в революционный Петроград В. И. Ленину; его влияние росло с каждым днем, каждым часом, каждой минутой.

Мы не ошиблись. «Наш» Петроград и был весь тут, у наших знамен.

Но нам только казалось, что это и есть «весь город». На самом деле все было иначе. Кадетская манифестация была только ответной. Еще за несколько часов до того как строились ряды сторонников кадетского лидера, когда русская буржуазия и близкая ей интеллигенция впервые в массах вышли на улицу, еще за несколько часов до этого, говорю я, поднялась в Петрограде другая, действительно могучая волна, бросившая на улицы города совсем иные, бесконечные тысячи и тысячи людей. К Мариинскому дворцу пришли солдаты, целые полки петроградского гарнизона, протестовавшие против политики правительства и Милюкова, против желания овладеть Константинополем, против войны.

А с окраин города, из фабричных районов, с Выборгской стороны, с Путиловского завода, из гавани к центру города двинулись рабочие, ремесленники, матросы. Эта огромная демонстрация уже начертала на своих плакатах совсем другие призывы: один из них хорошо памятен: «Мир хижинам — война дворцам».

Эти шумные, бесчисленные толпы бедно одетых, взволнованных людей, бросившихся на улицы прямо от фабричных станков, из полутемных мастерских, женщины со следами тяжелых лишений на лицах, горячие ораторы, полные ненависти к уходящей в прошлое России, требовали мира, а не продолжения войны, углубления революции, а не приостановки ее, требовали ухода от власти буржуазных министров; их боевой лозунг звучал: «Вся власть Советам!»

Демонстрации за и против Милюкова — Гучкова стали в весеннем Петрограде 1917 года бесспорным прологом к скорой гражданской войне. Так они, по крайней мере, были восприняты

мною и моими близкими. При этом сила и решимость к борьбе были на крайних флангах. Среди участников прокадетской демонстрации, внутренне готовых к гражданской войне, были в первую очередь те офицеры, которые ждали и желали решительной схватки. Они готовились к смертельному бою с левыми во имя какой-то совсем иной, неосознанной и не сформулированной ими идеи. Я хочу сказать, что демонстранты этого типа уже несли в своих душах идею сильной власти, военной диктатуры, позже так и не нашедшей себе яркого выявления в белом стане, до удивительности лишенном продуманного политического руководства. Как известно, ехавшие в обозе южной белой армии политические деятели, в том числе председатель последней Государственной думы М. В. Родзянко, были растеряны, не знали, с какой ноги ступить, а офицерство видело в них виновников случившегося и терпело их только с трудом.

Шаги демонстрантов обоих лагерей отзвучали. И, конечно, не случайно после апрельских событий количество митингов, на которых борьба между партиями обострялась, далее удвоилось, если не учетверилось.

Я не пропустил, кажется, ни одного из наиболее значительных словесных политических турниров того времени. Если лидеры кадетской партии были ораторами мне близкими, то и в этой среде были более или менее созвучные. Кадетская молодежь особенно почитала А. И. Шингарева, в то время министра земледелия, сочетавшего правый курс с некоторой сознательно подчеркнутой как бы народностью выступлений. Это делало его слова более доходчивыми для аудитории. Шингарев, в прошлом провинциальный земский врач, в первые годы после революции 1905 года написал книгу, ставшую широко известной. Это книга о вымирающей деревне царской России, ее и теперь часто цитируют советские авторы. В 1917 году, когда он обращался с трибуны в своей лирично-ласковой и приветливой манере к настороженной, готовой к взрыву аудитории, его слушали даже решительные противники на рабочих и матросских митингах. Он и там мог договорить до конца свою речь, начинавшуюся словами: «Дорогие сограждане», а то и «Товарищи». А между тем Шингарев — секретарь ЦК кадетской партии — шел полностью за ее главой и в вопросах тактики занимал в эти месяцы правую позицию. Как министр земледелия он как будто не спешил с проектами скорой передачи земли крестьянам, словно забыв о вымирании деревни от нужды и безземелья, чему в более ранние годы посвятил целую книгу.

Иногда на той же трибуне появлялась изысканно лощеная фигура другого кадетского лидера В. Д. Набокова в строгом английском костюме, с модными тогда белыми гетрами на ногах, уверенными барскими жестами и как бы холодным равнодушием к слушателям. Не помогали тогда и более левые, чем у Шингарева,

фразы. Низовой, трудовой Петроград не хотел слушать либерального англомана, каким многие считали тогда Набокова, относительно которого злые языки утверждали, что он не доверяет даже русским прачкам, отсылая белье в прачечные Лондона.

В последний раз я видел его в ясный сентябрьский день на предмосковной станции Клин, славившейся своими пирожками. Шумной молодой компанией мы вбежали в буфет, и в этот утренний час, после ночи в душном вагоне, на свежем осеннем воздухе клинские пирожки показались всем нам бесподобными. А из международного вагона первого класса неторопливой походкой немного тяжелеющего сорокалетнего мужчины, высоко подняв голову с большими холодными глазами на уверенном красивом лице, к стойке с пирожками подошел Набоков. Он неторопливо барским жестом взял пирожок, откусил и, по-видимому, начисто забраковав его, отбросил назад на тарелку, с легкой брезгливой улыбкой расплатился и тем же шагом человека, привыкшего быть в первом ряду среди окружающих его, пошел к своему вагону.

Я часто потом вспоминал облик этого человека. Он стремился попасть в ногу с событиями, пытался возможно дольше удержаться в рядах активных деятелей Февральской революции. А между тем он был органически абсолютно чужд массам и их представителям в серых солдатских шинелях и видавших виды рабочих блузах. Он пытался обращаться к ним со своими разъяснениями и уступками, в которых эти люди тогда уже не нуждались и совсем их у него не просили.

Много раз я слышал так же, как гремел на митингах голос кадетского златоуста Ф. И. Родичева. Это был оратор французской школы, как я потом убедился, пожив в Париже и послушав тамошних политических соловьев. Оратор, в первую очередь стремившийся ударить по сердцам. Чтобы при этом был успех, сердца его слушателей должны были хотя бы немного откликаться на ту тревогу, которая была лейтмотивом всех его выступлений. Сердца же эти часто бились совсем в другом ритме, чем билось сердце Родичева. Новые люди, выходящие на авансцену истории, ощущали в себе силы и не боялись за судьбу родины, если она окажется в их руках.

Кадетская гимназическая молодежь, и я в том числе как руководитель нашей организации, была всегда взволнована, когда на трибуну наших митингов или митингов наших противников неторопливым, размеренным шагом, с обычной своей официальной улыбкой на румяном лице поднимался наш тогдашний лидер П. Н. Милюков. Его появление на трибуне обычно вызывало, с одной стороны аплодисменты, с другой — бурю отвержения. Седой, внешне всегда спокойный и уверенный, он как бы с легкой усмешкой посматривал на тысячи сидящих и стоящих перед ним людей. При всей моей в те годы политической наивности я все же был поражен, да так и не нашел тому объяснения, когда услышал,

что свое выступление в казармах одного из полков перед весьма революционной аудиторией кадетский руководитель начал невозможным для тех дней обращением: «Милостивые государыни и милостивые государи». Достаточно было этих в самом деле сакраментальных слов, чтобы его дальше слушать не хотели. Он это, конечно, знал, отлично понимал, и все-таки на некоторых дальнейших митингах опять звучал уверенный и холодный голос, произносивший все то же обращение к милостивым государыням и государям.

Почему он это делал, я не знаю. При частных встречах и беседах с ним в эмиграции я так об этом и не спросил. Мысль же его, во всяком случае во внешних ее проявлениях, в те бурные месяцы была прикована в первую очередь к войне и внешней политике. Тут он хотел ничего не упустить. В отношении же революции в целом, а ее ходом определялись судьбы страны, он был тогда как-то пассивен; был пессимистом, и в этом заключалось внутреннее противоречие, становившееся очень заметным. При такой линии лидер кадетов как бы отстранялся от основных проблем переживаемого времени, представляя решать их другим. Не было секретом, что он с полускрытой надеждой посматривает на руководителей армии, на генералов, которым, мол, в приближающейся острой схватке и карты в руки.

С кадетских митингов я спешил на митинги их главных политических врагов — па митинги большевиков.

Так, тоже в казармах одного из полков бывшей императорской гвардии, я впервые услышал оратора, чье имя в широких массах стало звучать как-то особенно, для одних грозно, для других призывно, даже еще и не предвещая всего того, с чем это имя, вскоре облетевшее весь мир и известное сейчас всем людям земного шара, будет связано впоследствии. Совершенно так, как первый далекий гром или первые глухие зарницы еще далеко не открывают всей той стихии, которую приносит в скором времени разразившаяся гроза. Я услышал В. И. Ленина. На митингах он не обращался к таким, как я, — мы были сброшены им заранее со счетов, как заведомые и безусловные противники. Он говорил с теми, кто был или кто мог быть с ним, и этим людям в своей простой речи, лишенной каких-либо ораторских эффектов, он открывал бесконечные возможности, необозримые перспективы, вскоре ставшие реальностью.

Он делал недоступное, невозможное, где-то в тайниках души страстно желаемое, не только доступным и возможным, но как бы почти обыденным, ясным и бесспорным. Я не запомнил речи, произнесенной Лениным в казармах Измайловского полка слушавшим его солдатам, во всех подробностях, но хорошо помню, что смысл ее был в том, что вас, вот, много, а их мало. У них в руках все, а ваши руки пусты; не бойтесь, идите к ним и возьмите у них то, что

принадлежит не им, что ими узурпировано, а на самом деле принадлежит вам. Так делал он простым, возможным, доступным и закономерным то, что многим еще казалось недоступным, невозможным, где-то там за семью психологическими замками. В доходчивых словах он раздвигал перед русскими крестьянами и рабочими, одетыми в солдатские шинели, невиданные горизонты. Не знаю, кружились ли у них головы, когда они его слушали, но у него, наверное, нет. Скупые на жесты и слова выступления Ленина приобретали огромную динамическую силу, становились радикальнее самых радикальных речей, наполненных революционными призывами.

Я не один раз слышал Ленина в месяцы Февральской революции. Невысокий человек, одетый, как одевались тогда не думающие об одежде интеллигенты, ни скромностью своего облика и манер, ни скупостью жестов и слов не вводил в заблуждение никого из тех, кто его слушал: говорил вождь, по слову которого готовы были подняться сегодня тысячи, а завтра уже миллионы.

Он вовсе не призывал к гражданской войне. Но она уже была тут, вблизи тех залов, где шли митинги, только глухой не слышал ее поступи, только слепой не видел ее облика, и никто этого так хорошо не ощущал, как трепетно прислушивавшиеся к каждому слову Ленина его молодые сторонники, в близком будущем добровольцы-красногвардейцы, и его молодые противники, в недалеком будущем добровольцы белых армий.

В последний раз я слышал Ленина с балкона особняка Кшесинской, балерины Мариинского театра, которой Николай II в молодости очень увлекался. В февральские дни это здание, что стоит недалеко от мечети на Петроградской стороне, заняли большевики, и оно стало цитаделью большевистской партии в Петрограде. Площадь перед домом Кшесинской хорошо мне памятна. На ней однажды я попал под серьезную перестрелку и должен был залечь за большой поленницей дров, по которой, как крупный дождь, неожиданно разразившийся в теплый летний день, стучали пули угнездившегося где-то у входа в Петропавловскую крепость пулемета. Это был один из эпизодов великих дней. Нет, город Петра, потом Ленина, не шутил в 1917 году...

Пришлось мне услышать многих в то время очень известных ораторов-большевиков. Помню выступления вскоре затем убитого правым эсером М. М. Володарского и М. С. Урицкого, погибшего от руки молодого террориста Каннегисера.

Слышал я также речи Троцкого. В них всегда было много позы, часто много эффектной фразы. Отчетливо я это почувствовал не в Петрограде 1917 года, о котором сейчас вспоминаю, а двумя годами позже, в Киеве. Тогда к этому, так много пережившему городу, обороняемому большевиками, с одной стороны подступали петлюровцы, а с другой — окружали его полки и батареи белой армии.

Ни два, ни полтора

Выступления деятелей большевистской партии ярко сохранились в моей памяти по сегодняшний день и остро воспринимались в 1917 году. Совсем по-иному складывалось у меня впечатление от выступлений так называемых умеренных социалистов.*) То что называется ни два, ни полтора.

Нужно рассказать о выступлениях кратковременного кумира довольно широких тогдашних русских кругов А. Ф. Керенского, а также других эсеров и меньшевиков.

Мне пришлось прожить жизнь в эмиграции, прожить ее среди людей, в своей значительной части не принявших Февральскую революцию. Все эмигранты или почти все страстно и нетерпимо отвергали Октябрьскую революцию. Для этих людей Керенский был прежде всего символом пустословия, звонкой фразы, за которыми не скрывалось ничего, кроме отсутствия реальной силы, подлинной мужественности, подчиняющей чужую волю. У этих людей одним из излюбленных слов политического словаря было «керенщина», надо сказать, завоевавшее себе гражданство на многих континентах. Под этим «термином» русские, о которых я вспоминаю, подразумевали слабость, неспособность превратить слово в действие.

У Керенского не было силы и власти! А откуда было им появиться? Что, в самом деле, могло придать ему силы и вооружить его реальной властью?

Два главных лагеря отвергали его. Для людей, желавших удержать революцию на буржуазном этапе, он был слаб и половинчат, насквозь пропитан народническими предрассудками. Для тех, кто не на словах, а на деле стремился углубить Февральскую революцию до революции социалистической, он был всего лишь временной фигурой, за которой стояли и которую использовали главные силы классовых врагов рабочих и крестьян.

Я помню, как, несмотря на овации, признания в любви и поцелуи, вокруг этого раздвоенного человека возникал подлинный политический вакуум. И происходило это совсем не случайно.

Керенский незаметно для самого себя отшумел вместе с Февральской революцией. Я сказал, что вокруг него возникал политический вакуум, а ведь мои собственные глаза видели, как этого незадачливого русского премьера, будто знаменитого певца или прелестнейшую в мире танцовщицу, на руках выносили из автомобиля. Помню, как овацией встречали его слова, как истерические женщины в исступленной преданности и вере в него тут же

*) Термин „умеренные социалисты” не должен никого вводить в заблуждение. Он правильно выражает постоянную готовность этих людей пойти на компромиссы с буржуазией, вместе с тем умеренные социалисты оказались в дальнейшем непримиримыми врагами Октябрьской революции. (Прим. ред.).

в залах на глазах друзей и врагов обнимали его и целовали. А когда через несколько месяцев Керенский, переодетый в чужое платье, навсегда покинул Зимний дворец, как скоро он был забыт в своей стране.

Однако Керенский, которому судьба отмерила долгую жизнь, не хочет сложить оружие: он и сейчас еще выступает иногда в США, где живет, и в других странах в качестве противника советского строя. Совсем недавно, летом 1965 года, мои пражские знакомые, вернувшиеся из далекой поездки, рассказывали мне, что в Париже в одном доме они встретились с Керенским, который стал почти слепым глубоким старцем и все же с интересом расспрашивал их о Чехословакии и о том, не обижают ли там бывших эмигрантов.

Я же тогда, в 1917 году, спеша на концерт-митинг в нарядный зал Мариинского театра, знал, что услышу и увижу не только знаменитых русских артистов и артисток, известных певиц и певцов, но и небольшого худощавого человека в военном френче без погон, с густыми, подстриженными ежиком волосами, с землистым цветом утомленного, нервного лица, с как бы колючими, беспокойными глазами и необыкновенно возбужденной речью, произносимой хриплым, как будто надорванным голосом. Пересказать ее, а тем более изложить на бумаге, было бы не так легко. В ней всегда было больше темпераментных общих призывов и заклятий, чем ясного анализа, ясной программы.

Керенский совсем не единственный «умеренный социалист», которого я слушал, не слишком, правда, внимая, в 1917 году. Я обошел выступления всех наиболее тогда известных народных социалистов, эсеров и меньшевиков, от крайне правых до тех, которые называли себя интернационалистами.

Я не хочу быть как-либо предвзятым к тогдашнему лидеру эсеров В. М. Чернову. У него был свой строй представлений, свой политический идеал, который он пропагандировал и защищал. И все же и тогда, в 1917 году, когда я услышал Чернова впервые, и потом в эмиграции, а я годы жил в том же доме, что и он, было в его словах что-то раздражающе демагогическое, что-то как бы недоброкачественное. Что-то такое, что производило впечатление, будто искусный словесный жонглер в потоке слов и полужестов с особой ужимочкой стремится всучить залежалый товар по завышенной цене.

Таким остался в моей памяти Чернов на петроградских митингах 1917 года. Таким же я слышал его в Праге на собраниях домового комитета при сложных спорах о том, кто именно должен стать секретарем ревизионной комиссии домового управления, или о том, пришло ли время посыпать песком дорожки палисадника, принадлежавшего дому.

Удивительные, жестокие узоры выводит иногда безжалостная жизнь. Ведь человек, о котором идет речь, в подлинно исторические

минуты возглавлял крупную политическую партию и был избран председателем Учредительного собрания...

Самая внешность этого человека как-то не располагала к нему. Острые, сильно косящие глаза, большая голова с копной неряшливо зачесанных волос, всегдашняя как бы плотоядная улыбочка и по каждому поводу, а также и без него, всегдашний поток слов. В доме, в котором жил в Праге Чернов, кухонные окна выходили на лестницу. Молодые хозяйки готовили обеды при открытых окнах, возле которых, если женщина была миловидной или красиво-кокетливой, подолгу задерживался Чернов, и речь его неслась тогда бурным потоком.

В первые месяцы второй русской революции я слышал многих других эсеров и меньшевиков, но их выступления не оставили ярких воспоминаний.

В частности, это относится к меньшевикам. Помню вялые, бледные речи министра Временного правительства меньшевика М. И. Скобелева, а также темпераментные, но как бы беспредметные выступления другого министра — меньшевика И. Г. Церетели. В словах его не было сильных аргументов или увлекающих кого бы то ни было призывов. Этот человек, надо сказать, умевший располагать к себе, потом в эмиграции выступал уже только как грузинский меньшевик и как-то быстро затерялся.

Тогда же в Петрограде, а потом и в эмиграции слышал я также Ф. И. Дана, сухого «ученого мужа», самая внешность которого как будто должна была свидетельствовать о том, что мысли, убеждения и обстоятельства этого человека всегда в образцовом порядке. Вот только не знаю, кого, кроме круга близких приверженцев, мог привлечь этот начетчик меньшевизма. Меньшевика более левого толка Л. Мартова (Ю. О. Цедербаума) я слышал только однажды в 1917 году. Его надорванный, глухой голос и напряженное лицо уже тогда явно говорили о тяжелой болезни. Это был человек неуступчивый, по природе своей непримиримый, и прежде всего в отношении большевиков.

Увидел я и старших представителей «умеренного социализма», людей, обладавших иногда большими именами, но приехавших в 1917 году на родину после долгих лет эмиграции совсем стариками. Это был уже как бы «отработанный пар». У этих людей не было не только физических сил для политической работы в условиях революции, но не было и «приводного ремня» к сердцам тогдашних людей, признания которых они добивались. Это тогда особенно чувствовалось в выступлениях Г. В. Плеханова, человека очень уверенных, как бы безапелляционных манер, как будто не сомневающегося в убедительности своих слов. На самом же деле проповедь тактики сотрудничества с буржуазными элементами отзвука не находила. Это был оратор, не прощупавший основных артерий и нервов революции или не хотевший с ними считаться.

Помню я также старую эсерку Е. К. Брешко-Брешковскую, которой ее единомышленники присвоили, вероятно, слишком смело, звание «бабушки русской революции». Тогда, в 1917 году, эта в самом деле уже бабушка с тревогой и осуждением смотрела на развернувшуюся революцию, не узнавая, не желая узнать долгожданного детища. Она вела линию Керенского и выступала ему на подмогу, когда он поднимал, как говорили в старину, все образа, чтобы попытаться чего-либо добиться.

Потом, уже в глубокой старости, Брешко-Брешковская доживала жизнь в Праге. Она умела быть приветливой, ласковой и внимательной, если того хотела. Умела быть несговорчивой эсеркой, когда перед ней были несогласные с ней люди. В первые годы эмиграции, когда она была еще крепче, она вела немалую краснокрестную работу среди детей в так называемой Подкарпатской Руси — ныне Закарпатской области Украины. На эту работу Брешко-Брешковская получала большие средства из Соединенных Штатов Америки. В эмигрантскую политическую жизнь она уже не вмешивалась.

Из эсеров следующего поколения помню выступления А. Р. Гоца и, наконец, порвавшего тогда с партией Б. В. Савинкова. Этот в прошлом, после разоблачения Азефа, руководитель боевой организации партии эсеров вел крутую антибольшевистскую линию, но какой-либо своей положительной программы у него не было. Мы его слушали, знали о нем, но для нас — молодежи, примыкавшей прямо к буржуазным кругам, он, как потом для офицеров белой армии, оставался чужим. Это был индивидуалист-одиночка, смелый и сильный, но и только.

Савинков не был большим оратором, как не был и изощренным полемистом, но он наряду с политикой увлекался литературой и был одарен немалым литературным талантом. Искатель сильных ощущений, способный перешагнуть через многие преграды, человек неукротимого темперамента и воли, так сильно привлекавший женщин, он часто в острой и жестокой борьбе выходил на видные роли и всегда фатально неудачно.

Слышал я также много раз Н. Д. Авксентьева, лидера правого крыла эсеровской партии. Очень нарядный и приятный оратор. Но это менее всего был прозорливый политический деятель: что бы он ни говорил, жизнь тут же, в непосредственной близости от него, шла своим путем, совсем не прислушиваясь к его красивой речи. Судьба для политического руководителя очень безрадостная. В эмиграции Авксентьев был одним из редакторов большого журнала «Современные записки», в котором довольно полно отразились сомнения, искания и ошибки думающей части антисоветской эмиграции. Впрочем, широкой дискуссии журнал не допускал, оставаясь на строго антисоветских позициях.

Помимо социалистов «умеренного толка», пришлось мне однажды услышать также красочного по-своему человека того

времени — премьер-министра Временного правительства первого состава князя Г. Е. Львова. А услышать его было нелегко, он на митингах, как правило, не выступал, публичных речей не произносил и редко кого-нибудь куда-либо звал. Как рассказывают заседавшие с ним в правительстве люди, он только беспомощно улыбался, стараясь объять необъятное и объединить необъединимое, когда видел, что ход истории совсем не тот, которого он хотел.

Близко я увидел первого русского «революционного премьера» уже в эмиграции, в Париже. Он был тогда хотя и отыгранной, но все же «фигурой» и возглавлял объединение бывших земских и городских деятелей.

В Париже он восседал за письменным столом руководителя крупной и даже обладавшей известными средствами эмигрантской организации и принял меня и моих спутников, представителей эмигрантского студенчества. Да, этот человек с изысканными, удивительно мягкими, но совсем не слащавыми манерами, с его ласковостью и как бы задушевностью мог, конечно, очень нравиться людям. Очаровал он и нас. Он умел и понять, и обласкать неопытных молодых людей, волею судеб оказавшихся не в стенах российских университетов, а на парижских бульварах. Но даже нам, совсем тогда неопытным птенцам, было слишком ясно, что только великое недоразумение или злая ирония могли подставить этому обходительному и просвещенному русскому барину с «общественной жилкой» кресло председателя русского правительства.

Пассажиры волжского поезда

Время, которое я вспоминаю, непосредственно предшествовало открытому выступлению тогдашнего верховного главнокомандующего генерала Л. Г. Корнилова против Керенского с конечной целью повести решительную борьбу против углубления революции, и в первую очередь против большевизма. Корнилов в сущности начал гражданскую войну, двинув корпус генерала Крымова на Петроград.

...28 августа 1917 года. Я тогда спешил из нашей усадьбы на станцию Азаровка, чтобы поспеть в Петроград к началу учебного года. На станции я встретился с молодежью, помещичьими сыновьями, также возвращавшимися в школы Петрограда и Москвы. Первым, кого я увидел, был подвижной, необыкновенно нервный юноша, можно сказать юный неврастеник, затянутый в изящную форму пажеского корпуса. Этот молодой паж в лакированных полусапожках и золотых погонах сразу же предложил мне ехать с ним вместе, но при условии: в первом классе. Пажи, напомнил он мне, иначе не ездят, им это даже запрещено.

Я просто оторопел: как-никак, а я все-таки знал и хорошо знал, что пажеский корпус доживает последние свои дни, вернее часы.

Я тут же сказал, что пора покончить с подобными глупостями. Однако ехать одному мне не хотелось, и мы пошли на компромисс: забрались во второй класс и весело двинулись в путь.

Не доехали мы и до Рязани, как новые, входящие в вагон спутники уже рассказывали едущим о выступлении Корнилова, о его обращении к армии и стране. В вагоне-ресторане только об этом и говорили. Во всех вагонах только и слышно было: Корнилов, Керенский, передвижение войск, в Петрограде бои, большевики готовят отпор...

Этот скорый поезд, так называемый пятый волжский, с несколькими вагонами, спешившими из Ташкента в Москву, кишащий людьми, был похож на взбудораженный муравейник, в который прохожий бросил палку. Много лет прошло с того дня, много исторических декораций промелькнуло передо мной, а «пятый волжский» я отчетливо помню. В этих вагонах, где всех обычно объединяла дорожная цель, люди вдруг непримиримо и остро встали друг против друга. И если из окон вагонов и с площадок люди не летели на рельсы, то только потому, что тогда еще не решались прямо взять друг друга за горло.

Пассажиры разделились не как-нибудь иначе, а по вагонам, вернее по классам вагонов, притом почти без исключения. В третьем классе негодовали на восставшего генерала, грозили ему, Керенского обвиняли в потворстве, слабости и двуличии. Да, в этих вагонах трудно было найти не только «корниловцев», но и сторонников Керенского. А в первом классе была своя тревога, мучительная тревога и горячая надежда: только бы Корнилов усмирил «чернь»! Во втором классе, как и полагается промежуточному элементу, мнения разделились — кто за Керенского, а кто за Корнилова. А в вагоне-ресторане офицеры пили шампанское и кричали «ура» Лавру Георгиевичу Корнилову. В коридоре этого ресторанного вагона молодой офицер с георгиевским крестом, захлебываясь от счастья, целовал руки молодой женщине, горячо объясняя ей, что Россия теперь спасена.

Так и доехали мы до Москвы в нашем волжском поезде, совсем не договорившись друг с другом, а скорее готовые к борьбе, которой суждено было развернуться несколькими месяцами позже.

Скажу прямо, что классовая природа происходившей в те дни 1917 года Февральской революции никогда для меня не была так наглядно очевидна, как в этих вагонах спешившего в Москву поезда. Ведь и вся страна, как эти случайные пассажиры, разделилась решительно, безоговорочно, бескомпромиссно. Вот почему пятый волжский поезд стал для меня в известном смысле символом, который снова и снова вставал передо мной, встает и сейчас. Да! В те решающие дни и недели страна разделилась прежде всего по классам, как то сделали пассажиры пятого волжского поезда.

После корниловского выступления наступило преддверье Октябрьской революции. Я называю именно это событие, предшествовавшее Октябрю, потому что оно особенно живо в моей памяти.

Другой назовет, вероятно, Государственное совещание в Москве, созыв так называемого «предпарламента» или иные события в истории страны, непосредственно близкие к октябрьским дням.

Наши молодежные собрания — Организации учащихся средних учебных заведений (ОУСУЗ) — проходили бурно. Организация эта была формально не политическая, а «профессиональная», защищавшая интересы учащихся средних школ. Однако на самом деле, какие там гимназические, неполитические профессиональные интересы? Да еще в такие месяцы. Понятно, что политика, партийная борьба владела всецело и этим юношеским сборищем, изображавшим как бы юношеский парламент западноевропейского образца. Потом за границей я близко познакомился с молодежными организациями этого типа.

Мы же в ОУСУЗ ломали копья в междуусобной брани: кадеты, эсеры, меньшевики. Большевистская молодежь средних школ мало нами интересовалась. Она скинула нас со счетов как возможных партнеров. Эта молодежь жила уже совсем другим.

Тогда ведь живая жизнь с каждым днем, а потом и с каждым часом все дальше уходила от всех специфически «февральских» коалиционных организаций, учреждений и государственных органов, на каком бы уровне они ни работали — от нашего полудетского ОУСУЗ до Временного правительства. Пульс политической жизни России, бившийся с лихорадочной, все усиливающейся скоростью и силой, нужно было прощупывать совсем не в залах правительства и не в центральных комитетах буржуазных или правосоциалистических партий.

И мы, в то время юнцы-полумальчики, это положение ко дням Октябрьской революции ощущали очень живо. Понятно, что это уводило также и нас в сторону от тех деятелей, которые казались нам такими привлекательными в первые недели и месяцы Февральской революции.

Характерна в этом смысле первая в моей жизни личная встреча с П. Н. Милюковым.

В ответ на настойчивые просьбы нашей молодежной организации нас принял, наконец, на Французской набережной № 8 лидер кадетской партии Милюков. Потом в эмиграции я довольно близко знал его, но тогда эта первая личная встреча не была для нас ни приятной, ни побуждающей к борьбе. Милюков, видимо, не придавал никакого значения организации зеленой молодежи вокруг его партии.

Он говорил с нами холодно, официально, и хотя призывал нас к работе, но больше подчеркивал трудность положения. Он приоткрыл перед нами далеко, разумеется, не полностью ту мрачную оценку положения, которая была ему тогда свойственна.

Он сказал нам, что предстоят великие испытания, удары и опустошения, что Россия вступила в один из самых трудных периодов ее жизни. Мы, молодежь, должны прежде всего стать полноценными, культурными людьми, запастись необходимыми сведениями и знаниями, которые во всех областях жизни будут так необходимы родине. Словом, кадетский лидер призывал нас не столько заниматься политикой и с кем-то бороться — видимо, он считал, что для этого мы слишком юны и слабы,— сколько учиться, накоплять силы и знания, чтобы когда-то потом — когда же? — быть полезными и необходимыми родине.

Это было совсем не то, чего мы ждали. Вышли от Милюкова разочарованными и приунывшими.

Аврора

Пришел и Октябрь. Наступили великие события. Молодежь, к которой я принадлежал, была прежде всего растеряна. Мы метались по опустевшим клубным помещениям; политические руководители, если мы и находили их, отмахивались от нас, не хотели с нами говорить, давать указания. Не до нас им было.

Бросились мы было в Городскую думу, где, как мы знали, группировались силы на подмогу Временному правительству в связи с нараставшим напряжением вокруг Зимнего дворца — последней его резиденции.

Помню так ярко, как будто это было только вчера, гулкие выстрелы батарей Петропавловской крепости и знаменитый выстрел носового орудия крейсера «Аврора», давшего сигнал к штурму Зимнего дворца, где заседали министры Временного правительства.

Конец тогда пришел не только старой России, но и социально-политическому строю, который мыслили себе люди буржуазно-либерального и правосоциалистического лагеря. Конец при громе батарей Петропавловской крепости и наведшего свои орудия на стены Зимнего дворца прославившегося крейсера «Аврора».

Кто видел эту великую реку, кто помнит чудесные очертания дворца, кто знает неповторимую прелесть, а главное несравненное величие этого единственного в мире города, тот наверное признает, что старая затейница-история не поскупилась на краски для увертюры нового этапа в жизни мира.

Так я пишу и так я думаю сейчас. А тогда выстрелы на Неве прозвучали для меня погребальным звоном. Я думал: хоронят величие России, ее славу и свободу, ее место в ряду великих держав мира. Так в сырую октябрьскую ночь воспринимали происшедшее и мои близкие. Мы собрались в нашей квартире на Широкой улице Петроградской стороны и угнетенные с глубоким волнением ждали... Я только что вернулся из своей очередной рекогносцировки по опустевшим политическим кадетским штабам.

И когда зазвучали выстрелы и вскоре стало известно, откуда они и против кого, мы все — и отец, и мать, и сестры — притихли, не глядя друг на друга. Было отчетливое ощущение, что куда-то в глубокую темную могилу опускают дорогого покойника.

Мы не понимали тогда, что уходит из жизни всего только тот порядок вещей, который был нам близок, был нашим. Белым офицерам также слышались невские залпы, когда через несколько месяцев они строили в казачьих степях полки своей армии.

И этот же, на годы оставшийся в ушах гром орудий вдохновлял на подвиги и борьбу детей Октября.

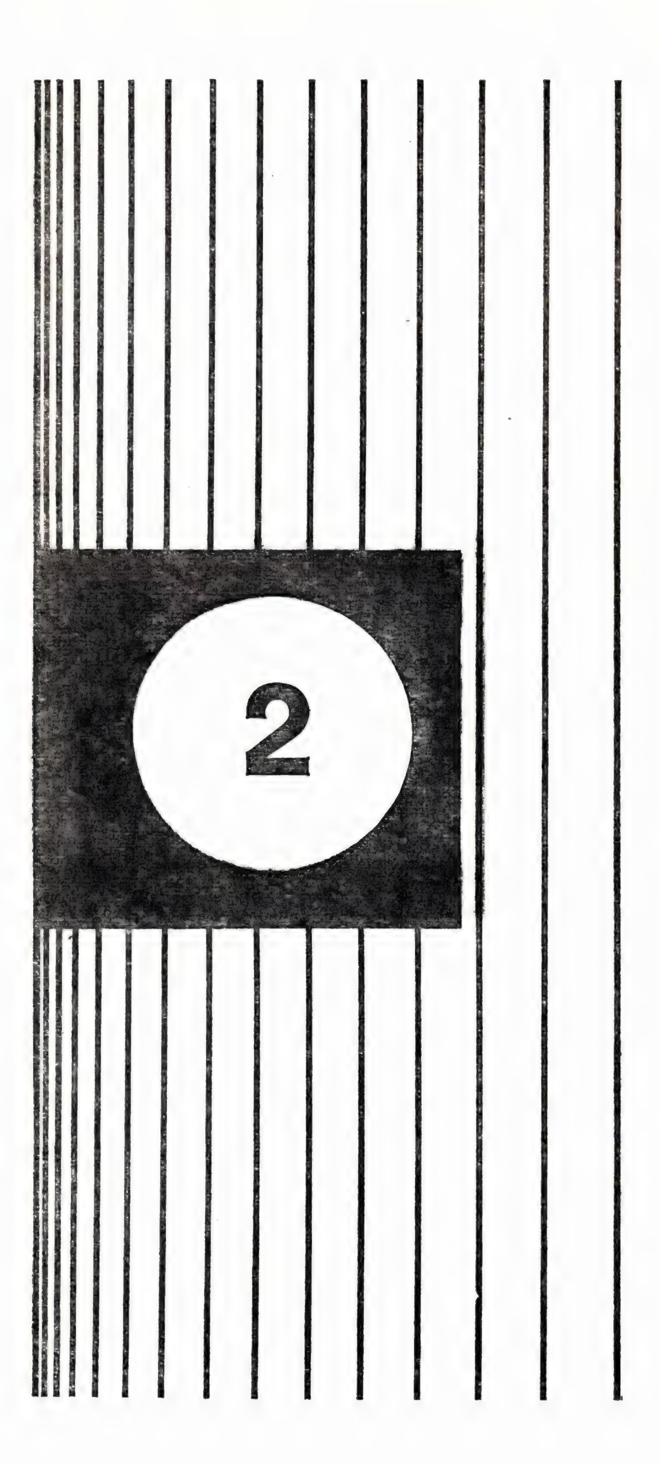
Нет, уже не юношей, а глубоко взволнованным, потрясенным до самых глубин души старым человеком — через сорок лет — вновь увидел я прекрасный город, величавую Неву, Зимний дворец. Одно за другим вставали воспоминания, горячо волновали чувства.

Я уже давно знал, что мы — там в эмиграции — глубоко ошибались в понимании Октябрьской революции; она привела страну к новой жизни, жизни во многом лучшей, более справедливой, чем прежняя. Выстрел «Авроры» вещал не только о конце, но прежде всего о рождении. Родилась новая Россия; более того — новый государственный строй, и сложились небывалые ранее социальные отношения, возникла устремленность, которой в большей или меньшей степени живет сейчас половина человечества.

Все это я понимал и принимал. А все же, когда гид «Интуриста» предложил иностранной группе путешественников, в составе которой я приехал, пойти осмотреть крейсер «Аврора» ... я тихо отошел в сторону. Помнится, я долго гулял в Летнем саду, затем побрел на Мойку, в дорогой мне уголок: последнюю квартиру Пушкина.

Я не знаю, почему так поступил. Видимо, сознание опередило сердце, оно еще не совсем было подготовлено. Прошло еще два года, и когда в солнечный, холодный, осенний день я вновь оказался в Ленинграде, то уже бестрепетно поднялся по трапу на «Аврору». Бурный поток новой жизни поглотил до конца тени прошлого.

Воспоминанием об этом запоздалом посещении «Авроры», очень для меня многозначительном, я и закончу рассказ о первых революционных месяцах 1917 года.


2

НА ОБЛОМКАХ СТАРОГО МИРА

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А. С. ПУШКИН

Голод в Петрограде весной 1918 года становился почти нестерпимым. Особенно в тех семьях, где не было ни больших денег на руках для покупки продуктов из-под полы, ни нужной ловкости и уменья, чтобы как-то приспособиться к новой действительности, вызывавшей гримасу боли, злобы и отчаяния у одних и суровую непримиримость у других. Тяжелые, мрачные настроения владели тогда нами. Я говорю не только о нашей семье и близких, но и о широком круге таких, как мы.

Величие поступи великой революции, ее героику и творческую силу в то время не воспринимали своим духовным слухом целые слои и классы, против которых она в первую очередь была направлена. Самые умные, самые объективные и проницательные представители этих слоев и классов оставались тут глухи и слепы.

Семьей, сразу севшей на мель, оказалась и наша семья: небольшое наше имение в трехстах километрах от Москвы уже осенью 1917 года — непосредственно после Октября — перестало быть нашим.

Еще совсем недавно жившие привольной и сытой жизнью вполне обеспеченных людей, не знавших и тени лишений, мы вдруг сразу стали голодающими. Ко всем волнениям и душевным бурям, вызванным революцией, прибавилось нечто новое — голод.

Я вспоминаю об этом, чтобы можно было хотя бы отчасти почувствовать и понять ту обстановку, в которой у нашей семьи

укрепилось решение вернуться на родное пепелище, чтобы попробовать там прокормиться и отсидеться от городских невзгод возможно дольше.

Решение это по многим психологическим мотивам было нелегким, но выхода тоже не было. Подтолкнул нас к этому шагу и приезд некоторых крестьян к нам, в Петроград. Дважды из нашего Хлопина приезжали к нам знакомые крестьяне, правда, из зажиточных, и привозили подарки. Пшено, хлеб и сало казались пищей богов, их притягательная сила была велика. Гости были ласковы и хотя в деревню прямо и не звали, но выражали много добрых чувств. В искренности гостей мог усомниться только тот, кто знал всю сложность тогдашней крестьянской манеры обхождения, столь глубоко не похожей на теперешнюю; всю, веками воспитанную осторожность и уклончивость русского сельчанина, особенно при общении с недавними обитателями помещичьей усадьбы.

Так или иначе было решено, что я поеду на разведку и выясню, найдется ли нам место в нашем старом гнезде. Я говорил только что о чисто житейских мотивах, заставивших нас искать пути в наш рязанский уголок. Но были, конечно, и другие мотивы, как у многих, кто очутился в том же положении, что и мы: тяга к родному насиженному углу, тяга к усадьбе, с которой иной раз помещичья семья была связана давностью в несколько столетий. Обрывать такие связи нелегко.

В 1918 году многие помещики потянулись обратно в свои насиженные гнезда, оставленные ими в первые месяцы Октябрьской революции во время похода крестьян на помещичьи усадьбы. Немалую роль сыграло в этом возвращении помещиков на короткий срок в усадьбы некоторое временное изменение в отношении зажиточной части крестьянства к помещикам, происшедшее в то время. Перемена эта была в какой-то степени в пользу помещиков. Летом и осенью 1917 года это были еще вековые социальные враги, часто обидчики, владетели той великой ценности, вокруг которой вращалась вся жизнь деревни, — земли; это были «господа», сила и власть которых, к великой радости подавляющего большинства крестьян, наконец, пошатнулась и рухнула. Летом 1918 года и позже, в 1919 году, то были уже ограниченные в правах бессильные одиночки, экономически почти нищие, а для наиболее зажиточных крестьян — для кулаков — даже возможные, как им казалось, союзники в борьбе с новым, сильным противником. Здесь, однако, необходимо уточнение. Тогда, далеко от фронтов гражданской войны, крестьяне приняли некоторых возвращающихся помещиков мягко — прежде всего потому, что уже переставали видеть в них землевладельцев. Когда же развернулось «белое движение» и возник вопрос о возврате земли помещикам, крестьянская масса поднялась в едином порыве, стала непримиримой без каких-либо компромиссов и до конца.

Только к концу вторых суток добрался я, наконец, до маленькой нашей станции, следовавшей по тогдашней Московско-Казанской железной дороге непосредственно за большой станцией Шилово, расположенной на берегу Оки и известной всей округе своей осенней хлебной ярмаркой.

Вот они, эти унылые железнодорожные строения, выкрашенные в традиционную красную краску! Маленькая, скучная станция, прислонившаяся к небольшому лиственному лесу...

Я был взволнован предстоящей встречей с крестьянами, несколько месяцев назад расправившимся с нашим имением, и не мог точно себе представить, что именно увижу на месте нашей усадьбы. Приехал я к тому же в качестве просителя к тем же крестьянам...

Странно и непривычно было не увидеть, как обычно, на станции нашу белую тройку с отставным московским «лихачом» Николаем на козлах. Я знал, что нашей тройки для нас не существует, что путь в 15 верст от станции нужно впервые в жизни проделать пешком. Я понимал также, что идти прямо к остаткам нашей усадьбы нельзя, что идти туда в сущности не к кому...

Поэтому-то и направился я к другу нашей семьи, сельскому священнику, жившему от нашей усадьбы в трех верстах. Не забуду этой вынужденной прогулки в послеобеденные часы чудного дня в конце апреля, когда после столичной тягостной сутолоки душа и глаза наслаждались тишиной и прелестью деревни, грудь расширялась навстречу привольному ветру, гулявшему, как обычно, по нашим рязанским полям, ухо ловило первые песни жаворонка. В знакомых лесах береза первая облекалась в свой скромный девичий наряд, готовясь к скорому весеннему балу.

Наш священник встретил меня, как родного, и я всецело отдался прелести ужина, настоящего деревенского, с обязательной пшенной кашей с маслом, с копченым салом, ватрушками и обилием молока. После Петрограда это был рай земной.

В деревне новости всегда разносятся с большой быстротой. Вечером я ужинал у священника, а утром, часов в девять, когда я встал, ко мне уже пришли первые гости из Хлопина.

Нужно было, однако, и мне вложить персты в раны, и я отправился в усадьбу. Короткий путь, с раннего детства знакомый во всех мельчайших подробностях, показался мне длинным и трудным. Тяжело было сознавать, что сейчас войдешь в село, войдешь в совершенно новом и, в конце концов, жалком обличье.

У меня было также чувство большого беспокойства: я боялся натолкнуться на обиду.

К этому опасению было, казалось, тем больше оснований, что летом 1917 года нам пришлось пережить в деревне очень неприятное время. Крестьянская молодежь при нашем появлении в селах или при встречах на дороге часто отпускала обидные и прямо

оскорбительные замечания. Бывало, что при проезде через незнакомые или малознакомые деревни вдогонку летели камни, а раз вечером в лесу я подвергся форменному нападению, от которого пришлось спасаться вскачь, благо был верхом на быстрой лошади.

Словом, шел я к нашей усадьбе с тяжелым сердцем и с не менее тяжелым сердцем вступил в Хлопино. Деревенских мы знали хорошо. Знали, кто беден, кто зажиточен, кто болен, кто здоров. Думаю, что немало крестьян побывало у нас на разных должностях, начиная от старосты и кончая маленьким подпаском. Мой отец годами вел с некоторыми крестьянами долгие разговоры на разные, в том числе и политические, темы, часто удивляясь одаренности и проницательности своих собеседников.

Словом, многие нити связывали деревню с усадьбой, и отношения между мелким помещиком и крестьянином, несмотря на лежащую между ними во многом пропасть, вопреки непримиримому противоречию классовых интересов были все же более тесными, чем то может подумать сторонний этому быту человек. В том же положении, в котором я приближался к деревне и усадьбе, все это не упрощало, а психологически осложняло мое состояние.

Тогдашнее Хлопино — небольшая деревня, всего только одна улица. Никто не повернулся ко мне спиной, никто из молодежи или ребятишек, как то было прошлым летом, не обмолвился каким-либо грубым замечанием. С другой стороны, ни один человек не пересек улицу, не подошел ко мне ближе — поздороваться и поговорить. Большинство после приветствия издали скрывалось в избах или огородах.

Я шел медленно, но не останавливаясь перед знакомыми дворами. Около большой нарядной избы нашего бывшего старосты Анилина я уже издали увидел знакомую спину и кудрявый затылок. Однако Иван Васильевич тоже издали опознал путника. Очень искусно разыграл он сцену погони за старым боровом, с которым и скрылся на задах прилегающего к дому обширного двора.

Невольно я ускорял шаг. Нехорошо мне было! До усадьбы оставалась верста с небольшим. Сердце билось сильнее и сильнее. Вот дубовая роща, вот сад. Сквозь еще голые деревья видна красная крыша дома.

В этом доме я провел безвыездно свое детство от шести до двенадцати лет. Здесь я знал каждый изгиб кресел, в кабинете отца каждую книгу, в моей комнате я оставил минувшей осенью мою собственную библиотеку, не взяв в город ни одного томика. Этот дом, совсем небольшой и вовсе не богато, вернее почти бедно, обставленный, включал тысячи мелких вещей и вещичек, знакомых с детства...

Словом, я приближался в полном смысле к отчему дому, всю силу влияния которого на психику человека я узнал много позже,

когда наша усадьба стала во временном и пространственном смысле совсем далеким прошлым.

Комнаты дома были пусты, решительно ничего из утвари, ни одного предмета из мебели не осталось. Обои во многих местах порваны. Сырость, затхлость, на паркете лужи от растаявшего снега. В этом старом доме, построенном из векового дуба, в самые жестокие зимы, в самые сильные морозы и самые свирепые метели бывало всегда тепло и сухо.

В комнатах я не застал ни одной живой души, но я знал, что в людской избе, там где раньше жили работники, поселилось несколько семей беднейших хлопинских крестьян, а также переселившиеся из города рабочие, когда-то связанные с деревней, потом потерявшие с нею связь и теперь, может быть, через целое поколение вновь решившие крестьянствовать.

Я направился из дома к людской. Там, как я мог легко убедиться, меня ждали. Встретили на крылечке просто и почти приветливо. Я сказал, что мы голодаем в городе, что я приехал посмотреть, как тут живется и нельзя ли моим родителям и сестрам приехать сюда. Все это высказал в форме предположительной.

Мы сидели на крылечке и беседовали, когда на широком дворе усадьбы появились две фигуры — наш бывший староста Иван Анилин и его двоюродный брат, очень богатый, умный и чрезвычайно неприятный человек — Тарас Анилин, летом 1917 года державшийся с нами подчеркнуто грубо. Вместе подошли они к крыльцу и после первых ласковых приветствий Иван Васильевич дипломатично вступил в беседу с вселенными в людскую горожанами, а Тарас предложил мне пойти в фруктовый сад посмотреть, какое цветение и затем урожай обещают яблони и вишни. В этом деле он был в наших краях одним из знатоков, но в данном случае интересовали его, разумеется, не вишни.

Тарас кратко и ясно объяснил мне дело.

— Были мы дураки, думали пришло счастье. Пришло же несчастье. Разгромили вас, сам я громил (горький смешок), теперь разгромят нас! Рады бы многие ваше все, что в усадьбе взяли, назад вам вернуть, да боятся других. На деревне несколько солдат с фронта и несколько семей большевистских за коммуну стоят.

Тарас Анилин, высокий, худой, с необыкновенно эластичной походкой, с темными, немного страшными глазами (один зрачок у него был расширен и как бы мертв — в семье был сифилис), нагнулся ко мне и сказал со сдержанной, но жуткой ненавистью в голосе, с той самой ненавистью, с какой он говорил минувшим летом с моим отцом, стараясь его обидеть.

— Либо они нас, либо мы их. С коммуной нам без ножа не разойтись...

Впоследствии я видел немало непримиримых и страстных врагов коммунистов, но такого заряда прямой, жуткой ненависти, как та, что звучала из уст Тараса, человека вообще страстного,

жестокого и с трудом останавливающегося перед препятствиями на своем пути, я, может быть, больше и не встречал. Потом только я понял, в чем дело: «Тарасы» считали себя бесспорными наследниками помещиков. Когда же они увидели, что это не так, что в лице коммуны вырастает новый, гораздо более опасный и для них — сельских богатеев — более страшный враг, а безошибочным социальным нюхом они это учуяли еще до того, как советская власть развернула полностью свою политику на селе, разочарование стало глубоким, а ненависть подлинной. Это была ненависть кулаков.

Я не обольщался насчет истинных мотивов моего собеседника, зная, что у Тараса — в молодости, как гласила молва, конокрада — не может быть никаких угрызений совести относительно чего бы то ни было; но я почувствовал у него действительную готовность помочь, конечно, так, чтобы на этом сейчас ничего не потерять, а в будущем, может быть, кое-что и выиграть.

Наш разговор прервал Иван Васильевич, очевидно, нашедший, что я уже достаточно времени провел с его двоюродным братом, и под каким-то предлогом кончивший свою беседу с людьми, которым он, наверное, изъяснялся в личной любви, как и в неуклонной верности советской власти. Тарас сейчас же распрощался, и я провел несколько часов в обществе Ивана, а потом и его жены, принесшей нам вкусную закуску.

Иван Анилин — умница, циник и скептик, оратор и политикан, а может быть, и политик по призванию, богатей по социальному положению, близко знавший нашу семью и, вероятно, отлично разбиравшийся в характере каждого из нас,— говорил в сущности то же, что и Тарас.

Он звал нас приехать и уверял, что деревня охотно напишет приговор о том, что принимает в свой состав.

Программа дня, однако, далеко не была исчерпана: не успел уйти Анилин, как в сумерках стали приходить другие крестьяне, тоже по преимуществу зажиточные.

Однако всему бывает конец; кончился и мой первый день в бывшем нашем гнезде. Сильно я повзрослел за эти часы.

...Летом 1918 года наша семья перебралась в Хлопино. Я пробыл там до весны 1919 года.

Целый год, исполненный незабываемыми для меня впечатлениями и показавший мне жизнь с совершенно новой стороны, я прожил в деревне — и осенние вечера, и серые бесконечные дождливые осенние дни, и всю стужу той зимы, когда весь январь и февраль градусник ни одного дня не показывал меньше —20 градусов по Реомюру, и бурную весну, когда мы были в нашем углу отрезаны от всего мира.

Прожито было это время в полуразрушенном доме, в котором многие окна и двери были заколочены досками, при свете скудной, еле теплившейся лампы, в условиях неполноправности и суровой

бедности, притом там, где мы, как нечто само собой разумеющееся, привыкли быть хозяевами положения. Воистину на обломках старого мира...

Не буду сейчас продолжать хронологически последовательный рассказ. Только несколько отрывочных зарисовок.

Декабрь 1918 года. Возвращаюсь в деревню к родителям из поездки в Петроград. Поезд наш опаздывает на целых восемь часов, приезжаю вместо 8 утра в 4 часа дня. Темнеет, тихо, мороз 21 градус. Нечего и думать идти домой пешком. Я же нарочно не уведомил своих о приезде: знаю, как трудно им достать лошадь, чтобы меня встретить. Как-нибудь сам доберусь этапами; на мне полушубок, на ногах валенки, на голове финская меховая шапка.

Решаю заночевать в доме нашего бывшего земского начальника. Сам Всеволод Васильевич Отасьев (звали его в округе, ввиду обилия детей и родственников, Всеволод Большое Гнездо) уже несколько лет как умер. Но я знаю, что в усадьбе Отасьевых живет старший сын покойного.

Усадьба от станции неполных три версты большаком да еще неполная верста в сторону, к усадьбе. Последний же этап дался не так легко. Протоптанная стежка почти совсем засыпана свежей порошей, и я то и дело сбиваюсь с нее и проваливаюсь в снег. Но вот чернеет в парке огромный дом Отасьевых.

Когда-то в нашей округе род Отасьевых был знатен и богат, как мало какой другой. Эти «столбовые» русские дворяне обладали огромными земельными латифундиями. Дом, построенный в начале минувшего века, с его многочисленными комнатами, пристройками и службами представлялся мне в детстве почти дворцом. Громадный, серый, с длинной колоннадой, выходящей в сад, он всегда производил большое впечатление и вместе с запущенным парком казался самым романтическим местом на земном шаре. Я сказал, что Отасьевым принадлежали целые латифундии. Но великолепие это было уже в прошлом, притом довольно далеком. Скудел и беднел старый род. Со всех концов жег и сжигал свое богатство, физические и духовные силы своих новых поколений. Все излишества крепостных вельмож видел старый дом. Не только из рязанской округи или из Москвы и Петербурга, но из Парижа и Риги, из Италии и Турции пробирались в его стены искатели, а больше искательницы легкой наживы, сытой и пьяной жизни.

Под конец своей жизни земский начальник В. В. Отасьев имел меньше десятин земли, чем было комнат в его разрушающемся доме. Службы усадьбы частью развалились, частью были проданы, то же случилось и с большинством движимости. В доме часто не было ни копейки денег. Это, однако, не мешало Отасьевым ежегодно 1 августа устраивать бал на всю округу. Занимались деньги у соседей, лавочники соседнего большого села чесали в затылках, но все же отпускали товар на большую сумму в кредит.

В молодом поколении Отасьевых ни один из многих братьев не окончил средней школы. Каждый по-своему был немного недорослем. Старший с помощью дяди-губернатора вышел в офицеры гусарского полка, потом заболел костным туберкулезом, ушел в отставку и получил в Крыму место управляющего имением Ореандой. После Октябрьской революции он потерял это место и теперь дожидался лучшей погоды в своем Родном.

Я подошел к дому, когда зимние сумерки переходили в непроглядную ночь. Весь громадный дом был совсем темен. Мне казалось, что к нему нет протоптанной в снегу дорожки: прямо по снегу добрался я до одного из балконов первого этажа. Окна в зале выбиты, некоторые забиты досками, в остальные беспрепятственно валит всю зиму снег. Целым сугробом белеет он в темном зале. Холодно стало на сердце. Нет, видимо, Николай Всеволодович покинул свой угол, может быть, пробрался на юг, в свой любимый Крым. Собираюсь покинуть отасьевское гнездо, как вдруг слышу окрик: «Кто там?» Вот и он, кого я ищу. В старом меховом пальто, в валенках и офицерской папахе, со своей обычной кавалерийской походкой вразвалку, с парализованной от туберкулеза рукой передо мной предстал хозяин.

Николай Всеволодович сильно мне обрадовался, потащил в комнатку у кухни, где он жил. Там было тепло, большая печь жарко натоплена, окна вставлены, кое-где заклеены газетной бумагой. Рядом в кухне жила совсем ветхая старушка-стряпуха. Комната являла собой редкое зрелище: сочетание нескольких дорогих вещей из красного и черного дерева, нескольких напудренных важных предков, смотрящих из золоченых рам,— эти вещи крестьяне оставили владельцам при разборе имущества Отасьевых—и страшной бедности, запущенности остальной мебели.

В жалком пристанище рядом с анфиладой обширных покоев своих предков мой хозяин оставался все тем же приветливым и до конца радушным хозяином, как и эти предки его, устраивавшие умопомрачительные пиршества. Так же ласково и нежно просил он меня «погостить» у него денька два, тем более, что меня дома не ждут. Ловко орудуя одной рукой, он отрезал ломти черного хлеба, а потом не без хвастовства вытащил из какого-то подобия буфета бутылку молока.

— Это,— говорит,— мне Аксинья каждый день носит. Отказаться нельзя, плачет от обиды... Молодая баба. Сочная. Просто прелесть. Впрочем, вы еще молоды... Я же стар для нее.

Так и осталось для меня неясным, любила ли Аксинья, юная и сочная, стареющего отставного гусара — Николаю Всеволодовичу было ближе к сорока, чем к тридцати,— или же просто по-женски жалела.

Пока хозяин резал хлеб и накрывал на стол — поставил две подбитые тарелки и положил две ложки, его стряпуха притащила нам миску жидких щей и большой горшок пшенной каши.

С наслаждением свернули мы после еды козьи ножки из старой газетной бумаги, набили махоркой, и в облаках едкого дыма начались долгие, нервные, волнующие разговоры. Николай Всеволодович рассказывал, как приходится ему бороться за получаемый им паек, как хотели ему в нем отказать как бывшему офицеру. Как, с другой стороны, его как бывшего военного привлекают к опасным разговорам о необходимости восстаний и руководства ими.

— Черт с ними, и с мужиками, и с кулаками, и с восстаниями, никому не верю. Достать бы денег да удрать в Крым. Тут все равно скоро пропаду. Рука болит. Туберкулез развивается.

Потом я убедился, что он исполнил свое желание.

Лицом к лицу

Между имением Отасьевых и нашей усадьбой наиболее короткий путь шел лесом. В этом-то лесу и расположилось имение М. Ф. Терлиговой, давней приятельницы моих родителей. Личностью она была примечательной. Барыня и интеллигентка одновременно, уже самой своей внешностью она не была похожа на старую помещицу. Худенькая, необычайно подвижная старушка, остриженная бобриком, самовластная и умная, образованная и светская, она сделала из своего лесного имения как бы средоточие интеллигентской молодежи. Это были в основном ее родственники, оставившие уже деревню и живущие в Москве. Словом, городская интеллигенция, по своим политическим симпатиям частично примыкавшая к социал-демократам и эсерам, что среди молодежи помещичьих корней встречалось сравнительно редко.

Летом и на рождественские каникулы собиралась эта молодежь в гостеприимном доме Терлиговой. Велись литературные и политические диспуты, студенты пели революционные песни. В этом доме, все благосостояние которого было, разумеется, связано с сохранением существующего порядка вещей, я впервые услышал революционную песню «От Урала до Дуная нет глупее Николая».

У Терлиговой были свои странности. К ним относилось непременное желание, чтобы ее серебряный бобрик стриг мой отец. Это была целая процедура. Большое вольтеровское кресло подвигалось к самому окну, дело происходило всегда в зале. Гостья, не переставая шутить, усаживалась в него, мой отец надевал очки, мать вручала ему машинку, а мы из разных дверей подсматривали за церемонией.

Именем своим Терлигова управляла искусно, счет деньгам знала крепко и, к огорчению моих родителей — людей совсем иных в этом смысле, была немного скуповата. Крестьяне ее не любили за прижимистую политику, может быть, унаследованную

от предков-откупщиков. Управляющий Марии Федоровны был среди нас, детей, близких ее усадьбе, известен под именем «дяденьки». Уже это наименование, которого и от своих внуков требовала Мария Федоровна, показывает, что управляющий пользовался особым почетом. Огромный, очень грузный мужчина в неизменной поддевке, он был очень ласков, как бы немного грустен и, вероятно, ленив. Любил он в летний день прохладу, тень и квас. Впрочем, хозяйка сама была всегда в курсе всех своих дел по имению.

Она была страстная любительница быстрой езды, ее тройка славилась в округе. Чуть ли не самым почитаемым человеком всего моего детства был кучер Терлиговой, Данила. Перед ним мы заискивали самым беззастенчивым образом, лишь бы добиться его внимания.

Данила не был просто кучером. Он был артистом, поэтом своего ремесла. Как и его барыня, он страстно любил лошадей и быструю, смелую езду. Присутствовать при запряжке было для меня острым наслаждением. В тот момент, когда Данила кончал священнодействовать с упряжкой, мы разбегались в стороны, работники открывали широкие двери сарая, Данила с непостижимой быстротой вскакивал на козлы, и тройка неудержимо вырывалась на двор. Казалось, она несется, куда глаза глядят. Сейчас коляска будет разбита о ворота, о деревья аллеи. Но нет: Данила, маленький и сосредоточенный, в эти минуты железной рукой правит конями. Вихрем кружит тройка вокруг усадьбы, минуя чудом все опасности, и вот она уже осажена у крыльца дома. Стоит минуту, как вкопанная; легким прыжком вскакивает Мария Федоровна в экипаж, и уже несется тройка, теша одинаково седока и возницу.

Пришел 1917 год, потом великие октябрьские события; затрещали под ударами топора старые усадьбы. Мария Федоровна осталась у себя в деревне. Это было опасно, родные телеграммами торопили в Москву. Однажды на заре к Даниле прибежала из села его жена — жили они врозь, Данила не признавал семьи — и закричала в ужасе, чтобы он уходил. Крестьяне с вилами и топорами идут к усадьбе.

И тут разыгралась романтическая история. Решающую роль сыграли все та же знаменитая тройка и Данила. Он не внял благоразумному совету своей жены, кинулся в дом, разбудил Марию Федоровну. Через несколько минут тройка была запряжена, Мария Федоровна вскочила в коляску, не успев даже одеться как следует, захватив впопыхах лишь то, что попалось под руку...

Началась бешеная скачка. Данила с места избрал искусную тактику: вместо наезженных проселочных дорог он погнал по лесным, трудно проезжим, зато и мало знакомым. За беглецами началась погоня. Данила повернул назад, сделал огромный крюк и после целого дня пути привез свою старую спутницу по бешеной

скачке на издыхающей тройке к дальней станции, в 50 верстах от усадьбы.

Мария Федоровна поселилась в городе у своей племянницы. Стала она сразу маленькой и сгорбленной в столь непривычной, чуждой обстановке. Ее старушечье подвижное лицо как-то сжалось и застыло. Она, всю жизнь бывшая хозяйкой и начальницей окружающих, здесь считала себя живущей из милости и хотя и пользовалась прежним внешним почетом, но какая-то неуловимая черта между прежним отношением к ней ее родственников и теперешним уже легла.

Много позже я прочел выдержки из ее прощального письма к моему отцу. Оно в общем полно какого-то безысходного отчаяния и тоски. Она умерла среди всеобщего крушения того класса старой России, к которому она принадлежала всей своей плотью и кровью, может быть, больше, чем кто-либо другой. Новой жизни — правды этой новой жизни — она не почувствовала, понять эту правду уже не могла. Когда я в городе навещал Марию Федоровну и других наших знакомых по деревне, я всегда уносил с собой чувство тяжелой тоски... Старый мир, в котором я родился и вырос, умирал трудно, в мучениях. Тогда я больше видел эти мучения смерти, не понимая еще, что они вместе с тем — родовые муки новой жизни.

На север от нашей усадьбы была расположена крупная экономия наших соседей Редингов. Имение богатое, каких в нашем краю было мало. Хозяин дома — человек аристократических манер, осторожный и вместе с тем внутренне решительный, любитель конного спорта и скрипки — не был обременен излишними специфически интеллигентскими предрассудками. Он умел смотреть в корень вещей, скоро понял ход революции и не хотел себя от нее отгораживать.

Эта усадьба — единственное имение в ближайшей нашей округе, признанное достойным быть превращенным в совхоз. Назначен был и директор намечающегося совхоза. Канцелярия руководителя совхоза занимала ряд комнат первого этажа большого дома, которые ранее были самыми парадными. В верхнем этаже жили бывшие владельцы. По сравнению с нашим разбитым домом, с отсутствием у нас самых необходимых вещей, у них была полная чаша. Осталась даже часть прислуги, только что стол накрывался не в большой столовой с выходом на нарядную террасу, а наверху, в бывшей «классной» комнате моих молодых друзей.

В доме шел процесс, ставший мне до конца понятным только много позже, тогда же не бросавшийся в глаза. Шла все время безнадежная борьба, исполненная внутреннего напряжения, но внешне лишенная драматизма, борьба между бывшей хозяйкой и директором совхоза.

Бывшая владелица делает вид, что новый модус вивенди уже установился и что то, что ей временно оставлено, оставлено уже

прочно и навсегда. Директор же совхоза выживает старого владельца, но делает это осторожно, не сразу, а, так сказать, этапами, тем более, что глава семьи уже начинал в это время в Москве работать в государственных учреждениях.

Так и жили в одном доме два мира, друг друга совсем не понимавшие, совсем друг другу чужие.

Я сказал, что между верхним и нижним этажом шла постоянная борьба. Силы были, однако, весьма неравны.

Долгими зимними вечерами у жителей верхнего этажа одним из развлечений было чтение вслух.

Как-то мы в нашем заброшенном уголке получили от Редингов приглашение приехать к ним на спектакль, который под руководством местного учителя сельский совет ставит в их старом флигеле. Теперь в этом флигеле был устроен сельский клуб и помещался культурно-просветительный кружок, членами которого состояли и бывшие владельцы усадьбы. Хозяйка семьи советовала моим родителям обязательно появиться, чтобы было побольше бывших людей, которые подчеркнули бы этим свой интерес и положительное отношение к новым порядкам.

Моя мать, сестра и я направились в новый клуб. Все помещение оказалось переполненным крестьянской молодежью и мелкими служащими из соседнего большого села. Стулья зрительного зала — бывшей гостиной флигеля— и поставленные в образцовом порядке садовые скамейки заняты до отказа. Нас посадили в первые ряды. Программа была разнообразной. Разыгрывались отдельные картины — помню, особенно поразил нас отрывок из «Ромео и Джульетты». Было трогательно и немного удивительно, когда режиссер — не сильно грамотный сельский учитель — и уже совершенно неподготовленные ученики настойчиво пытались овладеть Шекспиром. А между тем зрелище было глубоко поучительным: новая жизнь властно стучалась в двери, пробивая себе путь. Когда я спустя 42 года изучал культурную революцию в советской деревне, то часто вспоминал этот замечательный вечер.

Помню, декламировали много стихов, в том числе революционных.

Ироническое отношение некоторых уцелевших бывших помещиков к этой ассамблее, в которой они видели лишь еще одно нарочитое и досадное революционное начинание, не встретило поддержки у моей матери. Ей очень понравился вечер, и она не нашла в нем ничего для себя неприятного.

Немало, надо сказать, было обитателей помещичьих усадеб, которые могли читать Шеллера-Михайлова наряду с Гончаровым, не делая между ними существенного различия. Некоторые помещики теоретически почитали Льва Толстого как писателя и совершенно реально ненавидели как церковного и классово-сословного отступника. Помню, как меня, выросшего в кругу, где русская литература была нежно любима, где ее знали доскональ-

но, где герои Толстого и Тургенева, Гончарова и Достоевского, Чехова и Горького были как бы родными или близкими знакомыми, часто поражала в таких семьях удивительная нечуткость и необразованность, в некоторых случаях просто необъяснимая.

После вечера моя мать долго беседовала с режиссером-учителем, давая ему советы, как педагог педагогу. Натура очень деятельная и легко увлекающаяся, она, тосковавшая без дела вне дома, с удовольствием приняла предложение создать при клубе группу для девушек, желающих изучать русскую стихотворную поэзию: Пушкина, Некрасова и других. Раза два или три моя мать в зимнюю стужу ходила пешком в Старовское специально для этих занятий и приходила оттуда оживленная, довольная, открывающая все новые таланты.

А вот, коротко, судьба еще одной, хорошо мне известной усадьбы.

Полковник Ведров, тянувший лямку армейского офицера в провинции, уже в не молодых годах женился на нашей, довольно богатой, одинокой помещице. Полковник скоро вышел в отставку и поселился в имении жены, сдаваемом в аренду и не вызывающем поэтому никаких забот.

Ни у кого не было такого замысловатого и нарядного выезда, как у А. Н. Ведрова. Шлеи, хомуты звенели бесчисленными бубенчиками, дуга расписная, кучер в зеленых перчатках, с таким количеством павлиньих перьев на своей круглой кучерской шляпе, как ни у кого другого. Пристяжные выгибали шеи совсем как на картинках, изображающих русский выезд.

Ведров был шумен, разговорчив, обидчив, считал, что помещики его не уважают, как армейского служаку, и мало с кем общался. Моих родителей он любил, отца уважал, в частности, за высшее военное образование, но при встречах старался все же подцепить. Начинал с того, что человек он простой, в академиях не учился и просит его поучить уму-разуму, а затем громил «кабинетных вояк». Мой отец хорошо понимал это ощущение неполноценности у своего гостя, его уязвленное самолюбие и всегда ласково и немного виновато улыбался.

Стихией Ведрова и его жены, настоящей степной барыни, была еда. В их нарядном, заново перестроенном доме, с крышей, раскрашенной под шахматную доску, столовая была центром. Угощали там безмерно, а перед отъездом обязательно подавалась какая-нибудь редкость из огромного — такого я не видел в других имениях — фруктового сада.

На примере Ведровых лишний раз можно было убедиться, что, пожалуй, ни один вид землепользования не оставлял у крестьян такого чувства злобной обиды, как аренда. Тут нетрудовой доход выступал в самом неприкрашенном, обнаженном, классическом

виде. Крестьянин ежедневно ощущал величайшую социальную несправедливость: он вне зависимости от урожайности года, от цен, от состояния своего живого инвентаря должен нести в барскую контору очередную арендную плату. Помещик же, сдав землю соседним крестьянам в аренду, превращал свою жизнь в сплошное безделье. Хорошо еще, если он проводил время вне своей деревни. По крайней мере, не мозолил глаза. Если же он жил в своей усадьбе, то ненависть окружающих крестьян была ему обеспечена. Последняя нить — общность многих хозяйственных забот между помещиком и крестьянином— тут рвалась, и, по единодушному представлению крестьян всех слоев, здесь друг перед другом стояли труженик и паразит.

Именно поэтому-то так и не любили Ведровых. Помню, как я всегда поражался, что в огромном ведровском фруктовом саду, тоже сданном в аренду, нельзя было прогуливаться по отдаленным, примыкающим к саду дорожкам без риска получить от ребятишек камень в спину.

Пришли революционные времена 1917 года. В одну темную ненастную ветреную ночь Ведровых разбудила перепуганная прислуга. Усадьба, подожженная в десятках мест, пылала. Дом также был подожжен с разных сторон. Обезумевший Ведров кинулся что-то спасать. Но он был остановлен толпой крестьян, не позволивших выносить имущество. Владельцам оставалось стоять, наскоро одетыми, почти полуголыми, перед пожарищем и смотреть на него... Это ужасное положение обострилось еще тем, что поднялся ропот и против хозяев лично.

В этой поистине критической обстановке Ведровых спас один доброжелатель из села. Он протолкался вперед и начал кричать: «Ведровых выбросить в чем мать родила на станцию, чтобы сейчас же убирались вон!» Послышались крики одобрения. Доброжелатель не терял времени. Его лошадь, запряженная в телегу, уже стояла у сада. Полуживых от страха и нервного потрясения Ведровых погрузили на эту телегу и отвезли на станцию. С пустыми руками, сами еле одетые, укрылись они на этой станции. Полковник Ведров через несколько дней скончался (еще в пути у него был первый удар). Елизавета Николаевна осталась при племянницах, став из дородной, румяной, веселой, говорливой пожилой женщины маленькой старушонкой с испуганным взглядом и неверной походкой.

Можно было бы продолжить рассказ о конце дворянских гнезд. Можно было бы обойти и более дальние имения, куда мне случайно пришлось попасть. Но нет, стоит ли множить иллюстрации все того же самого?..

Вот только одна нужная, очень нужная и важная оговорка. Что это у вас, могут спросить меня, запоздалая гражданская панихида по дворянским гнездам? Вы все еще грустите об истлевших

обоях и сумрачных гостиных? Неужели вы безнадежно проспали почти полстолетия, ничего не забыв и ничему не научившись? И с этим вы приходите теперь к нам — новым людям?!

Нет, тысячу раз нет!

При посещениях родины, доставляющих мне великую радость, я живо, с глубоким удовлетворением ощутил размах и глубину происшедших перемен, увидел людей, сделавших изумительный скачок вперед по сравнению с их отцами — моими сверстниками.

Дворянская усадьба давно, задолго до революции, исчерпала свою роль, в которой когда-то были наряду с океаном темного, страшного и убогого также и творческие стороны. В этой усадьбе не только свирепствовала Салтычиха, морально разлагались Обломовы, вырождались страшные Головлевы, в ней также своим бисерным аккуратным почерком строчил нескончаемые страницы, ставшие значительным памятником прошлого, бытописатель и русский энциклопедист XVIII века Болотов; в ней написаны «Борис Годунов» и «Евгений Онегин»; из нее вышли Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Тургенев, Глинка, Мусоргский и другие славные творцы отечественной культуры. К ней было приковано внимание всего культурного мира, когда в Ясной Поляне творил Толстой, и с ней же порвал он, видя всю неправоту, ненужность, вредность той жизни, что его окружала.

К 1917 году дворянская усадьба стала символом отжившего, одряхлевшего строя, тяготившего Россию, ненавистного ей. Поэтому-то с дворянской усадьбой и было покончено, как и со всем тем, что стояло за ней.

Два многозначительных визита

Зима. Суровая, с бесконечно долгими, ни на один день не уступающими холодами. Чем топить наш чуть-чуть подремонтированный дом? А между тем привычка сильнее самых серьезных препятствий. Как ни теснились мы, понимая, что жить во всем доме нельзя, но каждый все же хотел иметь свой отдельный угол.

Словом, нужно было топить, топить сильно. Из закрытых комнат тянула ледяная струя, и по залу, примыкающему к обитаемой столовой, гулял мороз: окна были там лишь наполовину починены. Топили остатками бревен конного и скотного двора, потом остатками молочной, сухими ветвями и упавшими стволами деревьев сада и соседней с ним рощи.

Пришли дни, когда мы окончательно остались без топлива. Я отправился в волостной совет. Там мне дали ордер не на готовые дрова, а на хворост и рубку сухостоя. Я должен был в лесу сам заготовить себе топливо. Лошади, саней и упряжи у нас не было.

По счастью, я узнал, что несколько хлопинских крестьян также собирались в лес по дрова. Один из них предоставил мне лошадь

и сани, и я отправился вместе с другими на заготовку дров, выслушивая причитания близких. Члены нашей семьи, за исключением матери, были немало изнежены и физически слабы, работа руками, даже более простая, давалась нелегко. Главное же, пугал страшный мороз. Одет я был больше по-городски, что тоже пугало.

Настало морозное утро, когда мы отправились в ближний лес. Там оказалось людно, наехали крестьяне из соседних деревень. Работали быстро, хотя и ежились от холода. Я был растерян, вертел в руках топор и решительно не знал, что делать. На меня со спокойным и бесцеремонным любопытством деревенских людей смотрели окрестные сельчане, что-то потихоньку спрашивая обо мне у хлопинских крестьян.

За нами наблюдал член волостного совета. Увидев мои почти пустые сани, он стал около меня и, не сходя с места, в упор, молча смотрел на мои беспомощные движения. Я же, увидев его, от смущения и обиды окончательно потерял какую-либо способность работать и молча отошел, наконец, в сторону.

В эту критическую для меня минуту широкими неторопливыми шагами ко мне подошел бедный, многосемейный хлопинский крестьянин Евсей. Раньше у нас в усадьбе он был объездчиком лошадей. Его изрытое оспой лицо было непроницаемо сурово; он молча взял из моих рук топор, пилу и, не обращая на меня и окружающих никакого внимания, начал быстро работать. Я кинулся помогать, но он так же холодно и сурово велел мне вслед за крестьянами, уже готовыми к отъезду, выезжать на дорогу с его наполненными санями. Благодаря Евсею мои дровни были так же полны, как и его.

А вот другой эпизод тех дней.

Лето. Жарко. Нашими собственноручными усилиями починен балкон, выходящий в сторону выездных ворот. Пьем на балконе морковный чай без сахара. Зато большой глиняный кувшин полон молока. Моя старшая сестра, только что приехавшая из Петрограда, находит, что у нас лукуллово пиршество, и чувство сытости после еды, по-видимому, доставляет ей удовольствие. Ее бледное лицо розовеет.

Всем нам приятно было сознавать,что исхудавшая сестра сможет теперь подкормиться, останется с нами в деревне, где получит место сельской учительницы, и вернется в Петроград только затем, чтобы вытащить оттуда нашу тетку.

Вдруг слышим колокольчик. Что такое? Он уже давно не слышен на наших дорогах. Исчез вместе с помещичьими и купеческими тройками.

Не только колокольчик, но и тройка! Издалека видно, как быстро пылит она. Сомнения нет: тройка направляется к усадьбе.

Но что это? Наши лица изображают глупое удивление, мало того растерянность. Да ведь к дому подъезжает бывшая наша собственная белая тройка, та самая, на которой еще год назад мы

разъезжали по округе. Из коляски выходит, с трудом опираясь на тяжелую палку, знакомая фигура. Это в прошлом ремесленник-калека, потерявший в юности ногу, теперь комиссар уездной чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем — ЧК. Разительная перемена произошла в самой внешности этого в самом деле, как я понимаю, незаурядного человека. Раньше этот бедно одетый одноногий ремесленник с его немногими копейками, полученными за случайную работу, производил бы жалкое впечатление, если бы не острый огонек в глазах, не едкость случайно оброненных слов, не скрытая сила, чувствовавшаяся в этом, с юных лет искалеченном человеке. Это была сила не столько тела, сколько беспокойного и непокорного духа.

Сейчас наш знакомец, с которым раньше отец не раз беседовал на всевозможные темы, предстал перед нами подтянутым, с расчесанной на две стороны бородой, с аккуратно подстриженными волосами. Одет он в темный френч и галифе. Прежняя деревянная нога заменена протезом. Теперь он — человек сильный и умный — нагоняет трепет на строптивых кулаков и уж, во всяком случае, в его руках практически почти неограниченная власть над нами — бывшими землевладельцами-дворянами.

Такое торжественное появление на ранее нам принадлежавшей тройке не могло не усилить впечатления. Лицо моей матери — очень горячей и иногда несдержанной — покрылось пятнами. Но все разговоры взял на себя отец. Он был человеком большой внутренней и внешней деликатности, не способным сказать кому-либо не то что обидное, но и просто резкое слово. Человеком исключительной мягкости, сопряженной с известной слабостью, всю жизнь придерживавшимся основного, как он считал, правила — быть абсолютно равным в обращении как с выше- так и с нижестоящими. Если иногда он и нарушал это правило, то только в пользу вторых.

Провел отец всю трудную для него встречу с уездным комиссаром ЧК, как мне кажется, хорошо; встреча же по самому своему смыслу была нелегкой. Мирно начавшийся день закончился в тонах, более соответствующих горячим дням крушения старого мира.

Увидев гостя, отец поднялся со стула и спустился по балконной лестнице ему навстречу не медленнее и не быстрее, чем это делал при приеме приезжающих гостей. Комиссар поздоровался с отцом и сразу, неопределенно улыбаясь, сказал, показывая на тройку: «На ваших лошадках». Отец приветливо и спокойно улыбнулся и просто ответил: «Да, я вижу. Приятно, что лошади в таком хорошем виде. Очевидно, они попали в заботливые руки. Так они не выглядели и у нас».

Гость, видимо, остался доволен ответом. Он начал расхваливать лошадей, как будто желая сказать отцу приятное и вместе с тем продолжая внутренне проверять человека, беседующего с ним.

Так, разговаривая, они поднялись на балкон, и отец представил комиссару свое семейство, которое тот не раз видел прежде в иных условиях. Гость всем нам крепко пожимал руки и всматривался в глаза — не знаю, что он искал в них.

Пригласили посетителя сесть. Он беспокойно, но внимательно осматривался по сторонам. Видимо, наш гость все еще не решил, какой взять тон: строгого начальника, приехавшего на ревизию и, может быть, если окажется нужным, готового к санкциям, или просто посетителя, желающего остаться как бы при более нейтральном обращении. Отец немедленно точно перечислил состав семьи, обрисовал наше правовое положение, взаимоотношения с крестьянами, мотивы переезда и т. д. Все это было в форме простого рассказа знакомого знакомому. Комиссар слушал и продолжал посматривать по сторонам. Тогда отец сам предложил ему пройтись по дому и поглядеть на наше житье.

Оно было очень бедным, и комиссар опытным глазом сразу, очевидно, понял, что тут бывшие буржуи в самом деле превратились в пролетариев. Он, однако, заглянул — правда, очень деликатно — во все углы и закоулки. Потом спросил, почему мы не работаем в поле, на что последовало разъяснение, что мы еще не получили надела. Вероятно, он это знал, но ведь и ему нужно было провести свою роль до конца.

Моя мать сказала гостю, что она старая петроградская учительница, имеет большой стаж педагога и сейчас хотела бы получить в одном из ближайших сел место учительницы.

Комиссар ответил, что в данном случае преподавание для нее возможно. Вообще же нежелательно, чтобы бывшие помещики занимались просвещением. Не исключена контрреволюционная пропаганда.

— Во всяком случае, гражданка, вам никак нельзя обучать в школе вашего села или в прилегающих школах. Это было бы немедленно запрещено.

Пришло время ужина. На стол принесли чугун с картофелем. Поставили бутылку с подсолнечным маслом. Не густо, конечно. Это не была притом какая-либо инсценировка. Так ели мы в самом деле, да еще и радовались.

Комиссар был приглашен к столу. Весело улыбнувшись, он вдруг заспешил во двор к коляске и вернулся оттуда с мешком, откуда вынул закуску и выпивку. Отец очень любезно выразил сожаление, что мы не можем разделить выпивки. Вся семья не пьет, но он лично сделает исключение и подкрепится одной рюмкой.

Вскоре выяснилось, почему гость так задерживается. Он начал говорить о настроении крестьян, о сопротивлении кулаков, о том, что те из бывших помещиков, которые пойдут с кулаками, будут немедленно вместе с семьями расстреляны. Тот же, кто не будет покрывать кулаков, тем докажет, что может быть остав-

лен в своей усадьбе, получит полный трудовой надел, живой и мертвый инвентарь.

— Если же,— продолжал комиссар,— в селах или деревнях уезда где-нибудь вспыхнет какая-либо история, о которой уездная чрезвычайная комиссия не будет заранее ничего знать, то первыми будут расстреляны все ближайшие бывшие помещики.

Положение становилось ясным. Комиссар хотел в беседе с отцом и всеми нами проверить настроения крестьян, зажиточной их части, более близкой к помещику. Он не без основания рассчитывал, что враги советской власти среди крестьян скорее всего откроются бывшему помещику.

Отец опять совсем спокойно сказал комиссару, что в селе революция пустила, как он понимает, очень глубокие корни; крестьяне, как бы некоторые из них ни относились к советской власти, в помещиках видят прежде всего своих недавних классовых врагов и в своих беседах помнят об этом. Что же до расстрела, то он знает, что все мы полностью во власти комиссии по борьбе с контрреволюцией, и рассчитывает только на то, что комиссар будет справедливо разбирать правых и виноватых; он даже уверен, что так именно и будет поступать чрезвычайная комиссия.

Комиссар холодно и недоверчиво выслушал ответ и уехал, повторив на прощанье угрозу всех перестрелять, если «что тут будет».

Мы и без того знали, что кулацкие восстания представляют для нас смертельную опасность.

Мы не видели больше «хромого черта», как звали нашего посетителя его кулацкие противники. Мы узнали только, что, когда в отдаленной части уезда вспыхнуло серьезное кулацкое восстание, оно было ликвидировано с исключительной суровостью.

Бежавшие из района восстания, прежде всего молодежь и женщины, отомстили своему противнику — комиссару ЧК. Я говорю сейчас о тех крестьянах, которые были до конца врагами нового строя, кто так и не сумел выбраться из тенет кулацкой психологии. Убили опять же по-своему, с жестокостью, далеко превосходящей ту, с которой обращались с ними.

Над тусклым рязанским пейзажем поднималось зарево настоящей гражданской войны...

Поздняя осень, зачастили дожди. Серой пеленой скрывают они привычные глазу знакомые окрестности. Одиноко нам в эти долгие сиротливые недели. Казалось, бесконечный дождь как бы прячет нас от бушующей революционной стихии. Казалось, мы забыты всем миром!

Однако это не совсем так. Вечерами все чаще и чаще заходят к отцу некоторые сельчане из тех, кто побогаче. Приходят поодиночке, внешне всегда с конкретной целью. Большей частью это

какое-нибудь подношение по съестной части. Осень в деревне — время изобилия плодов земных.

Так вот крестьяне несли нам подарки. За этой внешней, хотя не очень разглашаемой частью встречи следовала другая. То была часть политическая. Для всех нас, особенно для отца, часто очень мучительная.

— Что же, Иван Федорович, слыхали?

— Что такое? Не знаю ничего особенного,— слышится стереотипный ответ отца.

— Как так не знаете? Вам должно все это быть известно. Толчак близко.

Толчаком называли крестьяне адмирала Колчака, об успехах которого в нашей губернии было много слухов. Отец повторяет, что ничего примечательного не слышал.

Начинался понемногу разговор по существу. Посетители прежде всего выражали уверенность, что «Толчак» вернет помещикам имущество, а людей, грабивших имения, накажет. Сами они принадлежали к этой категории, но выражали готовность «ответствовать», лишь бы этим путем избавиться от «коммуны». Идеология и психология крестьянской зажиточной верхушки тогда вполне определились. Отец неизменно отвечал, что не думает, чтобы Колчак решился возвращать помещикам всю землю, с этим покончено.

Но разговоры бывали и более острые. Крестьяне-кулаки, особенно выпивши, начинали яростно бранить власть, рассказывая о восстаниях в разных местах. При этом страшно врали и, наконец, переходили на главную тему: о необходимости активной борьбы. Трудно в данном случае приходилось бывшим помещикам. Ведь помещик был для кулаков только временным попутчиком; мавр должен был помочь справиться с новым врагом, но вместе с ним уйти в небытие.

Помню, как мой отец часто вслух со мной об этом беседовал, чтобы для самого себя уяснить еще раз свое положение и свою позицию. В результате он пришел к твердому решению не только самому не втягиваться в борьбу, но и других, более молодых и по натуре более боевых людей помещичьего класса отговаривать от активности. Он говорил: «Нам в этой борьбе нет места. В русской Вандее мы лишние».

Таковы были настроения в нашем доме, когда однажды очень поздно вечером к нам явился высокий молодой человек, иззябший и промокший под октябрьским дождем. Прошел он прямо через пустой парк, по заглохшим дорожкам. Он постучал, был впущен и, узнав что мы совершенно одни, отрекомендовался. Это был сельский учитель, сын крупного кулака из недалекого от нас богатого торгового села. Отец его мог дать ему полное образование и вывести в «люди». Однако сын не захотел долго учиться, не захотел порывать бытовую связь с селом, из которого

вышел, и, окончив шесть классов уездного реального училища, засел в родном селе сельским учителем.

Кажется, ранее он был связан с социалистами-революционерами. Во всяком случае, он был политически грамотным и активным человеком, сознательно преследующим политические цели.

Вот этот-то местный политик, участвовавший ранее в предвыборной кампании в Учредительное собрание, стоял теперь и озирался в нашей тепло натопленной столовой, с убого накрытым грубым сельским столом и рядом непарных стульев. Видимо, он не ожидал встретить такую степень бедности и разорения.

Учитель решительно отказался от всякого угощенья, но законы деревни обязательно требовали сначала закуски, а потом уже разговоров.

Волнуясь, горячо и настойчиво развивал он нам свою аргументацию. Многих крестьян, говорил он, можно легко поднять на восстание. Политика комитетов бедноты, продразверстки, политика внедрения сельскохозяйственных коммун, все усиливающееся преследование кулаков — все это создает исключительно благоприятную обстановку для организованной борьбы. Нужно не пропустить момент.

Антисоветская часть деревни, доказывал нам наш гость, ищет руководства для планомерной борьбы. Если интеллигенты не окажут сейчас помощи, они не исполнят своего долга перед родиной. Если, в частности, еще живущие в деревне помещики, особенно молодые и военные, не станут на этот путь, они пропустят единственный момент опять завоевать себе, если не свои имения — наш собеседник был противником восстановления крупного землевладения, — то во всяком случае политическое влияние и равноправное положение в своих усадьбах и в той части имений, которая им будет оставлена новой властью. Нужно, продолжал он, сочетать крестьянские восстания с борьбой белых армий. Сейчас эти армии наступают, необходимо использовать обстановку и помочь Колчаку, а также Деникину и другим восстаниями в красном тылу.

Словом, молодой гость развернул перед нами целую политическую программу борьбы. Он также хотел от нас немедленного ответа.

Положение создалось щекотливое, так как мы совершенно сознательно не хотели выступать в такой форме против власти, считая, прежде всего, это участие в местной борьбе совершенно бесполезным. Я всецело разделял отношение своего отца к кулацким восстаниям, но понимал трудность его положения: он не хотел быть заподозренным учителем просто в трусости.

Дело было не в боязни опасности.

Мой отец и по возрасту, и по здоровью, и по всему своему складу не годился для острой политической работы вообще, а для руководства восстанием тем более. Как все люди не столько

действия, сколько размышления, не столько сильных чувств, сколько тонких оттенков этих чувств, он был человеком рефлекса и самоанализа и хорошо знал самого себя. С этого он и начал свой ответ.

— Посмотрите на меня ближе,— сказал он очень просто учителю,— разве гожусь я для восстаний, для командования, для той кровавой борьбы, на которую вы зовете? В молодости, по окончании военной академии, я оставил военную службу, так как не годился к ней, или она не годилась мне. Органически я не мог быть офицером, хотя все было за это! Как же я буду повстанцем?

Как сейчас помню грустную улыбку отца, всю его немного рыхлую, внезапно за революцию состарившуюся фигуру.

Потом отец перешел к общей политической обстановке. Над всеми его доводами преобладала тогда глубокая разочарованность и потерянность человека, уязвленного в самых глубоких своих верованиях, надеждах и чаяниях. Он был до кончиков ногтей человеком старого, уходящего мира, но с сильным либерально-радикальным оттенком. Такие люди в самой своей основе были революцией внутреннее сражены гораздо больше, чем «стопроцентные» консерваторы и реакционеры.

Вероятно, нашему гостю было нелегко проникнуть в эту сложную, весьма противоречивую, во многом чуждую ему психологию. Он, однако, почувствовал искренность волнения отца. Правдивость его молчаливой, обычно только для себя сохраняемой горечи.

За меня говорил тоже отец. Здесь он был категоричен. Он защищал тут безопасность, жизнь самого дорогого ему существа, своего единственного сына.

— Мой сын,— сказал отец,— разделяет мою точку зрения. Он не будет повстанцем. Если судьба пожелает того, он должен бороться за Россию иначе.

Увидев оттенок разочарования и нетерпения в глазах учителя, он добавил:

— Он, если сочтет нужным, пойдет туда, куда его пошлет совесть, но в крестьянских восстаниях я не хотел бы его видеть.

Я хорошо видел, с какой натугой произнес он эти слова, и часто потом, попав в белую армию, вспоминал этот глубоко нас всех взволновавший разговор.

Учитель понял, что миссия его окончена. Он сам прервал беседу и попрощался сдержанно, но все же дружески. Не знаю, что с ним стало. Больше мы его не видели.

Посещение же это осталось в памяти; тогда в наши, хотя и совсем необычные, но вместе с тем серые дни ворвалась струя иного воздуха, струя жестокой, не на жизнь, а на смерть, борьбы.

Карповы и Терентьевы

Довольно часто в наших дверях появлялась грузная, высокая фигура в поддевке. Это был богатый купец и заводчик из села Кунатино — Ергушов.

Старый, но сильный, как богатырь, он был мне памятен еще с детства тем, что ударом пальца, отогнутого от ладони, разбивал кусок самого крепкого иссиня-белого сахара, отколотого от сахарной головы.

За последний год Ергушов потерял и силу и апломб местного миллионщика. У него все отобрали, изгнали из его богатого дома, и он вернулся в деревню, откуда вышел. Жил он в ней на крестьянском положении с женой, красивой жеманной купчихой. Дети, учившиеся в Москве, все куда-то поисчезали. Про одного сына Ергушов знал, что он у белых. Он это тщательно скрывал от властей, но с нами очень любил об этом говорить, гордясь, что сын у него «герой».

Революцию он ненавидел тяжелой и абсолютной ненавистью.

В мирное время он принадлежал к самому консервативному купечеству, принимал участие во всяких верноподданнических выступлениях, хотя никакой активной политикой, разумеется, не занимался, весь погруженный в дела, в которых был великий дока. У него, как говорили, было особое торговое чутье, особенно по части помещиков, запутавшихся в долгах и ищущих скорой продажи леска или целого имения.

Сам создавший и умноживший свое состояние, сам из деревенской избы пришедший в богатые хоромы, он ненавидел большевиков вдвойне: как разорителей его благосостояния и как носителей не совсем ему ясной, но глубоко ненавистной уравнительной доктрины.

Социалистическая революция не только пустила его по миру, но и посягала на основы всего его жизненного пути, которым он так гордился. Если бы большевики просто, как он говорил, «ограбили» без всякой идеологии, он с этим помирился бы легче. Но он не мог смириться, что под «грабеж» подводится какой-то очень серьезный идейный фундамент. В этом Ергушев видел всего только обман. Сидя у нас в своей грязной, затасканной поддевке из самого тонкого сукна, он все «разоблачал» большевизм, восхвалял старые времена и их представителей.

В них он видел один только грех: не уберегли. Не уберегли Россию и своего в ней положения. Виновниками в случившемся он считал главным образом дворян, и в частности помещиков. Своей слабостью они повинны в том, что власть перешла к «голодранцам».

— Эх, Иван Федорович,— говорил он отцу,— кабы такие, как я, в Петрограде правили, задавили бы мы их, как слепых котят.

Лицо его при этом дышало такой холодной ненавистью и сильной когда-то, но уже надломленной волей, что в неприятном положении «котят» в этих могучих руках не могло быть сомнения.

«Себя погубили и нас с собой»,— добавлял он, укоризненно глядя на моего отца, который, по-видимому, в силу каких-то черт, если не своей биографии, то своего характера, причислялся к виновным. По представлению Ергушова, он был в числе тех, кто «не уберег».

Беседа с Ергушовым не доставляла отцу особого удовлетворения: оба они были, каждый по-своему, противниками большевизма, но источник, характер, а также самая степень их непримиримости были очень различны.

С крестьянами Ергушов подчеркнуто не хотел общаться. Своим презрением он, так сказать, наказывал их «глупость». Крестьяне ненавидели Ергушова: для них он был свой брат, выскочка, раньше «сосавший кровь», а теперь воющий о своем добре.

А вслед за Ергушовым частенько, особенно в зимние месяцы, приходили к нам в гости и местные зажиточные крестьяне. Скажу сразу вперед: тогда я видел ближе кулацкую часть крестьянства, его меньшинство. Крестьян, активно ставших на путь новой жизни, пришлось нам узнать многим меньше; они не искали встреч с такими, как мы.

Мне же лично выпало на долю много разговоров с крестьянами; они велись изо дня в день и были связаны с разными практическими сторонами нашей деревенской жизни. При этом беседа почти всегда переходила в конце концов на политику. Она тогда перестала быть достоянием немногих, или избранных, она властно стучалась во все двери.

Вспоминаю одно морозное, но приятное, тихое солнечное утро. Дело было на исходе зимы, что-то в конце февраля. День праздничный, воскресный. С утра отправляюсь по делам в Хлопино.

Там меня затащил на тяжелые, жирные, но необыкновенно вкусные пшенные блины один немалого достатка, если не просто богатый, а таких было очень немного, знакомый крестьянин В. В. Карпов. После взаимных приветствий и всяких добрых слов в центре беседы оказались опять же политические события последних лет.

У хозяина большой, красивый лоб, на который спускаются кудри седеющих волос. Он высок и строен, у него большие, ясные обманчиво-мечтательные глаза. Он ведет жизнь кулака, сильно зажимист и даже скуп, но материальные ценности все же не полностью владеют им. Надо сказать, что он часто бывал навеселе и таким же встретил меня и в этот раз. Очень скоро он разразился целой филиппикой против существующего порядка вещей. Вся большевистская революция произошла, твердил он, без надобности. Лучше она, во всяком случае, не сделает. Какая от Октября

польза? Единственное достижение, говорил он, это то, что землероб получил землю. Однако, хотя это и успех, но теперь уже видно, что «хозяйственный» крестьянин от этой земли все равно ничего иметь не будет. Землю «по коммунам растащут».

Также отрицательно судил Карпов и о «феврале».

— А Февральская революция, зачем она была нам? Земля все равно продавалась помещиками и переходила к нам, к тому же законным путем. Да и землю-то крестьянам решилась дать даром не Февральская, а только Октябрьская революция. Дала, да как бы назад не взяла!

Не одобрял мой собеседник и помещиков, цеплявшихся за землю.

— Нечего господам в поле делать. Люди они ученые, пускай в городах по министерствам служили бы...

Нет, не такие, как Карпов, определяли собой лицо деревни. Они только делали свое дело: вступили тогда в жестокую борьбу с новым строем. Картины этой борьбы, где бы она ни происходила, на юге или севере, на востоке или западе, всюду были почти одинаковы. Они с изумительной силой переданы на страницах «Тихого Дона» и «Поднятой целины», удивительно ярких, поучительных и правдивых произведениях русской литературы XX века.

В памяти встает еще один деревенский собеседник, тоже по-своему колоритная фигура. Я никогда ранее не видел вблизи крестьянских свадеб, и вот однажды привелось.

Интересен был разговор, который вел со мной отец невесты, взятой из далекой деревни. Человек он был не старый, очень степенный, среднего достатка, красивый и совершенно непьющий. Я тоже, несмотря на уговоры хозяев, ничего не пил. Может быть, этот внешний повод нас сблизил.

Когда в избе было уже много, очень много выпито, хозяин вдруг наклонился ко мне и за спиной соседа спросил доверительно и просто: «Что же, будем в будущем году живы?» Я опешил, но все же нашелся ответить вопросом же: «Вы или я?»

Он возразил упорно: «Оба!» Не зная, куда клонится беседа, я молчал. Крестьянин как бы лениво потянулся и продолжал спокойно: сколько лет он живет, а вот раньше никогда не думал, как теперь. «Почему?» — спросил я.— «Потому,— ответил он,— что все прежнее рушится».

— Да,— продолжал мой собеседник холодно и авторитетно,— коли с высокой горы камень бросить, обязательно на самое дно полетит. За что ему зацепиться?

Сказал с такой силой, что до сих пор слышу эти слова, вижу выражение его лица и яркие глаза, смотревшие на меня в упор.

Одного я не понял — радуется ли он этому «дну» или ужасается. Говорила ли в нем просто тревога по поводу крушения привычного ему мира или столь близкая людям известного типа радость, что все летит куда-то к чертовой матери, или, наконец, он чувствовал за этим «дном» начало новой, лучшей жизни...

А теперь еще раз о тех крестьянах 1919 года, которые шли не против власти, а с властью.

Было их много, но лично я знал немногих из них. Однако в две такие семьи нашей деревни заходил не один раз. В них жили два брата Терентьевы. На селе их считали коммунистами. Один из них, во всяком случае, состоял в партии. Старшего брата звали Иван. Он был беден и незадачлив в жизни. Его маленькие, беспокойные глазки всегда с подозрением смотрели на окружающий мир, как будто ждали новых неприятностей и бед. В них не было, однако, ни запуганности, ни забитости. Скорее был вызов.

Иван Терентьев в девятнадцатом году был председателем комитета бедноты, и с ним я имел дело не один раз. Помню один разговор, когда он уделил мне больше времени, чем обычно.

— Вот вы ходите теперь ко мне,— сказал он, холодно улыбаясь,— и мы вам даем, что причитается, но только не думайте, что старое назад вернется.

Я ответил, что мы не думаем о возвращении старого. Терентьев же блеснул глазами и продолжал:

— Ведь вы долгий срок владели землей не по праву. Земля не принадлежит и не может принадлежать одному человеку или семейству. Она — достояние всего народа.

Помещикам же и кулакам, по его убеждению, давать ничего не надо: они слишком много имели раньше. Вообще эти люди должны уйти из деревни.

Терентьев тут же смягчил это заявление замечанием, что он вовсе не против нас лично, а вообще против всех помещиков и капиталистов, а также сельских богатеев.

Он был крестьянином прежде всего, в соответствии с этим и рассуждал:

— Наш главный интерес — земля! Для того же, чтобы обеспечить правильное распределение земли,— продолжал Терентьев,— надо сосредоточить на местах всю власть в комитетах бедноты. Там знают врагов коллективизма и сумеют с ними справиться.

Так рассуждал обитатель одной из изб, которых боялась зажиточная часть нашей деревни. Время было горячее, и неудивительно, что как-то раз Терентьев, желчно и зло рассмеявшись, сказал мне: «А на какой березе прикажете меня повесить?»

Белые в то время имели успехи. Я тоже засмеялся и спросил, почему он задает такой вопрос. Сказал, что совсем не жду перемен и что он — председатель комитета бедноты — нам никогда не вредил и на березах нас не вешал, хотя, может быть, и мог бы.

Иным был младший брат нашего председателя комитета бедноты, обитатель второй избы, которого тоже опасались Анилины и их друзья. Константин Терентьев долгое время был солдатом. С войны он привез большую дозу озлобления и, кроме того, отвык от крестьянской жизни и работы. Октябрьскую революцию он воспринял, прежде всего, как путь к сведению счетов с оскор-

бившим его и ненавидимым им офицерским миром. В революции, в противоположность старшему брату, его прежде всего привлекало не отнятое у обеспеченных классов имущество, не отнятая у помещиков земля — от земли он отвык, его привлекала власть. Власть в руках таких, как он. Константин Терентьев по опыту знал, что в жизни за все ценности нужно бороться, и был готов к этой борьбе.

Приходя в волостной совет, я видел, с каким удовольствием смотрит он на бывших буржуев, дожидающихся своей очереди для разговора с ним.

Он искал выхода своей горячей, страстной натуре, и на этом, как он сам как-то сказал в кругу людей, среди которых был и я, он сошелся с большевиками. Партия была ему необходима, она вывела его в люди. Не знаю, сумел ли Константин Терентьев потом в самом деле стать сознательным коммунистом. Может быть, и да.

...Что нового внесли уже тогда великие события в крестьянский быт?

С вековой тишиной русской деревни решительно покончено. Происходила коренная ломка, великая переоценка ценностей, всего и во всем.

Зажиточные, «справные» хозяева нервничают. Они режут не только скот, но и кур, так как ждут не то их конфискации, не то регистрации. Гражданская война, бушующая на окраинах и юге России, дает себя знать и у нас. Рязанские крестьяне ждут грозных событий и готовятся к возможности личного в них участия: зажиточное меньшинство — на одной, основная масса — на другой стороне.

Все это вместе создает неповторимую картину сдвинутости с места всего деревенского быта.

Крестьянская психология того времени — богатых крестьян и немалой части середняков, по крайней мере так представлялось нам тогда из нашего хлопинского уголка,— колеблется и мечется между радостью, что помещичьи земли перешли к крестьянину, надеждой на какой-то неопределенный неформулируемый, «свой», крестьянский порядок вещей и опасением, что эти достижения пойдут прахом. Опасением, что то новое, что начинает строиться, это не совсем понятное новое окажется не «своим», не коренным крестьянским.

Зажиточный крестьянин этих месяцев часто озлоблен, дезориентирован, нетерпелив. Он легко переходит от надежды к отчаянию, он хочет всего и не знает, как удержать то, что имеет; мало ого, он часто не знает, чего же ему хочется!

Конечно, по-иному было с теми, кто уже сознательно стоял на стороне Октябрьской революции, на стороне советской власти. В деревне с огромной силой закипала новая жизнь. Как грибы, вырастали клубы, кружки по ликвидации неграмотности, бурно

развивалась самодеятельность. С каждым месяцем ширилась проводившаяся в деревне культурная и политическая работа.

Мы, хотя и жили на обломках старого мира, это тогда видели. Моя мать даже принимала в клубной работе участие. Но в целом мы все же оставались в стороне от этого процесса, так сказать, по ту сторону баррикады.

В этой сложной обстановке быстро умирал вековой быт. Помещик ниспровергнут, кулак следует за ним, царь расстрелян, собственность, даже частично своя, крестьянская, колеблется. Деньги текут рекой, но на них трудно что-либо купить. Молодежь выходит из повиновения: революционный город и новые люди несут ей новые заповеди. Она их толком еще не знает, но в них властно звучат влекущие ее лозунги.

Не берусь далее рисовать картину смятенного быта маленькой, серой деревушки, доверху занесенной снегом, где сугробы лежат выше крыш и к выходным дверям прорыты целые туннели.

В этой деревушке, как и в десятках, сотнях, тысячах и десятках тысяч таких же или подобных, кипят великие социальные страсти, до основания потрясшие огромную страну и могучим призывным набатом отозвавшиеся во всем мире...

Посещение коммуны

Мы добивались получить надел земли. «Крестьянствовать» у нас уменья не было. Стало, однако, очевидным, что только таким путем можно как-то закрепиться в деревне с надеждой выйти из нищенского положения. Весной обстановка для нас сложилась благоприятно: казалось, землю мы получим, но нужен был инвентарь. Мы обратились к властям и после долгих хлопот получили ордер на одну лошадь. Было сначала неясно, от кого могли бы мы получить эту лошадь. В ордере значилось только, что нам предоставляется право на получение одной лошади из бывших «экономических», иначе — из бывших помещичьих. Оказалось при этом, что получить ее мы можем только в сельскохозяйственной коммуне «Красный пахарь», от нас верст за двадцать.

Отправился я в коммуну этапами. Сначала к Редингам, а потом от них верхом на нанятом в селе мерине в «Красный пахарь». Была ранняя весна. Дороги просохли, но в лощинах, в тени — еще талый снег и грязь. Солнышко пригревало, над перелесками звенели уже птичьи голоса, а на душе у меня кошки скребли. Не так легко было юному отпрыску помещичьей усадьбы появиться в сельскохозяйственной коммуне, куда шли, как тогда мне представлялось, отборные, чуждые нам люди.

Разумеется, я не рассчитывал на хороший прием, лишь бы не было очень плохого. В селе Кунатино, вблизи которого находился

«Красный пахарь», я встретил знакомого лавочника А. Н. Никонорова. Узнав, что я еду в коммуну, этот тучный, пожилой весельчак стал рассказывать о ней разные истории.

Лавочник был известен среди оскудевших помещиков тем, что он охотно отпускал товар в кредит. Правда, в дни продажи урожая он никогда не забывал того или иного «барина», чтобы не упустить единственного в году дня, когда можно получить «должок».

Никоноров клялся и божился, что даже баб в коммуне хотели «коммунизировать», чтобы все спали, кто, как и с кем хочет, что было несколько громких историй, и из Кунатина приезжала комиссия для ревизии всех дел. Лавочник, сам сколотивший свой немалый достаток и вышедший из большой бедности,принадлежал к заядлым врагам коммунистов; я понимал, что в словах его много выдумки и лжи, но сам я в коммуне правды тогда и не искал. С этим настроением двинулся в дальнейший путь.

Коммуна расположилась в бывшем имении купца Шепетова. Хозяин в усадьбе никогда не жил. Землю отдавал большей частью в аренду. В Кунатине я узнал также, что коммуна, с которой мне предстоит познакомиться, по счету первая в округе и что за нею последуют другие. В 25 верстах от Кунатина уже образовалась вторая большая коммуна.

Набравшись этих сведений, я подтянул подпруги седла на моем унылом мерине и потащился дальше.

Вот, наконец, и «Красный пахарь».Я увидел в лесу, почти на самой опушке, усадьбу; очень старые фундаментальные строения соседствовали с совсем новыми.

Над подъездом дома — надпись: «Коммуна Красный пахарь № 1». Слез с коня и с тяжелым сердцем спросил снующих кругом крестьян, где председатель. Оказалось, что он уехал по делам и вернется вечером. Меня же направили к секретарю коммуны, в комнату около входа.

Секретарь, совсем молодой парень из рабочих, принял меня снисходительно, но, прочитав ордер, отказался выдать лошадь без председателя. Предложил его дожидаться. Это означало, что я должен ночевать. Ничего не поделаешь! В большой общей комнате мне отвели место для спанья — нары, на которых лежал сенник.

Я вышел из дома, чтобы посмотреть на жизнь коммуны. Увидев меня на крыльце, секретарь подошел и предложил посмотреть хозяйство с ним вместе. «Только потом про нас правду говорите», — заметил он многозначительно.

Конечно, я совершенно искренне заверил любезного хозяина, что не предполагаю распространять ложь про коммуну № 1, и мы отправились пройтись по усадьбе.

Хотя я и прожил все детство в деревне, но не мог считать себя сколько-либо знающим сельское хозяйство. От поля помещичьи

дети стояли все же очень далеко. И все-таки до известной степени я был деревенским жителем и сразу понял, что мой собеседник в вопросах земледелия не намного меня сильнее.

Секретарь прежде всего повел меня «взглянуть на скотину». Уже в голосе его я почувствовал что-то особое. Он хотел меня удивить.

Так оно и оказалось. Мы пришли сначала к коровам. В них я понимал толк. Я увидел около сотни прекрасных, большей частью симментальских коров. Они стояли на цепях, честь-честью. На другой день их как раз должны были перевести на летний режим. Коровы были отборные, особенно один ряд. Я залюбовался ими и узнал, что все они с «княгининого двора». Сразу вспомнились громадный коровник с большим двором посередине и старая барыня, княгиня Щетинина, владелица большого имения, которую я хорошо знал по частым туда поездкам с матерью.

Во время революции 1905 года Щетинина спаслась от крестьянского гнева с помощью охраны из черкесов. Сама княгиня ездила с револьвером в сумочке. Однажды я был послан в переднюю, чтобы что-то достать из муфты ее хозяйки и выронил оттуда маленький браунинг, что меня тогда немало поразило.

Я завел разговор о разных породах коров и сказал, что у нас были коровы швицкой породы. Секретарь повел меня далее, и я увидел коров-швиц, как оказалось по преимуществу из имения наших знакомых Гарднеров.

Конный двор представлял собой пеструю картину: отобрать для коммуны лучших лошадей округи оказалось, видимо, труднее. Поэтому породистые лошади, в том числе несколько рысаков, принадлежавших ранее купцам соседнего торгового села, были в меньшинстве. Некоторые коровы и лошади отощали, казались явно недокормленными. Особенно бросалось это в глаза у громадных вороных рысаков Ергушова.

Живой инвентарь коммуны объяснял многое. Здесь было сосредоточено большое богатство. Руководители «Красного пахаря» очень энергично собирали все, что могло быть для него ценным. Сельскохозяйственная коммуна тех времен была подлинным бельмом на кулацком глазу. Избыток же в «Красном пахаре» живого инвентаря и объяснял то обстоятельство, что именно туда меня отправил волостной совет за лошадью.

На меня коммунары особого внимания не обращали: к ним часто приезжали для ознакомления с новым начинанием разные городские люди, в том числе и безусые мальчишки вроде меня.

Только когда я получал в очереди талон на ужин, выяснилось, кто я такой и зачем, собственно, приехал. Интерес ко мне повысился. Однако никто меня не обижал, если не считать нескольких единичных иронических полувопросов о том, как мне нравится ужин и мягка ли будет постель или куда же мы девали собственных лошадей.

Приехал председатель коммуны, бывший фронтовик, дослужившийся до старшего фейерверкера. Он был из совсем бедных крестьян. С начала революции коммунист. Все это мне рассказали еще до его появления.

Председатель этот оказался человеком, уже шагнувшим далеко вперед от тех дней, когда он бегал подпаском в своей деревне. Пиджак городской и аккуратно подстриженные волосы, короткая деловая речь, взгляд решительный и быстрый. Принял он меня официально, сказал, что только утром решит, может ли исполнить предписание совета — дать мне лошадь. Приказал выдать мне одеяло и подушку. Тогда я еще не знал военной службы, и ночевка среди чужих, в совсем чуждой мне среде, уже сама по себе казалась чем-то особенно неприятным.

На мою удачу вышло так, что комната осталась почти пустой: большинство коммунаров или ушло ночевать в соседнюю деревню к семьям, или разошлось по маленьким комнаткам семейных.

Никаких серьезных разговоров в тот вечер я не слышал. Когда стемнело и я, после жирных щей с кашей и куском говядины, очень сытый и не очень счастливый залез, наконец, под выданное мне одеяло, под окном послышалась залихватская песня — это «гуляли» коммунары, вернувшиеся из какой-то служебной поездки.

Утром председатель сказал, что лошадей свободных в сущности нет: те, что имеются, выпущены в лес, загнать их в конюшню сейчас некому и некогда. Я же могу выбрать себе, если хочу, из числа тех, что пасутся во дворе и на огороженной поляне.

Во дворе я увидел несколько кляч, еле передвигавших ноги. Горькая обида ударила в голову. Я постарался спокойно объяснить, что эти лошади мне не нужны, на них нельзя работать. Председатель посмотрел на меня долгим взглядом и ответил, что «экономических» жеребцов дать не может. Молча мы прошли на поляну. Тут бегали необъезженные двухлетки и жеребята.

Недолго думая, я выбрал высокую серую кобылу-двухлетку. С трудом, под сдержанные иронические замечания окружающих работников, надел на нее взятый у Редингов недоуздок и отправился пешком, ведя на поводу двух лошадей. Я боялся в присутствии коммунаров сесть на своего мерина, знал, что кобылка начнет тогда вырываться, и я неизбежно окажусь в смешном положении.

Больше мне не пришлось побывать в «Красном пахаре».

Что же до моего дальнейшего странствования, то я, как только скрылся за деревьями от взоров коммунаров, остановился, не спеша взобрался на своего мерина и постарался вести в поводу вновь приобретенную кобылу. Как я и предвидел, она не желала следовать за мной; пришлось опять слезть и потом всю долгую дорогу вести обеих лошадей в поводу.

Было немало смеха, когда я, умирающий от голода и усталости, появился, наконец, у Редингов. Люди практичные, они нашли, что миссию свою я выполнил очень плохо.

Полноценной лошади у нас и дальше не было. На серой кобыле можно было разве только боронить, да и то предварительно ее обучив. Дома приняли мою неудачу спокойно; все старались доказать, что лошадь хороша, что с осени на ней можно будет работать. Мы ее поставили в амбар, единственное строение, кроме дома, бывшее частично в нашем распоряжении. Кормить лошадку, которую мы назвали «Нечаянная», было нечем, пользы от нее никакой. Через месяц нам удалось, наконец, пристроить «Нечаянную» к одному крестьянину. Так закончилась наша попытка обзавестись живым инвентарем.

Попытка эта все равно не привела бы ни к какому положительному результату.

Приближалось время быстрого наступления на Центральную Россию белых армий генерала Деникина, и, как ответная предупредительная мера, начались аресты в нашей губернии в качестве заложников бывших помещиков. Среди них были арестованы и мои родители. В это время я уже был на юге, в стане белых. Дальнейшее их наступление могло бы иметь своим последствием гибель всех моих близких. Остановка и отступление белой армии были для них спасением. При нашем отходе они были освобождены. Этой трагической дилеммы я, находясь уже далеко от рязанских просторов, конечно, не знал.

Странные, причудливые и противоречивые узоры чертит нередко жизнь. «Тут,— как пишет поэт Твардовский,— ни убавить, ни прибавить,— так это было на земле...»

...А теперь пора мне оборвать эту главу воспоминаний. Нужно заставить себя расстаться с далеким прошлым русских полей. Для автора год, прожитый после революции в усадьбе его родителей, незабываем и глубоко поучителен.

Скажу только несколько слов о себе, о том, как я расстался с нашим невеселым уголком. Помню туго набитую сеном телегу, ясный солнечный день конца апреля 1919 года. Отец, мать, сестры тревожно и нежно прощались со мной, так нежно ими любимым. Мать крестила торопливыми, напутственными крестами, что-то говорила, плакала; отец молча и сдержанно, с бесконечной любовью в голубых глазах долго перед последним поцелуем всматривался в меня.

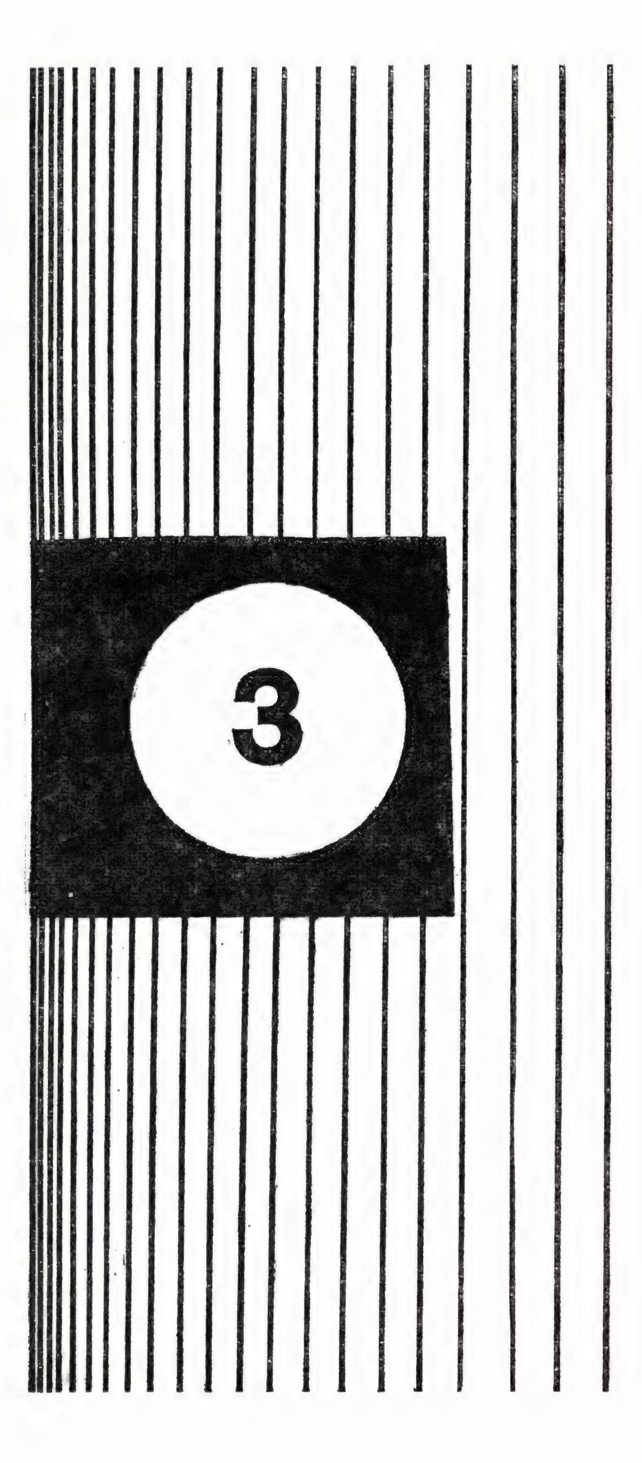
И я любил их крепко, но мне было душно в нашем старом доме. В двадцать лет трудно сидеть без дела и заниматься одним только наблюдением за окружающим. Я не знал тогда точно, что буду делать. У меня не было никакого конкретного плана, и я метался, ища свое место в происходящем. Мне был чужд революционный подъем, охвативший тогда также немалую часть интеллигентской молодежи. Все больше и больше я чувствовал себя чужим в Москве 1919 года.

Там же, где когда-то жила наша семья, где люди волновались, думали, искали, работали так, как могли и как это им казалось правильным, уже многие годы растет рожь. Одной нивой стало больше на необъятных просторах моей родины.

Я знаю, что так же спешат куда-то мелкие, торопливые воды нашей узенькой речушки Инокши; что бесконечно много утекло здесь воды с тех пор, как я глядел на нее в последний раз. Как и встарь, наши поля одеты на долгие зимние месяцы в белый саван; каждую весну, как и тогда, приходят, как будто всегда неожиданные, могучие разливы наших рек и ручьев, как и прежде «подобные морям».

Но мне известно также, что великая революция создала в нашей рязанской деревушке, как и в тысячах, десятках и десятках тысяч других таких же уголков, иную, глубоко новую, лучшую жизнь. Создала советских людей, в том числе крестьян колхозной деревни. Я уверен, что бродящие по улицам нашего сельца старики с горестным недоумением вспоминают еще иногда старое, недоброе для них время и скорее переводят свои мысли на ту молодежь, которая их окружает, не уставая дивиться тому, как далеко вперед ушли дети и внуки от своих отцов и дедов.

Этой новой жизни русской деревни я шлю свой привет и поклон.


3

В СТАНЕ БЕЛЫХ

Из края в край, из града в град
Могучий вихрь людей метет...

Ф. И. ТЮТЧЕВ

После того, что мной уже рассказано, участие мое в белой армии не может явиться неожиданностью.

Я не хотел бы, однако, изображать себя более последовательным, чем был на самом деле. Вот почему сразу скажу, что если я направился летом девятнадцатого года в Киев, где и оказался за несколько дней до вступления в него деникинской армии, то сделал это не только потому, что стремился к ней, но также и по другой причине: в Киеве жили тогда очень близкие мне люди. Жила семья, в которой я бывал в Петрограде чуть ли не ежедневно; одна из девушек этой семьи стала потом за границей моей женой.

Профессор В. Э. Брунст перебрался в революционные месяцы 1917 года из Петрограда в Киев и стал видным деятелем правительства гетмана Скоропадского, так блистательно и наглядно оправдавшего свою фамилию. Ко времени моего приезда в Киев профессор, как и другие сотрудники гетмана, был уже за границей, живя на эмигрантском положении в Софии. Семья же его оставалась в Киеве, и семья эта была далеко не простая. Глава ее принадлежал к либеральному лагерю и разделял кадетские политические установки, а его жена, вышедшая, как и он, из богатой дворянской семьи Харьковской губернии, с юных лет примкнула к социал-демократам, устраивала забастовки на собственном заводе и в собственном имении, преследовалась царской полицией

и уже замужем, живя в Петрограде, постоянно подвергалась обыскам. Понятно, что Февральскую революцию она восприняла иначе, чем ее муж. Она еще оставалась социал-демократкой, правда, быстро правевшей и навсегда отходившей от левого фланга. Дети же ее, в том числе и моя невеста, шли не в ногу, каждый своим путем. То же было и с другими членами этого беспокойного рода.

Когда я позвонил у дверей большой киевской квартиры и, войдя в нее, сразу же встретился с хозяйкой дома, она, узнав мои настроения, строго мне сказала:

— Только вы, Митя, не говорите этого Васе (старший сын) — он сейчас дома. Вася у нас комиссар большевистского полка, в его душе нет сомнений в правоте Октябрьской революции, и если вы скажете о своих симпатиях к белым, он может вас передать в ЧК.

Нелегко было тогда Екатерине Васильевне это говорить, нелегко было и мне слушать. С Васей я учился в одной гимназии, он был на несколько лет старше меня. Став офицером, хорошо узнав и пережив быстрый распад старой армии, он вскоре после Октябрьской революции горячо отдался большевизму. По свойствам своей страстной натуры Вася никогда не позволял себе сомневаться в том, во что верил. Не успела его мать ввести меня в курс семейной обстановки, как вошел сам Вася — комиссар и, увидев меня, сразу же спросил: «Что ты тут делаешь?» Я ему сказал, что хочу пожить в Киеве и подождать здесь событий. Он круто повернулся, бросив мне одну запомнившуюся фразу: «Не смей никогда говорить мне об этом. Я не хочу и не могу тебя здесь видеть».

Комиссару полка, ведшего боевые операции, не пришлось бывать дома, и с Васей я больше в жизни не встретился. В квартире же, где было много комнат, шла скрытая борьба. В одной из дальних комнат Екатерина Васильевна должна была приютить любимого племянника своего мужа — гетманского офицера, а в двух дальних комнатах находились другие родственники, один из них, как потом мы узнали, тайный эмиссар деникинской разведки.

По вечерам же в квартиру почти ежедневно звонил высокий элегантный, еще совсем не старый человек, двоюродный брат хозяйки, тоже в прошлом помещик. По своим политическим взглядам он был левым эсером, потом большевиком, по роду занятий офицером-летчиком. После революции он стал видным партийным работником на Украине, занимавшим ряд крупных постов. Не часто, вернее редко, но бывали и такие случаи.

Вот в какое гнездо я тогда попал, причем страсти были накалены до предела. К тому же ЧК следила, как говорили, за каждой квартирой, где могли быть люди, подобные тем, о которых я пишу.

Казалось, даже самый воздух города был насыщен непримиримой жестокой борьбой.

Положение мое в Киеве становилось с каждым днем все более и более щекотливым. В самом деле: подобного рода молодых людей, ждущих у фронта возможности включиться в борьбу на другой стороне, хорошо знали и советские органы. Все мне говорили кругом: нужно что-то предпринять. Уже при проверке документов на улице легко может возникнуть беда! Предпринять! Но что же?

Шел я как-то по Владимирской улице и, как говорится, нос к носу столкнулся с отцом моего товарища по гимназии Жени Мота. Встретившийся мне отец Жени был старым, болезненным евреем, очень богатым, образованным и, как широко о нем шла молва, необыкновенно умным.

Но и на старуху бывает проруха! Старый Мот как раз перед самой революцией страстно влюбился в удивительно красивую молодую армянку и ушел от семьи. Он жил в большой нарядной квартире, где иногда бывал и я с двумя навещавшими отца сыновьями.

Сейчас в Киеве старый Мот был, в сущности, в положении, близком моему. Он тоже ждал белых, только предварительно запасся нужными бумагами. Нет, вступать в армию он, конечно, не собирался. Он хотел вместе с бывшей тут же при нем южной красавицей выправить визы и двинуться за границу.

«Тут мы все погибнем,— сказал он мягко, но очень уверенно.— Вот ваш друг Женя уже и погиб...» Я хорошо видел, какое глубокое волнение охватило хилого Мота, и не решился расспрашивать на улице.

Потом я побывал у него в гостинице. Он рассказал мне, что оба его сына пробрались в белую армию из Петрограда; пробрались еще к Корнилову и участвовали в его первом походе. Рассказал, что Женя убит в бою, а его брат Валя какими-то сложными путями оказался в армии Колчака и разделял ее невеселую участь. Что с ним, он не знает. Валя ушел с юга, так как не мог вынести удручавшего его и Женю антисемитизма белых, постоянных обидных намеков, а то и прямого издевательства. А оба они были добровольцы.

Мот полностью вошел в мои заботы. «На случай проверки на улице,— сказал мне он,— вот вам бумажка». Это было удостоверение личности на имя уроженца Киева, еврейского юноши, только что закончившего обучение в какой-то ремесленной школе. Удостоверение я взял и носил в кармане. Предъявлять его мне не пришлось. А старый Мот, печальный и окончательно потерявший веру в белых, после их прихода в Киев, двинулся к южным портам.

С надеждой и верой

Белых Киев встречал шумно. Тем, кто скинул со счетов окраины города, населенные рабочими, ремесленниками, мастеровыми и прачками, кто жителями Киева считал прежде всего людей богатых, обеспеченных, верхушку интеллигенции, казалось, что встреча была радостной. Сам я тогда в соответствии с моими настроениями мало приглядывался к киевлянам, остававшимся угрюмыми и молчаливыми на скамеечках тесных двориков, в душных кварталах бедного люда. Я видел, хотел видеть только тех, кто обнимал не только белых воинов, но и их лошадей. Я видел женщин, целовавших руки вступившим в город офицерам в гвардейских погонах.

В те дни я добровольно вступил в белую армию и оказался в первой гвардейской артиллерийской бригаде, вошедшей в Киев. Офицеры бывшей императорской гвардии были мне, как я скоро это понял, совсем чужды по своим крайним монархическим настроениям и некоторым нелепым традициям, которые они пытались сохранять в совершенно им непонятной обстановке гражданской войны. Во всем происходящем они вовсе не разбирались, да, по правде сказать, и не хотели этого делать. Принимавший меня офицер пространно говорил о старых традициях гвардии и выражал удовлетворение, что я принадлежу к военной дворянской семье. Меня тогда этот разговор очень удивил и совсем мне не понравился. Я ведь только что хорошо нюхнул другого воздуха, помнил революционный Петроград и революционную деревню и знал, что они не шутят.

Нужно сказать, что я вступил в армию солдатом-добровольцем, не имея ни малейшего понятия о воинской дисциплине и военных правилах, хотя и родился в семье бывшего артиллериста. Я прикрепил на френч погоны вольноопределяющегося гвардейской артиллерийской части. В цейхгаузе мне выдали солдатскую шашку, которую я не знал, как носить.

Батарея стояла в Липках в частном доме. И вот я поднимался по лестнице полный радужных надежд и желания послужить делу, которое считал правым. А по той же лестнице, звеня шпорами, спускался командир батареи, подтянутый гвардейский полковник, с небрежной усмешкой на устах. Он только что утвердил мой прием в часть и, встретившись, довольно приветливо сказал мне: «Здравствуйте». Я вежливо поклонился и ответил тем же приветствием. Полковник в недоумении остановился и объяснил, как полагается вести себя солдату, когда с ним здоровается офицер. Я опять любезно поклонился и сказал: «Хорошо».

— Совсем не хорошо,— вспылил полковник,— очень даже плохо! Вы подучитесь немного уставу, правилам, а потом уж показывайтесь в форме нашей бригады на улице.

Я уже не знал, что ему ответить, и решил действительно подучиться. Времени для этого было, однако, мало. Когда я через два дня шел по Киеву с болтающейся на мне шашкой, в шпорах и при револьвере, с которым не умел обращаться, мое обучение далеко не продвинулось. К тому же я был погружен в чтение газеты, издававшейся белой армией. Я не знал этой прессы и страстно стремился узнать поближе, за что же борется армия, как она формулирует свою правду. Вдруг слышу возглас: «Вольноопределяющийся, что это вы делаете?» Передо мной стоял пехотный капитан. Взяв под козырек, я спокойно ответил: «Я читаю газету».

— На ходу солдаты газет не читают, а по сторонам смотрят. Вы себя вести не умеете!..

Я стоял, ничего не отвечая.

— Вы когда в армию вступили?

— Три дня тому назад.

До сих пор помню безнадежный жест, которым капитан сопроводил брошенное им: «Идите». Он, наверное, хорошо понимал, что с такими солдатами белая армия далеко вперед не уйдет.

И в самом деле, когда всего через три дня мы выступили в поход и наша часть оказалась в Нежине, мне уже выдали пулемет, коротко объяснив его устройство и способ обращения с ним. Я оказался солдатом конно-пулеметной команды. Она должна прикрывать батарею и выручать ее в изменчивых условиях гражданской войны. И вот первый бой... На окраине Нежина расположилась наша батарея и конно-пулеметная команда при ней, а из леска напротив наступали цепи красных частей. Я был оглушен выстрелами орудий и совершенно растерян, когда в перерыве между их залпами раздалась команда: «Пулеметы к бою!», еще какая-то, которую я не расслышал, и потом короткий выкрик: «Огонь!».

Я лежал, как было мне указано, за моим тяжелым пулеметом системы «Кольт» и, прикрыв глаза, открыл пальбу. Как я стрелял, куда попадали пули, как шли навстречу нашему огню красные части, я не видел. Помню только, кто-то ударил меня по руке и потом гневный возглас: «Ты что делаешь?»

Это подпрапорщик Рябоконь, сын богатого крестьянина из Северного Крыма, остановил меня и с бранью объяснил, что пули мои ложатся в нескольких шагах от меня, поднимая пыль на дороге и никому не принося ущерба. «Разве своих кого подшибешь!» — горячился подпрапорщик.

Примерно так же стреляли и другие молодые белогвардейцы киевского набора, и красные цепи спокойно дошли бы до наших орудий, если бы Рябоконь и некоторые другие искушенные пулеметчики не легли за наши пулеметы и не повели бы бой по всем тем правилам, которые они знали по годам пережитой ими первой мировой войны.

Кто же были эти белые воины? Какие люди в том же Киеве вступали в ряды белой армии? Я попал в нее в разгар ее успехов и на пороге ее провала. В то время южная белая армия занимала обширную территорию, поднимаясь к Орлу и Чернигову, занятому теми частями, в которых я служил. Общая директива, данная Деникиным, была краткой: «На Москву!» Однако с первых же дней моего пребывания в этой армии я, как и многие только что вступившие в нее, остро почувствовал: что-то в наших рядах не ладится, что-то не так, как мы это себе представляли, слыша на севере о формировании в донских и кубанских степях корниловских полков. А ведь сколько молодых людей, добровольно вступая в белую армию, в самом деле думали, что они спасают Россию, обреченную, как им казалось, на унижение и несчастье.

И вот, когда я говорю о том, из кого эта армия состояла, кто вступал в нее в Киеве и других городах, через которые она проходила, я назову прежде всего людей таких именно взглядов. Часто то были офицеры, думавшие, что патриотическое чувство обязывает их стать именно белыми офицерами. Если белая армия не победит, считали они, России грозит гибель.

Если бы могло свершиться чудо и давно умершие или убитые в схватках гражданской войны люди могли сейчас увидеть, на какую невиданную в прошлом высоту поднято в результате великой революции имя России и ее значение в мире, если бы они могли представить себе Великую Отечественную войну и поражение, нанесенное гитлеровской Германии той самой Красной Армией, против которой они встали!.. Однако чудес, как известно, не бывает, и мертвые не знают хода истории на Земле.

Многие бывшие белые офицеры потом разобрались — одни раньше, а другие позже — в реальной действительности, поняли ход истории и революции.

Однако не одни только офицеры, руководствовавшиеся ошибочно понятым патриотическим долгом, вступали в белую армию. В ней было очень много чисто классовых и сословных врагов Октябрьской революции. Людей, не примирившихся с потерей своего имущества; людей, вставших на его защиту и вступивших в смертный бой за это свое добро. Они часто были беспощадны и не ждали пощады себе. Этих людей было много, и они в значительной мере окрасили собой политику белых армий, их поведение на родных просторах. В ту же группу я отнес бы и тех «мстителей», которых тоже часто встречал в рядах белых, «мстителей» за «поруганную честь» полков, знамен, политических лозунгов, иногда просто близких людей.

А вот и третья группа вступивших в белую армию. Была она не очень многочисленна, но все же была. Это те, кто считал, что они борются за свободу против революционной диктатуры. Студенты и гимназисты, члены разных политических партий, приветствовавших в той или иной степени Февральскую революцию и

отвергавших Октябрьскую. На полях гражданской войны люди таких политических настроений были в безусловном меньшинстве. На происходящее же в белом стане они смотрели обычно с недоумением или с горечью, часто с растерянностью.

Что же стало с этой группой? Люди этого типа после поражения белой армии также в своем большинстве ушли в эмиграцию.

Испытания и исход

Оснований для растерянности у людей моего типа, надевших на себя погоны солдат и офицеров белой армии, было достаточно. Расскажу хотя бы такой эпизод, крепко запечатлевшийся в памяти. Под Черниговом при последнем порыве к наступлению белые войска прижали к Десне отборные части Красной Армии, и шел жестокий бой. Одна за другой неслись лавы офицерского конного полка, пытаясь сломить сопротивление курсантов и матросов. Снова и снова была неудача, и опять неслись сотни навстречу упорному сопротивлению и огню пулеметов.

Пленные, в том числе раненые красноармейцы, матросы и курсанты под охраной конных стражей толпились возле домов начисто разоренного села. Наша батарея стояла тут же на сельской площади в ожидании приказа. И вот на площадь прискакал полевой лазарет второго конного офицерского полка. Прямо под пулями сестры лазарета выносили на тачанки своих раненых и убитых офицеров. И что же! Те же сестры, очутившись на площади, с возгласами: «Где же пленные большевики? Это они?» подбегали к пленным и стреляли в них из наганов. Это была страшная картина.

Командир нашей батареи, кадровый гвардеец и монархист с головы до пят, с дрожащей от волнения нижней челюстью подъехал к полковнику конного полка и, взяв под козырек,— я слышал эти слова — обратился к нему: «Что же здесь творится?» «Оставьте! — резко ответил дроздовец.— Это наши части ведут сейчас бой»,— и махнул рукой нетерпеливо и вместе с тем как-то отчаянно.

Известно, что и другая сторона бывала жестокой. Без ненависти и жестокостей не было еще в истории гражданских войн. Но та надрывная, противоестественная, как бы больная жестокость и ненависть, с которыми я встретился на Десне, тогда меня потрясли.

В то время люди долгим размышлениям не предавались, некогда было, да и обстановка не соответствовала. Потом, уже далеко за пределами родины, я часто обращался мыслями к эпизоду на берегу Десны. Вспоминал его, когда, размышляя о судьбах белой армии и так называемого «белого движения», думал о том

разочаровании, которое охватывало многих из нас, почувствовавших, что что-то самое главное в наших рядах обстоит не так, как мы этого хотели и ждали.

Став солдатом белой армии, я вступал в занимаемые ее частями села и города. Несколькими же месяцами позже я проделал в рядах этой армии ее отход, почти бегство от средней полосы России и северной Украины вплоть до Перекопского перешейка, где она укрепилась на пятачке Крымского полуострова. Тогда я, как и многие мои товарищи, не столько понял и осознал, сколько всем сердцем почувствовал страшную нашу оторванность от того огромного человеческого моря, среди которого мы маршировали, сражались, наступали и отступали. Прежде всего оторванность от огромной крестьянской массы; с каждым месяцем, с каждой неделей она становилась нам все более чуждой и враждебной. Почему и как все это происходило, я сейчас подробно рассказывать не буду. На это можно найти ответ как в исторических исследованиях, так и в замечательных литературных произведениях о том времени.

Скажу только, вспоминая поспешный отход белых армий от центра России к ее южной окраине, что я сравнил бы этот отход с отходом французской армии от Москвы на запад, так художественно описанным на страницах книги академика Тарле, посвященной нашествию Наполеона. Но там уходила окруженная враждебным человеческим морем армия оккупантов, а тут... свои.

Может быть, мое сравнение покажется кое-кому странным и чрезмерным... Но нет! Именно столь велика становилась оторванность белого воинства от широких пластов собственного народа, среди которого оно вело свою борьбу.

Холодные, снежные дни поздней осени 1919 года. На фронте перелом, и белая армия начинает сначала медленно отступать, а потом быстро катиться на юг. Я оторвался от своих и спешу в Киев, чтобы повидать близких, а потом соединиться со своей частью. Где-то под Пирятином, на занесенных снегом полтавских полях, я попадаю в офицерский вагон поезда, медленно пробирающегося к Киеву. В вагоне душно, жарко, офицеры недовольно косятся на вольноопределяющегося, но все же дают мне место.

— Вот попали в передрягу в ваши, можно сказать, детские годы,— говорит мне войсковой старшина, иначе подполковник кубанского войска.— Вам бы еще у матери под крылышком сидеть, а вы тоже решили Россию спасать... Похоже, она и без нас как-нибудь спасется. А вот мы спасемся ли, этого я не знаю.

— А вы меланхолию тут не разводите,— возражает сидящий напротив офицер-черкес 2-го дроздовского полка.— Нужно биться, и победа будет за нами. Нечего слюни сейчас распускать.

— Верно,— возражает казак,— слюни распускать незачем, но надо знать, за что биться. А я вот сейчас, ей-богу, не знаю, за

что мы бьемся! За царя? Говорят — нет. За республику? Говорят, тоже нет. За помещичьи права? Говорят — нет, а землю помещикам возвращают. За ликвидацию большевизма? Это да, но только что-то не так у нас получается.

Не помню, как шла дальше дискуссия между кубанским подполковником и черкесским джигитом. Я тогда задремал, а встрепенулся, когда спор между ними далеко ушел от первой темы.

— Нет,— кричал черкес, сверкая глазами. — Ваши женщины-казачки никуда не годятся. Наши горские женщины такие, что стан каждой можно нашей шашкой обогнуть, а на ваших пахать можно вместо волов, когда в них нехватка. Кто любит таких женщин?

— А ваши черкешенки в Турции и в России по б... служили,— закричал, налившись кровью, кубанец.

В одну секунду лицо черкеса исказилось страшной гримасой. Он как-то весь согнулся, соскользнул с сиденья, выхватил шашку, и она уже нависла над головой кубанца. Еще мгновение, и одной жизнью было бы меньше. Кубанский подполковник тоже не терял времени. Он схватился за наган. И все-таки он не успел бы выстрелить, как потом говорили знатоки, сидевшие кругом. Черкес успел бы раскроить подполковнику голову, если бы его не схватил однополчанин, могучий осетин, не выбил у него шашку и не начал урезонивать «господ офицеров».

А поезд наш спешил дальше, происходили вынужденные перемещения пассажиров в вагонах, пришлось и мне покинуть свое место. Но в конце концов я доехал до Киева, простояв часов двадцать на самом паровозе. С одной стороны — снежная вьюга, с другой — адский жар паровоза. Но я добрался все же до цели, попал к невесте и увидел Киев, оставляемый белой армией. На улицах шла редкая перестрелка, тысячи людей, да — тысячи, но не десятки тысяч, устремились на дорогу к Фастову, потом к Белой Церкви, желая уйти с белой армией. А десятки и сотни тысяч других оставались на месте, провожая эту армию, одни с недоумением, иногда горестным, вспоминая ее поведение, как это было в квартире Брунстов, из которой я уходил, другие — с равнодушием, третьи — с радостью по поводу ее поражения.

На окраине города, на платформе грузового автомобиля стоял, расставив ноги, седой генерал в гвардейской форме и привычными повелительными жестами, с трудом соблюдая холодное равнодушие на старческом краснощеком лице, торопил отставших солдат и офицеров, среди которых, прижимая винтовку к груди, бежал и я.

Потом — восьмидневное путешествие в каком-то сборном эшелоне, какого-то артиллерийского склада. В наших вагонах было много женщин — офицерских жен и неизвестно чьих жен, бегущих неизвестно куда, неизвестно откуда и к кому. Были дети, были офицеры, потерявшие свои части, мальчишки-добровольцы

и я среди них со своим товарищем Федей Вяткиным, сыном известного адмирала. Мы очень подружились; был он голубоглаз, строен и ладен, всегда весел, решителен и как-то удивительно спокоен. В нем жило природное мужество, и потому к нему тянулись такие, как я, гораздо менее устойчивые натуры.

Мы искали нашу батарею. Поезд ползет медленно, предательски медленно; задыхается от усталости паровоз, которому не хватает дров, которому не дают угля; его подгоняют сами пассажиры, ломая на бесконечных остановках изгороди и близкие деревянные постройки. Ползем и не знаем, уйдем ли...

Мы с Вяткиным странствуем в вагоне, совсем не перенаселенном, почти что пустом, но очень странном. Кроме нас, здесь гроб убитого под Киевом важного полковника и сопровождающая этот гроб вдова. Восемь дней везет она гроб в нетопленном вагоне по степям Украины, чтобы похоронить его... где? С какими почестями? Этого она сама не знает. Сначала везет в мороз, потом в оттепель, потом в теплые, солнечные дни вблизи и на окраинах Одессы.

Нас никто не спрашивает, где наша часть, мы ее ищем и не находим. Денег у нас нет, а есть нам очень хочется. Когда мы знаем, что поезд простоит целые часы, пытаемся что-то раздобыть в прилегающих селах, но мы уже боимся этих сел. Встречают нас там холодно, враждебно, с остатками страха озираясь на наши винтовки и насмешливо иронизируя над нашей молодостью и исхудавшими телами.

Вот паровоз совсем замедляет ход, изнуренный небольшим подъемом в каких-нибудь 30—40 метров. Мы с Вяткиным плохо себя чувствовали в обществе покойника и безутешной вдовы и перебрались временно на открытую платформу, где, согретые лучами солнца, опять ласкающего землю, несколько офицеров режутся в карты, проклиная судьбу.

Вдруг они перестают играть. «Махновцы!» — восклицает один из них.

В самом деле, какая-то конная лава, какие-то тачанки видны на горизонте. Всадники с флажками скачут наперерез поезду, он смиренно останавливается: машинист соскакивает с паровоза и бежит куда-то в поле, очевидно, чтобы выждать результат неожиданной встречи. «Махновцы!» — несется по вагонам. Женщины плачут, куда-то стараются спрятаться, укрыть детей, несколько офицеров торопятся навести пулеметы, что-то у них не выходит. Офицеров в эшелоне мало, они совсем не организованы, много среди них тыловиков.

— Знаешь что,— говорит мне Вяткин,— тут моргать нечего. Это, наверное, махновцы, и они будут нас мучить. Надо стреляться.

— Но как это сделать из винтовки,— спрашиваю я,— ведь револьверов сейчас у нас нет.

— А очень просто,— ответил Вяткин. Он был так же решителен, как и его отец.

— Разувайся скорее. Большой палец правой ноги на курок, а дуло бери в рот... только ты не бойся, это одна секунда.

Вероятно, мы бы сдуру действительно застрелились, если бы я не услышал возгласа какого-то капитана у пулемета: «Да это свои!». В самом деле, неизвестная отставшая казачья сотня, или эскадрон кавалерийского полка, решила атаковать изнемогающий поезд. У командира было предположение, что в поезде махновцы с награбленным имуществом, уходящие от белых и красных. Большая была неразбериха на просторах тогдашней Новороссии.

В Одессе сутолочь, паника. На вокзалах, пристанях и прямо на улицах сотни и сотни полуживых офицеров и солдат в сыпняке. Проклинают за дело или без дела командующего генерала Н. Н. Шиллинга за его нерешительность, а главное — за его увлечение киноартисткой Верой Холодной, которая вскоре умерла. Ради нее, как тогда говорили, генерал забыл не только о «спасении России», но и о судьбе армии, ему вверенной.

Там-то, в Одессе, я и присоединился, наконец, к своей части и вместе с первой батареей первой гвардейской артиллерийской бригады погрузился на пароход, привезший нас в Севастополь.

На Северной стороне нас ждали казармы, дезинфекция от поедавших нас вшей и унылый распорядок казарменной жизни. Далеко позади казалась встреча с армией в Киеве, вступление в ее ряды, бои под Нежином и Черниговом, ранние осенние холода и трупы четырех повешенных в Нежине китайцев, отвинчивавших гайки на рельсах, чтобы пустить под откос бронепоезд «Великая Россия», предназначенный к наступлению на Москву. А потом слезы в киевской квартире и поезд, в котором пережил тяжелые минуты.

...Хожу я как-то дневальным на коновязи, хожу в ночные часы, как было положено: от 2 ночи до 4 утра. Что-то мне нехорошо. Двоятся лошадиные головы, как-то расплываются хвосты, какие-то страшные рожи подмигивают из темноты. С трудом отбыл я свои два часа и, вернувшись, жалуюсь разводящему на плохое самочувствие. «Да ты померяй температуру, наверное, у тебя сыпняк». В самом деле, оказалось более сорока — сыпняк.

Я плохо помню лодку, в которой меня отвозили в 3-й временный эпидемический госпиталь. Смутно помню тесно приставленные друг к другу кровати, солому, на которой лежали те, кому не было места на койках, и моего соседа — здоровенного кубанского казака, который, выхватив шашку из-под изголовья, набросился на меня с воплем: «Убью, большевик!». У него была тяжелая дизентерия, или холерина, беспамятство, и на другой день он умер. Меня же спасли санитары, схватившие его сзади. Я тоже на долгий срок потерял сознание, потом, придя в себя, увидел сестру в

косынке, омывавшую мои пролежни, в которых сотнями жили вши.

Эта молодая женщина — М. Н. Эльснер — спасла мне жизнь. Она избрала самого безнадежного, самого грязного, самого беспомощного тифозника, заставила врачей его осмотреть, приносила из дому хлеб, чай и кофе, словом, выходила меня, пока сама не свалилась в тифу. Эту самоотверженную женщину буду помнить до конца моих дней. Поправляясь от тифа, я страдал удивительным его последствием — продолжительным раздвоением личности. Мне казалось, что я знаю вольноопределяющегося Мейснера из гвардейской батареи, но сам я был совсем не он, а уроженец Севастополя, из мещанской слободы, по фамилии Покровский.

Когда доктор, быстро обходя больных, спросил меня: «Как, Мейснер, дела?», последовал ответ, что я совсем другое лицо, хотя и хорошо знаю Мейснера. Он на минуту задержался, посмотрел на меня и сказал: «А вы подумайте, припомните». И пошел дальше. Страшное смятение охватило меня, помню, я посмотрел на свою руку, а на руке Мейснера были следы ран от тяжелого пореза, и по этим следам я в самом деле «вспомнил», нашел себя. Никогда не забуду каких-то страшных, тяжелых рычагов, как бы двигавшихся в моем мозгу и вернувших мне самого себя. «Доктор, недоразумение!» — воскликнул я.

В этом госпитале я пробыл несколько месяцев. Поправившись от сыпняка, я снова заболел — у меня было тяжелое рожистое воспаление с осложнениями. Долго опять пролежал без памяти. Потом пришли приступы возвратного тифа. В нашей огромной, невероятно грязной и запущенной палате меня так до выписки и звали: «недоразумение».

С этим прозвищем я и вышел из госпиталя на разучившихся ходить ногах и попал в свою часть как раз незадолго до того, как новый главнокомандующий белой армии генерал П. Н. Врангель сделал последнюю отчаянную попытку вырваться из Крыма на русские просторы. Я с трудом поправлялся, пользы от меня как от солдата не было никакой.

Как-то, когда я в нашей батарее, расквартированной в Северной Таврии, отпивался после тифов молоком и набирался сил, с трудом выполняя обязанности тылового солдата, мне, что называется, подвезло. Как это говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло! Я был назначен охранять артиллерийский склад. То ли убаюкала меня теплая южная ночь, то ли я был еще слишком слаб, но, прохаживаясь вдоль помещений склада, я как-то незаметно для себя присел в траву, отложил винтовку и крепко, безмятежно заснул. А было это в прифронтовой полосе. Меня — довольно невежливо — разбудил один из наших подпрапорщиков: «А где же твоя винтовка?» Она была у него в руках.

Утром я явился к командиру батареи, щеголеватому молодому полковнику, строго на меня смотревшему. Он спросил, знаю ли

я, что мне полагается военный суд и расстрел за такую небрежность. Я ответил, что знаю. Полковник Шатилов задумался и принял решение.

— Вы поступили в армию добровольно, я это учитываю, к тому же были тяжело больны. Поэтому назначаю вам такое от себя наказание: 16 часов под шашку с полной выкладкой; стоять ежедневно по 4 часа, от 12 до 4 на солнышке.

А жара была большая — до 50 градусов. Так выстоял я, надо сказать, с трудом первый день, а к вечеру опять вызывает полковник. Ну, думаю, передумал, под суд отдает. Шатилов принял меня хотя и строго, но как-то двусмысленно улыбаясь.

— Другое,— сказал он,— вам наказание придумал. Отвезете в Ялту поправляющегося после тифа вашего товарища.

Это был сын крупного деятеля врангелевского правительства Глинки; я повез его в Ливадию, где провел три чудесные незабываемые недели. Мать моего подопечного встретила нас на пристани с двуконной коляской, отвезла в Ливадию, в бывший «свитский» дом, ею занимаемый. Она устроила меня в прекрасной комнате с верандой и видом на море. Я прожил в ее доме два дня и, собираясь обратно в свою часть из этой, казавшейся мне сказочной обстановки, отправился на прощальную с Южным берегом прогулку по дорожке из Ливадии в Ореанду.

Был чудесный, жаркий летний день. Первый раз в жизни видел я во всей красе природу Крыма, да еще в самом лучшем, может быть, его уголке.

Шел я по дорожке, лениво отдавая честь встречающимся офицерам, как вдруг увидел перед собой знакомую фигуру с рукой на перевязи. Наш рязанский Отасьев в форме штабротмистра Александрийского гусарского полка, элегантный. с весело, как вначале мне показалось, поблескивающими глазами.

Обрадовались друг другу, как родные. Николай Всеволодович выехал из своего рязанского уголка позже меня.

— Я не стал ждать исхода тамошних невеселых для нас дел,— сказал он,— бросил все (по правде сказать, это все, если говорить о материальных ценностях, было весьма немногим) и двинулся в Москву. Оттуда к белым, затем в родной Крым... Сейчас управляю Ореандой и приглашаю вас пожить у меня, сколько хотите.

Я объяснил, что спешу на фронт в часть. Отасьев с полной уверенностью заявил, что все кончено, белая борьба проиграна. Нужно каждому уносить ноги как и куда можно, и притом скорее. А пока советовал остаться у него и поесть винограду. Обещал оформить мое пребывание у него, сославшись на мою болезнь, что очень искусно и сделал; обещал также знакомство с милым дамским обществом. Соблазн пожить на Южном берегу, да еще в Ореанде, был слишком велик, и я остался у Николая Всеволодо-

вича на целые три недели. Я прожил их в чудном доме управляющего, в прелестной комнате с видом на море, спал на отличном матрасе, лежавшем, правда, прямо на полу: кроватей в доме почти не было.

Так же как и в рязанском своем доме, мой хозяин был настроен скептически, немного легкомысленно и все же с правильной оценкой реальной обстановки. Я не послушал его советов остаться дольше и вместе уходить дальше, за границу. Я вернулся в часть. Через два месяца началась эвакуация. В Ялту я не смог попасть. Что стало с Отасьевым, я не знал. Много лет спустя прочел в одной эмигрантской газете, что в Ницце или, не помню, в Каннах в каком-то Доме для нетрудоспособных и престарелых имени одной из «великих княгинь» скончался от туберкулеза Н. В. Отасьев.

Дни в Ореанде крепко памятны мне еще и потому, что там я впервые, вернее в первый и последний раз увидел жизнь и нравы тыла южной белой армии. В Ялте и Ливадии было тогда много военной молодежи, много семей офицеров и генералов и очень много «беженцев с севера». И над всем этим людским морем господствовало тогда одно общее настроение — какой-то тяжелый надрыв.

Именно надрывно пили сверх меры корниловские офицеры, плясали горцы и казаки. Надрывно и невесело, шумно веселились женщины, надрывно произносили чуждые им грубые слова и надрывно отдавались мало знакомым и нелюбимым мужчинам. Зачем же и почему все это творилось? Чтобы, говорили тогда все, «забыться»! Не было слова более популярного, ходкого и, надо сказать, уместного в тылу белых армий.

И это слово, произносимое обычно только подсознательно, было полно зловещего смысла для произносящих его.

Последние судорожные дни врангелевской армии мне пришлось пережить в городке Алешки в устье Днепра. Городок этот расположен прямо против Херсона на другом берегу реки. Заросшие кустарниками и травой берега реки скрывали переправляющихся через воду солдат Красной Армии, которые стремились внезапным ударом захватить Алешки. Белые, сами отказавшиеся от надежды овладеть Херсоном, заняты были одной обороной, и наши пушки открывали огонь, только когда наблюдательный пункт сообщал о переправе; прямо перед нашей батареей раскинулось обширное алешкинское кладбище, заросшее жасмином, сиренью и белой акацией. По этому кладбищу в спокойные часы мы разгуливали с местными девушками, и я до сих пор помню двух из них, звонкими голосами распевавших «В глубокой теснине Дарьяла» с совершенно ненужным для этого романса сентиментальным оттенком. Девушки, видимо, чувствовали себя почти что коварными царицами Тамарами. Впрочем, по этой линии ничего трагического случиться не могло.

Когда по кладбищу начинала стрелять красная артиллерия из Херсона, милые девушки прятались по своим домам, а мы бежали к пулеметам, которые нам не помогли. Бегство из Алешек было уже предопределено.

Вскоре этот день настал, а вместе с ним поспешный переход от Алешек до перекопских укреплений и последние кровавые стычки, когда спешившие за перешеек белые полки подвергались атакам красной конницы. Одна из таких схваток до сих пор стоит перед моими глазами.

До спасительного перешейка оставалось совсем немного верст, когда между этим перешейком и нами замаячила красная конница и конные батареи открыли по нас огонь. Остатки исторических полков старой гвардии, шедшие с нами, должны были сделать попытку отбить атаку. Офицеры в меховых шапках с гвардейскими звездами на них, с вшитыми в шинели погонами, чтобы не было соблазна сорвать их, рослые, внешне спокойные и уверенные начали строить цепи солдат, отдавая команду готовиться к бою. Это были офицеры когда-то прославленных русских полков: Преображенского, Измайловского, Семеновского. Но от этих полков осталось только по 3—4 офицера и по 2—3 подпрапорщика со многими георгиевскими крестами, а солдатами этих частей были пленные красноармейцы, которым вовсе не хотелось во славу старой гвардии умирать. Они совсем не слушали слов команды, а, руководствуясь своим собственным здравым смыслом, попросту справа и слева подбирали полы своих шинелей и бежали навстречу коннице.

Я собственными глазами видел этот последний бой гвардейских полков.

Оставшиеся офицеры или посылали вдогонку бегущим пули из револьверов или просто оборачивались назад и искали своих лошадей, чтобы уйти за перекопский вал.

Да, это была как будто и ничтожная, но поучительная картина последнего боя бывшей гвардейской императорской пехоты. Потом где-то в тесных парижских квартирах размещались штабы этих знаменитых полков, кто-то даже издавал альманахи, посвященные некоторым из них. Но реально последние их дни на родной земле выглядели так, как я описываю.

Успели и мы — гвардейская артиллерия — проскочить за вал. Правда, с жертвами, а я лично на походной кухне, от которой шел страшный жар кипящего борща.

Я не буду вспоминать боев на Перекопе, грохота орудий с той и другой стороны и зловещих для белой армии всадников и пехотинцев, обходивших по полузамерзшему Сивашу объявленные неприступными перекопские позиции. Они были обойдены сравнительно легко, и Перекоп пал легче, чем это думали не только белые, но, вероятно, и красные. А дальше уже никто не верил в следующую линию укреплений, и белые полки спешили, обго-

няя друг друга, но все еще сохраняя известный порядок и дисциплину, дальше и дальше к Джанкою, Симферополю и, наконец, к спасительному Севастополю и другим городам побережья, где армию уже ждали гражданские и военные суда.

Перед Симферополем у станции Курман-Кемельчи произошла кровавая схватка. Красная конница опять обошла отступающие части, и я увидел, наконец, ужасную, стихийную панику, охватившую испытанных солдат и офицеров. Я помню искаженное ужасом лицо нашего подпрапорщика Степанова, кавалера четырех георгиевских крестов. Он не знал, что ему делать — срывать погоны, креститься или пустить в ход револьвер, который он приставлял к своей груди. Я видел командира нашей батареи, пытающегося лично наводить орудия для того, чтобы беглым огнем остановить красную конницу. Вдруг конные разведчики нашей батареи, мои ближайшие по армии товарищи, почти сплошь добровольцы, во главе со студентом Савицким понеслись навстречу красной коннице верхами, выбросив белый флаг.

Это было неожиданно. Я не знал об этом сговоре, но видел, как после этого наши офицеры, бросив пушки, пулеметы и всех нас при них, галопом первыми поскакали в Симферополь, оставив поле битвы.

В этом городе мы были построены в шеренгу уже без пушек и пулеметов, брошенных нами у станции Курман-Кемельчи, и командир дивизиона, старый гвардейский офицер, объявил нам официально приказ Врангеля об эвакуации, в котором желающим предлагалось уходить за рубеж родины. Времени для размышлений не было, раздалась сухая команда: «Остающиеся, два шага вперед шагом марш!» — и судьбы людей были решены.

Я не хотел тогда оставаться и не хочу сейчас этого скрывать.

В молодости я хорошо ездил верхом и в Симферополе мне это помогло. Пришлось взобраться на выносливого, но ошалевшего от усталости и голода мула и на нем только с одной кратковременной остановкой проехать вместе с солдатами нашей батареи до самого Севастополя, вернее до его окраин, где мой мул начал шататься, низко опустив голову. Я успел соскочить с него, прежде чем он упал. На пароходе «Херсон», где были наши офицеры, первые занявшие на нем места и подававшие нам знаки, я и оставил родину.

Отдавал ли я себе отчет в том, что происходит роковое расставание с Россией, разлука навсегда со всеми близкими, очень мною любимыми?! Вряд ли. Мне казалось, что родина тут с нами и всегда с нами останется, и я опять скоро буду дома и обниму своих родных. Самый наш исход воспринимался мной, во всяком случае подсознательно, как все же какой-то случайный, хотя и вынужденный, временный отъезд.

Через сорок лет я уже не увидел никого из самых дорогих мне людей, так легко, так бездумно тогда оставленных.

Суда плывут в Дарданеллы

Крымский извилистый берег все дальше удалялся от тяжело сидевших в ноябрьской холодной волне пароходов, уносивших нас в Турцию. Уже слева на береговой круче забелели стены Георгиевского монастыря, внизу замер романтический мыс Феолент.

Когда-то здесь бродила бедная Ифигения и красовался мраморный храм богини Артемиды. Тут проводил свои крымские дни с семьей Раевских и Пушкин.

Разных людей знали просторы Черного моря, разные цели преследовали в течение тысячелетий плывшие по этим просторам завоеватели, купцы, мореплаватели, изгнанники, лихие запорожские казаки. Сейчас это были многие тысячи вчерашних белых воинов, которых ждало изгнание.

Я испытывал жестокий голод, еще сильнее мучила жажда. Мне пришлось даже бутылкой, которую я с трудом прикрепил к длинной веревке, доставать морскую воду, чтобы хоть немного смочить пересохшее горло. Так это было, пока нам не начали выдавать понемногу пресной воды.

Я, как и другие батарейцы, сердился на переполненность парохода, на невозможность хотя бы на часок прилечь в трюме или на палубе, чтобы немного отдохнуть. Злился на иные воинские части, разместившиеся, как нам представлялось, менее стесненно; радовался, что увижу сказочные, казалось мне, страны и красоты, проеду Босфор, увижу Константинополь и невесть еще что... Однако еще и еще раз скажу, у меня не было чувства трагической потери родины.

А разгром армии? Конец белой борьбы? Да, во мне и не только во мне, а у очень многих таких же юных, как и я, добровольцев жило сознание окончательного разгрома нашей армии. Но о нем мы много тогда не задумывались: к тому же оно жило во мне и раньше. Жило, когда мы, как затравленные звери, отступали по обледенелым дорогам Украины, когда мы толпились, наступая друг другу на ноги, в маленьких городках и селениях переполненного до отказа Крыма, когда мы потерпели жестокий удар, попытавшись выбраться из него вновь на украинские просторы, и особенно когда мы бежали к севастопольским пристаням, ища спасения. И это ощущение спасения, спасения собственной жизни, преобладало, вероятно, тогда, во мне во всяком случае. Думаю, так это было с большинством молодых людей, заполнявших суда, проплывавшие под трехцветным флагом Босфор. Громадный французский дредноут прикрывал последнее отступление белых войск. Это тоже как бы символ. Не случайно, в самом деле, дредноут поднял жерла своих тяжелых орудий.

В голубых водах Босфора непрерывно сновали лодки, баржи, неторопливо скользили суда, а из тумана, окутавшего бухту

Золотого Рога, в которую мы входили, постепенно выступал, вырастал перед нами Константинополь со всем разнообразием и контрастами этого замечательного города. Мы любовались и набережной Галаты, и мысом Сераля, а дальше Св. Софией (Айя-София) и прославленными мечетями Стамбула.

В день, когда бухта Золотой Рог приняла в свои воды беглецов из России, она в самом деле представляла собой зрелище совсем необычное: до ста семидесяти судов, суденышек, катеров, шхун, не говоря о черноморском военном флоте, сопровождавшем белую армию. Суда эти были переполнены военной молодежью в грязных, оборванных шинелях, с офицерскими погонами, иссеченными дождем и непогодой; переполнены молодежью голодной, только что пережившей последние тяжелые бои, страх и напряжение эвакуации. К нашей флотилии тут же понеслись юркие лодчонки турецких и греческих мелких торговцев со съестными припасами и восточными сладостями.

У нас, у таких, как я, не было ни денег, ни вещей. Единственный мой «вещевой» фонд составляла пара новых ботинок, которые я захватил в разграбленном нашем же военном складе в Северном Крыму. И я поспешил на незабываемом константинопольском рейде спустить на веревке эти ботинки в одну из лодочек и после ожесточенного торга при помощи знаков, впрочем, особенно торговаться уже не приходилось — ботинки были в лодке, я подтянул наверх, на вторую палубу, небольшой кулечек. Никогда ни раньше, ни позже не едал я более вкусного хлеба, удивительно сочного и сладкого инжира. Сотни и тысячи белых беглецов подкармливались так в Золотом Роге.

Более удачливая часть бегущих — люди со связями и деньгами, а также беженцы, не связанные прямо с армией,— тут же сошла на берег, скрываясь от наших взоров на набережных и улицах Константинополя. Вся же основная часть армии двинулась дальше по волнам Дарданелльского пролива и обосновалась на Галлиполийском полуострове — в древности Херсонесе Фракийском. Там-то и суждено было нам спуститься, наконец, на берег, впервые в жизни ступив на чужую землю. Разместились мы сначала в полуразрушенном, или, вернее, почти совсем разрушенном во время десантных операций англо-французских войск в 1915 году, городке Галлиполи, затем в нездоровой малярийной долине полуострова.

Голодно было особенно в первые дни, пока рослые и могучие сенегальцы, солдаты французской армии, не разгрузили первое продовольствие, предназначенное для остатков белой армии. Пробовали мы тогда реализовать выпущенные А. И. Деникиным тысячные кредитные билеты так называемые «колокольчики»: на крупной ассигнации, обрамленной георгиевской лентой, был изображен кремлевский царь-колокол. Целыми тюками, без особой

охраны лежали они на палубах наших судов. Но практичные греческие и турецкие торговцы быстро разобрались в сомнительности этой «валюты» и вскоре, к нашему огорчению, признали ее совсем лишенной цены.

«Колокольчики» потом в галлиполийском лагере были все же применены, правда, по неожиданному назначению — в армейских лагерных уборных.

Разбитая армия Врангеля, расположившаяся в Галлиполи и окрестностях города, попала в страну, где тоже клокотали горячие политические страсти. Здесь тоже происходила своя, кемалистская революция. Генерал Мустафа Кемаль (Ататюрк) и его сторонники упорно боролись со своими противниками — султанской Турцией и войсками Антанты. Решительный Кемаль стал первым президентом турецкой республики.

Он был популярен среди белого офицерства, тосковавшего в галлиполийском безделье. Турецкий генерал импонировал российским беглецам своим непреклонным характером, тем, чего так не хватало, по всеобщему мнению, Деникину и его окружению. Выстрелы и канонады, доносившиеся иногда через пролив с азиатского берега, волновали воображение молодых людей, привыкших обращаться с огнестрельным и холодным оружием. Тогда многие среди нас говорили о том, что готовы примкнуть к борьбе, происходящей в Турции, на стороне Кемаля. В коротком военном столкновении турок и греков большинство из нас было на стороне скорее турок, чем единоверцев-греков. Однажды на базаре в Галлиполи, куда я принес на продажу первую нарубленную мною связку лозы, со мной разговорился пожилой толстый турок, когда-то живший в Одессе и с грехом пополам говоривший по-русски. Он с неодобрительным удивлением посматривал на обшарпанных и голодных белогвардейцев и все добивался ответа — почему и во имя чего мы так упорно дрались сначала на русской равнине, о которой у него было довольно сумбурное представление, потом на берегах знакомого ему Черного моря. Турок пригласил меня к себе, что случалось очень редко, и познакомил со своей семьей, где тоже знали русский язык. Он был человеком осторожным и в отношении Кемаля, и турецкой монархии, и «красных», не зная, чья возьмет, чем закончится вся эта, как он говорил, «кутерьма».

Турок рассказывал мне о том, что пришлось пережить турецкому и греческому населению их города и полуострова начиная с 1915 года, когда происходила известная в истории только что отшумевшей мировой войны Дарданелльская операция. Говорил о разорении его лично и страны, но он ничего не знал о том, что столетием ранее в Дарданелльском проливе произошло жестокое морское сражение во время русско-турецкой войны 1806—1812 годов, когда русским флотом командовал прославленный флотоводец адмирал Д. И. Синявин. Я больше не встречался с турецким

негоциантом из Галлиполи, и прошло не одно десятилетие, прежде чем я уже в 1956 году второй раз в жизни говорил с турком.

Это был известный турецкий поэт и писатель, несгибаемый революционер, долголетний невольник турецких тюрем и эмигрант Назым Хикмет.

Мне пришлось тогда для восстановления здоровья поехать в один прекрасный чехословацкий санаторий, созданный в прошлом столетии одаренным лекарем-самоучкой Признинем, последователем французского невропатолога и психиатра Шарко. Приехав в санаторий и расположившись в отведенной мне комнате, я спустился вниз к ужину. Администратор сразу подошел ко мне и предложил посадить за стол с одним, как он сказал, советским писателем. Гость из Москвы приехал сюда со своим другом женщиной-врачом, чешского языка не знает и, вероятно, будет рад моему обществу. Я ответил, что не хотел бы ставить советского писателя в необходимость общения со мной, которое, может быть, ему совсем не нужно. Если это будет удобно, я сам со временем с большой охотой с ним познакомлюсь. Вышло, однако, все проще. В большую нарядную столовую вошел очень высокий стройный человек с обходительными манерами, с приветливой, но как бы холодноватой улыбкой, с быстрыми, зоркими голубыми глазами. Назым Хикмет. Он скорее походил на северянина, чем на турка. С Хикметом мы сразу познакомились и, смею сказать, вскоре в какой-то мере подружились.

Он очень много дал мне для понимания современной жизни моей родины, много, смело и увлекательно рассказывал о ее успехах и невзгодах. За это в моей душе постоянно живет горячая ему благодарность. Это был человек, умевший сочетать твердость идеологических и политических убеждений с большой терпимостью к инакомыслящим, если только они не нарушали дела, в которое он верил и которому служил. Человек он был очень чуткий, очень тонкий, прекрасно знавший всю прозу жизни, отлично в ней разбиравшийся.

Тогда же я был поражен способностью Хикмета покорять сердца, мужские и женские. Целыми табунами в этом санатории для нервно переутомленных и нездоровых людей за Хикметом ходили жаждущие побеседовать с ним, что-то рассказать, спросить совета, чем-то иногда очень интимным поделиться. Он обладал каким-то подлинно волшебным ключиком, отпиравшим даже самые замкнутые сердца. Потом в Праге Хикмет бывал у меня, и мои близкие единодушно признали, что не встречали в жизни столь обаятельного человека, особенно когда он бывал в ударе. Правда, было это далеко не всегда. Он болел, был нервен, склонен к ипохондрии.

Тогда же он ознакомился с отрывками моих воспоминаний о детских годах и Февральской революции и дал им, я думаю, слишком высокую оценку: был он человек не только тонко воспитан-

ный, но также очень отзывчивый и просто добрый. Приходилось мне видеть также, как он вдруг становился твердым и непреклонным и даже суровым. Это был уже тот Хикмет, который годами сидел в турецких тюрьмах.

Галлиполийское сидение

Был у нас в нашей батарее неисправимый, как нам казалось, резонер — преподаватель истории одной из киевских гимназий Г. М. Коптяев. Из-за каких-то физических недостатков его освободили от участия в первой мировой войне, в деникинскую армию он вступил добровольно и уже совсем немолодым человеком.

Был он высок ростом, нескладен и близорук. Гимнастерка сидела на нем как-то всегда боком, ворот полурасстегнут. Когда нужно было, подтянувшись, отдавать честь офицерам, Коптяев неестественно весь вытягивался, лицо становилось напряженным, неприятным, и весь он выглядел так, как будто вынужден был делать что-то не совсем для него удобное и даже смешное.

Скоро мы услышали от него слова, в которых звучало неверие в успех белой армии, скепсис, а потом и прямое разочарование. Помню, когда по Чернигову в вечерние и ночные часы несся страшный вой, вызванный погромом еврейских кварталов, погромом, который начали белые солдаты, Коптяев безнадежно качал головой, и на лице его было настоящее страдание. Он тоже ушел в эмиграцию и вот на судне впервые заговорил громче. Он был глубоко разочарован, как говорил, двумя моментами: беспрограммностью «белого движения» и психологической реакционностью его участников.

— Я думал,— говорил нам Коптяев,— что увижу такую же ясность, такую же понятную народу программу, как та, с которой выступают в Москве большевики. А я прочел только проклятия, отдельные призывы, лозунги... Вот, например, сказали: мы идем на Москву, но с чем идем на Москву, этого нам так и не сказали, а одними пушками взять Москвы нельзя было, вот мы ее и не взяли. Почему же не было программы у белой армии? А потому,— твердил Коптяев,— что программа эта выглядела бы реакционно, антинародно.

Коптяев с горечью говорил также об установившихся порядках.

— В самом деле,— сказал он, обращаясь к нам,— неужели я с моими полуслепыми глазами для того держал в руках винтовку и стрелял в моих братьев, чтобы защищать офицерское право.

Так называли тогда в злую шутку самоуправство многих офицеров на территории, занятой белыми войсками.

Я не упомню сейчас всего, с чем обратился к нам в своей тоск-

ливой речи Коптяев на палубе парохода «Херсон», уносившего нас от берегов родины. Однако я помню резкое возражение ему того самого подпрапорщика Рябоконя, о котором я уже вспоминал.

Рябоконь в жизни таких, как я, юных белогвардейцев, не прошедших военной подготовки, играл немалую роль. Он нас постоянно «цукал». В боях он не прощал ошибок, неумения и нерешительности, не говоря о страхе. Физически он был, что называется, крепышом. Небольшой, широкоплечий, со светлыми холодными глазами. Храбр, и с теми, кого считал своими врагами, жесток. У него было четыре георгиевских креста, и он ими гордился, однако в меру. Был он настоящим человеком деревни, сыном своей среды. И верил искренне только в одно: в землю, которая принадлежит ему и его семье. Она щедро родит в ответ на его труд и труд подвластных ему, дает ему возможность крепко стоять на его небольших сильных ногах, научила его зорко и недоверчиво смотреть на окружающий мир и никогда и ни в чем не упускать своего.

Это был человек неученый, в недавнем прошлом просто бойко грамотный солдат, сын крупного сельского богатея, человек, знавший, за что он дерется.

— Нам и так смутно,— сказал он Коптяеву,— а вы тут всякую канитель разводите. Сейчас мы проиграли, но мы еще вернемся и дальше будем бороться с большевиками за наши права, за наше добро, за нашу землю. Разве не ясно, что спор между нами и большевиками может быть решен только оружием и никак не иначе.

Занятно, кстати, что эти слова, сказанные простым подпрапорщиком белой армии, хотя и украшенным георгиевскими крестами, почти дословно и почти в то же время были произнесены знаменитым французским политическим деятелем «отцом победы» Жоржем Клемансо, сказавшим: «Спор между нами и большевиками-коммунистами может быть решен только силой, только оружием».

На нашей палубе не было Клемансо, а Коптяев и Рябоконь схватились в нашем солдатском кружке крепко.

Офицеры же нашей батареи сидели поодаль, в своей компании и, как слышали мы, говорили о том же: в чем же причина краха? Что вызвало последние беды? Потом я слышал многие рассуждения старых кадровых офицеров на эту тему. Мало разбирались они в случившемся. Они думали, что виноваты отдельные генералы, дававшие неправильную диспозицию или пившие слишком много водки, или, наконец, являвшиеся «тайными большевиками», тайными агентами, сознательно приведшими армию к поражению.

О народе, о его чаяниях, связанных с революцией, я не слышал от них ни при случайных беседах на пароходе, ни потом, в долгие месяцы вынужденного бездействия на Галлиполийском полуострове, ни одного слова. Для многих белых, только что потерпев-

ших окончательное поражение, дело тогда сводилось к одному и тому же: чего-то не доглядели, в чем-то ошиблись, были неточны, слишком мягки (да, и это часто говорилось) — вот большевики и победили. Они последовательнее, тверже и суровее нас.Так в то время, увы, представляли себе положение многие белые офицеры и солдаты, уходя за рубеж родины и стараясь разобраться в причинах своей катастрофы.

На Галлиполийском полуострове, где обосновалось основное ядро разбитой армии Врангеля, ничего не было, разумеется, приготовлено к приему неожиданных и непрошеных гостей.

Жители Галлиполи с удивлением посматривали на русских военных беженцев. На рынках и базарах городка мелкие торговцы — греки и турки — быстро приспособились к новым клиентам, приносившим им большей частью ненужные и убогие вещи, за которые они хотели получить хлеб, кусочек халвы, связку инжира.

В городе наша часть разместилась в каком-то полуразвалившемся сарае, благо зима на берегах Мраморного моря не так сурова, как, скажем, на Неве. И все же сильно зябли мы в этом сарае и еще больше болели всевозможными видами гриппа.

Кормили белую армию французы, под флагом Франции и нашла она прибежище на этом унылом кусочке турецкой территории. Потом мы перебрались в долину, изобиловавшую ящерицами, черепахами и змеями. Здесь были расставлены светло-зеленые палатки, и в них поселились люди все еще с соблюдением чинов, воинской дисциплины, ее правил, странных в применении к бывшей армии.

Матрасы наших самодельных постелей были сплетены из необыкновенно гибкой лозы. Так было у солдат; офицеры устроились немного комфортабельнее.

В тесноте жили в палатках солдаты и офицеры. Невесело было там и не очень дружно. Одни хотели подальше отойти от военных порядков, установленных генералитетом, хотели чувствовать себя свободными и независимыми, хотели искать путей к самостоятельной жизни. Другие, наоборот, стремились поддержать усилия наших генералов к сохранению армии.

Были, наконец, и такие, кто посматривал на родной север. Кто-то подумывал о полном пересмотре жизненного пути. То были те, кто вскоре после галлиполийского сидения примкнул к так называемым «сменовеховцам», людям, ищущим возврата на родину, сторонникам прямого, недвусмысленного отказа от любой эмигрантской идеологии. Встречались они и в моей батарее. Свои настроения они тогда полускрывали; во всяком случае не высказывали их полностью. В Галлиполи это было невозможно.

А сейчас вспоминаю наши галлиполийские вечера и продолжительные беседы после более чем скромного ужина.

Как-то в одном из городков Северной Таврии пришлось нашим батарейцам провести два-три дня в доме старого священника, уцелевшего чуть ли не чудом в этом местечке, где сменилось столько властей. Тогда наш разговор с ним хотя и произвел большое впечатление и даже возмутил некоторых из нас, но все же был вскоре забыт под гром батарей, под дробь пулеметных очередей.

А вот здесь, в Галлиполи, мы еще раз его вспомнили и даже крупно поспорили, почти поссорились, разбирая его слова, сказанные за несколько месяцев до нашей эвакуации.

Священник, приютивший нас у себя, был, по-видимому, человеком совсем не ординарным и совсем не типичным для его среды. Накормив нас довольно обильным ужином и познакомив со своей молчаливой, неприветливой женой, он заявил:

— Знаете, мой сын тоже в белой армии, да и дочь где-то там со своим мужем-офицером. Только не радует это меня, не жду я от вас ни успехов, ни пользы для дела.

— Каких успехов? И какой пользы?

— Успехов,— ответил священник,— каких успехов? Да тех, которых ждет белое воинство. Занятия Москвы и свержения большевиков. Нет, никогда вы этого не сделаете. Разве вы не понимаете, насколько вы слабее красных? Почему, хотите знать, слабее? Да потому, что страна, почти все ее население с красными и против белых. С красными,— поучал нас священник,— даже те, кто не согласен во многом с большевиками, все те, кто за революцию, а за нее девяносто процентов населения. С белыми же те, кто против нее, а их мало, их не более десяти процентов.

Я очень хорошо помню, как обозлил нас бородатый крымский священнослужитель. И удивил. Он и сам, вероятно, заметил произведенное им впечатление и тут же поспешил оговориться.

— Смотрите, не думайте, что я веду тут какую-то пропаганду, а то ваши контрразведчики заподозрят во мне красного агента в длинной рясе и с крестом на груди. Нет, я совсем не агент и совсем вас не агитирую. Я только говорю о том, что мучает меня по ночам, отчего я плохо их провожу и по утрам с трудом поднимаюсь с постели.

— Простите меня, старика, простите великодушно,— твердил он нам,— но ваши порядки никому тут не дороги. И вы, может быть, сами не знаете, для этого вы очень молоды, за что вы ведете ваш жестокий бой, но я уже вижу, куда идет дело. Белая армия, хотят этого ее солдаты или нет, несет за собой старые порядки, старый режим. Это не принесет пользы и радости русскому народу. Может быть, нам и жилось бы в случае вашей победы неплохо, но недолго шла бы такая жизнь. Новая волна снова смыла бы и вас, прежде всего, а потом и нас за вами.

Батюшка был уверен в том, что путей к прошлому, еще совсем недавнему уже нет.

Мы тогда много о его словах не думали. Помню, один из наших добровольцев резко обрезал, как он сказал, «старого попа». Многие из нас действительно не считали, что мы боремся за старую Россию, были раздражены и озлоблены его утверждениями. Другие спешили из этого, оказавшегося не совсем понятным дома назад в свою часть, к привычным военным порядкам.

В Галлиполи мы вспомнили этого удивительного нашего «просветителя». Некоторые — нехорошим словом, а другие — с большим раздумьем. «А ведь батька-то, каналья, кажется, был прав»,— говорил полтавский кадет Нечкин, один из наших вольноопределяющихся. На просторах Украины и Северного Крыма он был исправным солдатом. Ни в одном бою не дрогнуло его сердце, и, несмотря на молодость, он был надежным и верным пулеметчиком. А вот тут, в Галлиполи, он, как тогда у нас говорили, скис, ходил задумчивый, рассеянный, при парадах отговаривался нездоровьем, просился на осмотр в лазарет, где у него особых болезней никто не находил.

Однажды, когда мы с ним бродили по склонам маленьких холмов, обрамлявших унылую долину,— мы там резали лозу, которую потом носили на базар и продавали за пару пиастров, чтобы купить все тот же белый хлеб и халву,— он мне сказал: «Знаешь что? Я тут долго не выдержу. Мне тут все не нравится. Воевал я честно, а теперь тебе честно скажу — хочу домой».

Я ему возражал. Я не говорил, что «белое движение» продолжается, но что наша непримиримость продолжается был уверен. «Какая непримиримость? — спрашивал Нечкин.— Чего она стоит и куда с ней идти?» Впрочем, он меня не убеждал, не звал с собой. Он просто мне тогда в кустарниках, где шуршали ящерицы и иной раз мелькали змеи, опасные в этих местах, доверился сердцем. Как сложилась его жизнь дальше, я не знаю. Он писал куда-то письма и однажды пришел к командиру нашей части и показал ему письмо своего старшего брата, звавшего его в Константинополь. Ему удалось уехать, а мы продолжали нашу жизнь.

В счастливые для нас минуты мы заслушивались песнями Н. В. Плевицкой, щедро раздававшей тогда окружающим ее молодым воинам блестки своего несравненного таланта. Эта удивительная певица, исполнительница русских народных песен, тогда только начинавшая немного увядать, высокая, стройная женщина была кумиром русской галлиполийской военной молодежи. Ее и буквально и в переносном смысле носили на руках. Она была женой одного из наиболее боевых генералов белой армии.

В Галлиполи я еще не мог прочесть интересной автобиографии Плевицкой, где она рассказывает о начале своей жизни, о том, как полуграмотная крестьянская девушка из Курской губернии стирала в одном из московских дворов белье, а сидевший у окошка купец, попивавший густой чаек с вареньем, услы-

шал внизу во дворе своего дома необыкновенный ее голос, а главное — необыкновенный исполнительский талант и темперамент. Он встрепенулся, позвал к себе прачку, заставил петь курские и волжские песни.

Больше Плевицкая не стирала. Она училась пению; не прошло и двух лет, как в Царскосельском дворце бывшая прачка исполняла свои песни перед последним русским императором, а он, рассказывают уже другие авторы, низко опускал голову и плакал.

Попадались изредка и книжки, и мы имели тогда возможность убедиться, что еще не разучились читать, а вот какой-нибудь политической литературы на злобу дня я что-то не помню. Все это в изобилии появилось перед нашими глазами уже позже, когда зеленые палатки галлиполийского лагеря ушли в прошлое.

Разрыв

Мы маршировали на военных парадах, которые принимал барон П. Н. Врангель или ближайший его помощник генерал А. П. Кутепов. Маршировали старательно, но лично у меня была удивительная склонность, заглядевшись на происходящее вокруг, ломать ряд. За это мне и доставалось.

Большинству или, скажем, очень многим была тогда ясна унылая бессмысленность военных упражнений, парадов, походных тренировок, изучения уставов... Для высшего командного состава во всем этом был прежде всего какой-то личный смысл, но для массы — абсолютно никакого. Кстати, идеология продолжающегося за рубежом «кубанского похода» вовсе не была столь характерной для Галлиполи. Там преобладало уныние и растерянность. Только потом, когда военная эмиграция рассеялась, осев в разных странах, идея продолжающейся белой борьбы опять стала довольно живучей среди большей части бывших белых воинов.

Зима в Дарданеллах, конечно, совсем не такая, как наши русские зимы; мы почти поголовно болели какими-то злокачественными простудами и слабели. Под завывание частых восточных ветров и шум прибоя, лежа в полуразрушенных домах города на наскоро сколоченных нарах, где приходилось бороться прежде всего со вшами, а затем в палатках военного городка, где уже не было вшей, но не было также и хлеба в достаточном количестве, мы мечтали часто о том, как бы попасть в госпиталь.

Я после тяжелого гриппа попал в лазарет Белого Креста, расположенный прямо в городе на невысоком склоне. Из окон этого, казавшегося мне весьма благоустроенным, а на самом деле совсем убогого лазарета открывался вид прямо на пролив. Меня пригрели добрые и милые русские женщины-врачи и сестры. По правилам мне бы надлежало пробыть в стенах этого лазарета

недельку, может быть, две, а меня там оставили до самой весны. Вышел я оттуда совсем другим, набрав сил и восстановив здоровье. Правда, приходилось прибегать и к плутовству. Меня быстро научили, как следует обращаться с градусником, чтобы он показывал нужную температуру. Одна из сестер, подолгу засиживавшаяся по вечерам на моей постели, подробно рассказывала и о своей жизни в Орле, и о своем отце, расстрелянном за контрреволюцию, и о своем муже, которого она давно потеряла из виду, и о том, как ей одиноко и тоскливо в этой чужой стране. «И зачем только ты, глупый мальчик,— сказала мне эта женщина, бывшая на несколько лет старше меня,— ушел так рано из дому и где ты будешь теперь шататься по свету?»

Я и теперь помню эти слова, произнесенные при расставании у дверей лазарета, где я наслушался всяких разговоров, о которых еще скажу, и нагляделся диковинных вещей. Помню одного больного тифом, который, когда он выздоровел, оказался очень скромным, благовоспитанным и приветливым капитаном саперных войск и был совершенно потрясен нашими рассказами о том, как вел он себя в дни беспамятства. Поведение его было в самом деле отвратительным: он лежал в большой палате, дни и ночи следя глазами, не войдет ли в эту палату женщина. Как только она входила, раздавалась чудовищная циничная брань. Самая буйная, больная и странная фантазия не могла бы придумать ничего более омерзительного. Сестры и женщины-врачи ходили подавленные, некоторые со слезами на глазах. Один ротмистр какого-то драгунского полка, носящий звучное баронское имя, предлагал даже потихоньку ликвидировать этого сапера, создававшего непереносимую обстановку.

Одним из моих соседей был одно время веселый, немолодой ротмистр, кадровый офицер одного из известных гусарских полков. Это был искушенный жуир, совсем как и полагалось павлоградскому гусару. Он любил скользкие и просто неприличные анекдоты, которых знал множество; любил пококетничать с благоволившей к нему женщиной-врачом нашей палаты, был любим обслуживающими нас сестрами, с которыми в самом деле сумел установить милые отношения.

Так бы оно и шло, и я не стал бы его вспоминать, если бы к нам в палату не привезли угрюмого и раздраженного полковника - корниловца, прошедшего всю гражданскую войну, много раз раненного и всегда возвращавшегося на фронт, иногда с еще не залеченной раной. Это был настоящий боевой офицер, один из тех, кто во весь рост, не сгибаясь под пулями, ходил в атаку с папиросой во рту и с револьвером или стеком в руках. Один из тех, кто не знал жалости ни к себе, ни к своему врагу. Один из тех, кто не знал также и страха.

Полковник, угрюмо оглядевшись в нашей небольшой палате, как-то сразу невзлюбил жизнерадостного гусара. Очень скоро

между ними завязалась перепалка, а в сущности политический диспут. Корниловский полковник вспоминал всю историю белой борьбы. Он участвовал в первом походе под командованием генерала Корнилова и горько сетовал на наступившее потом, как он говорил, «разложение белой армии». Он объяснял его тем, что генерал Деникин оказался слаб, что в нем не было той твердой воли, которая характеризовала непреклонного Корнилова. Он считал, что если бы первый руководитель белой армии не был убит под Екатеринодаром, судьба этой армии сложилась бы иначе. Корнилов довел бы ее до стен Кремля. Полковник не был также и поклонником Врангеля, считая, что этот гвардеец-аристократ увел свою армию и политическое ее окружение куда-то в сторону от корниловской линии. Куда? Он точно определить не мог, но, видимо, курс Врангеля казался ему в чем-то важном неверным, в чем и как, он не говорил. Кроме того, он не одобрял приема в армию «случайных», как он говорил, людей, а тем более не одобрял попыток мобилизации. Он хотел, чтобы эта армия была немногочисленной, но состояла из таких же непреклонных и суровых людей, ни перед чем не останавливающихся и ничего и никого не жалеющих, в том числе и себя, каким был сам. В отходе от этого принципа он и видел основную причину поражения. «За что мы боролись? — говорил он угрюмо, нескладно и убежденно,— ясно каждому: за великую Россию».

А изящный гусарский ротмистр, хотя и покачивал сочувственно головой с далекой, стоявшей в углу койки, но, видимо, не разделял настроений полковника.

— Какая там «великая Россия»,— возражал он,— у нас была не «великая Россия», а великий б... Я помню, как главнокомандующий генерал Деникин стыдил одного из руководителей донской армии генерала Секретева за постоянное пьянство, а тот прямо тут же в строю при всех нас так ему и отмочил: «Как же, ваше высокопревосходительство, тут в этом сумасшедшем доме не пить, тогда надо с ума сойти, а мне этого не хочется».

— И что же Деникин? — мрачно спросил полковник.

— Да ничего,— ответил гусар.

— Жалко, надо было ему велеть расстрелять вашего подлеца Секретева или тут же застрелить его лично из собственного револьвера, тогда дела шли бы иначе.

И сейчас помню, как после этих слов подскочил ротмистр на своей узенькой койке.

— Нет, полковник, нет, не в этом беда. Мы немало расстреляли кого нужно и кого не нужно, не в этом дело.

— А в чем же? — еще мрачнее, со скрытой угрозой в голосе и вместе с глубокой тоской спросил полковник.

— А в том,— продолжал своим еще звонким тенором веселый гусар,— что не было у нас от первого и до последнего дня вождя. Не был им и ваш Корнилов. Не сердитесь, я знаю, он был храбр,

готов к жертве, но что в этом пользы? Разве вы знали, за что боретесь в первом походе? Вы говорите за великую Россию? Но за нее же был и генерал Брусилов, главнокомандующий в ту войну, он потом пошел с красными, и многие другие офицеры и генералы, также оказавшиеся у них, а не у нас, и тоже во имя великой России. Нет, не в этом дело, это не лозунг, который отделял бы нас от красных.

Полковник почти что рассвирипел, и помню, с каким волнением, чуть не страхом, слушал я этот горький спор двух кадровых офицеров старой русской армии, не жалевших своих сил в белой борьбе и теперь злобно посматривавших друг на друга в поисках объяснения случившемуся.

— Беда наша,— уже почти кричал ротмистр,— в том, что красные знали, за что борются, а мы или совсем не знали или боролись каждый за свое. Вы за «великую Россию», наши офицеры-гусары за царя-батюшку, наши солдаты из хуторов, из богатых мужиков, за свою землю, которую отнимали в коммуну, наши добровольцы-студенты за Учредительное собрание или черт его знает за что, жандармские полковники за полицию, по их правилам устроенную, наши болтуны-политики за Государственную думу, а помещики за свои усадьбы.

Слушал я, слушал этот спор и все ждал, как и другие в палате, что вот-вот он перейдет в открытую перебранку. Однако корниловский полковник вдруг резко оборвал беседу словами:

— Ну, посмотрим, как пойдет жизнь дальше. Сомневаюсь, чтоб о нас не вспомнили. Наша армия нужна не только России, но и всей Европе, заинтересованной в ликвидации большевизма, пока он не шагнул далеко за русские границы.

— Исчерпано, господин полковник,— ответил гусар,— будем ждать, что станет со всеми нами в дальнейшем.

В палате все притихли, все, в том числе и мы, совсем молодые, как-то ушли в себя, задумались, тяжело задумались. Потом ночью, прислушиваясь к завываниям ветра, гулявшего над Дарданеллами и Мраморным морем, я вспомнил покрытые первым снегом широкие поля Киевской губернии и небольшой провинциальный городок Белую Церковь, расположенный на пути в Одессу.

Много там в декабре 1919 года после оставления белыми Киева скопилось разного люда. Нашел и я кратковременное пристанище в одном расположенном на окраине городка домике почти деревенского вида. Хозяйка была обременена постоянно сменяющимися постояльцами и неохотно пустила меня обогреться на ночь, но потом, присмотревшись к моей молодости, немного расчувствовалась, очевидно, пожалела. Вытащила из печи остатки очень скромного ужина и, немного подкормив меня, начала надо мной причитать, вроде как над безвременным покойником.

— И что вы себя маете, и нам всем тут покоя не даете,— причитала украинская женщина.— К царскому режиму поворота уже не будет. Жизнь как-то утрясется, и незачем убивать друг друга.

— Народ-то вы все молодой, посмотрите на себя, сколько вам?.. Вот видите,— продолжала она,— растила вас мать, растила, а теперь, может, и не увидит. Убьют где-нибудь ни за что ни про что. У меня тоже сынок на войне.

Я не решился спросить хозяйку, где же у нее сын: у красных, петлюровцев, махновцев или в полках Деникина.

Она продолжала меня увещевать: не все на свете делается, как того кто хочет. Были помещики и очень плохие, и получше немного. Были и хорошие, добавляет она для меня, правда, без особой уверенности в голосе, но только сколько бы крови белые ни пролили, а назад «господа» не вернутся. Народ теперь за свою долю поднялся и к старому не допустит.

Так понимала она нашу борьбу вокруг Киева и Белой Церкви, когда в снежную декабрьскую пургу в двери ее халупки на окраине заброшенного городка приднепровской Украины стучали поочередно то белые, то красные, то петлюровцы.

Женщина, как сама мне сказала, давно потеряла жалость, а то бы и жить нельзя было, и все-таки бабье ее сердце грустило по проливаемой крови, а цепкий крестьянский ум подсказывал ей тот единственный путь, которым может пойти революция и которого не понимали белые офицеры не только тогда у Белой Церкви, но и много позже, уже после своей катастрофы, в госпитале Белого Креста на берегах Мраморного моря.

Выйдя из госпиталя, я твердо решил воспользоваться первой же возможностью для того, чтобы распрощаться с армией, с ее ставшей ненужной и смешной военной дисциплиной, с ее чинопочитанием и всем тем, что стало мне тягостным и глубоко неприятным.

Не только свойственная мне в молодости активность натуры не позволяла удовлетворяться галлиполийским сидением и звала к самостоятельной, независимой жизни, но и мое глубокое разочарование в нашем «белом» деле делало для меня беспредметным пребывание в палатках лагеря. Я тогда, может быть, всего только за месяц до моего ухода из армии случайно встретился в палатках корниловских офицеров с двумя моими товарищами по гимназии, друзьями юношеских лет; один из них был даже моим одноклассником и первым в классе учеником. Это были дети известного естествоиспытателя и путешественника. В белую армию они попали сразу же при ее формировании, были, как тогда говорили, «первопоходниками» — участниками похода, закончившегося гибелью Корнилова при попытке его во что бы то ни стало взять красный Екатеринодар.

Братья были непоколебимы в своей уверенности, что белая армия должна быть сохранена, что ей предстоят еще новые походы и новая борьба. Я говорил им, что этого случиться не может, что мы проиграли окончательно, и предлагал вместе искать путей в жизни. Несмотря на всю нашу дружбу, несмотря на близость в школе и близость домами, они решительно это отвергли и встречали меня хотя и дружески, но уже настороженно, говоря, что я вступаю, как выразился старший из них, дослужившийся уже до капитанского чина, на наклонную плоскость.

Как-то в начале лета 1921 года я пришел в город, чтобы в очередной раз купить белого хлеба, и прочел объявление французских властей о том, что все желающие офицеры и солдаты армии генерала Врангеля могут в такой-то день погрузиться на пароход, который отвезет их к берегам Болгарии с тем, чтобы эти люди начали там самостоятельную жизнь. Я прочел это объявление и решил сразу, что обязательно воспользуюсь этой возможностью.

Явившись к командиру батареи, я прямо ему сказал о своем намерении. В те дни командование остатками врангелевской армии не могло, учитывая реальное положение вещей, противиться распоряжениям французов, на попечении которых была армия, но все же оно решило сделать все возможное, чтобы не допустить распада своего войска. Полковник Шатилов, выслушав мои слова, на минуту задумался, потом поднял на меня свои красивые карие глаза и сказал: «Вы можете идти и погрузиться на пароход, но всякую ответственность за вашу судьбу я с себя снимаю... Вы делаете рискованный шаг, смотрите, может кончиться плохо».

Взяв под козырек, я еще раз заявил о своем настойчивом желании. «Оставьте шинель и вещи»,— бросил мне вдогонку полковник.

Вещей у меня не было, а шинель в начале лета казалась мне совсем ненужной. Простившись с товарищами, я — единственный из нашей батареи — отправился из лагеря в город к пристани, откуда перевозили на пароход, стоявший на рейде. Однако скоро я убедился, что на главном шоссе стоят офицерские заставы, проверяющие идущих в город. Я пробрался в него прямо по берегу моря и вышел на пристань, где толпились желавшие погрузиться на пароход солдаты и офицеры. Подойдя ближе к лодке, заполненной уезжавшими, я увидел на маленьком трапе двух офицеров Марковского полка. Они проверяли документы людей, покидающих Галлиполи. Когда очередь дошла до меня, рослый капитан негромко, сквозь зубы приказал: «Вернитесь обратно — и сейчас же — в вашу гвардейскую батарею».

Момент был напряженный и психологически тяжелый. Мне не оставалось ничего другого, как обратиться к лейтенанту французской армии за содействием. Лейтенант сделал широкий жест

и указал на лодку: «Проходите». Капитан-марковец крикнул мне в спину: «Снимите погоны».

Так я оказался на турецком судне «Кирасон», увозившем одиночек-галлиполийцев в неизвестное будущее. Галлиполийская страница моей жизни была перевернута.

Одним из таких одиночек был задумчивый доброволец-корниловец. Я знал его ближайшего командира, с которым даже одно время дружил. С этим добровольцем мы подружились и вместе провели тревожные дни на пароходе «Кирасон».

Это был, как я сказал, задумчивый юноша из Москвы, сын педагога, очень грустивший из-за отрыва от семьи и родителей. Как он попал в белую армию, почему он в ней воевал, он как-то сам толком сказать не мог и только потом в Болгарии, вздохнув полной грудью, изложил мне свои тревоги.

— Знаете, я чувствую себя тут свободным, а в белой армии не только не было свободы, вероятно, в армии вообще не бывает свободы, но мы также и не несли с собой свободу. Я не знал, что это будет так, а вот мой отец в Москве глядел дальше. Он меня предупреждал, что белая армия именно такая, какой она на самом деле оказалась. А я этому не верил, не хотел верить!

Увидел ли когда-нибудь мой приятель родину, не знаю. Я скоро потерял его из виду.

«Кирасон» зашел на остров Лемнос и погрузил донские казачьи части генерала Гусельщикова. Тут была принципиальная разница. Казаки переезжали в Болгарию как воинская часть, правда, вскоре там совершенно распылившаяся; мы же были дезорганизованными одиночками, самовольно оставившими свои полки и батареи.

В Константинополе мы вскоре почувствовали эту разницу.

Прибыв на «Кирасон», Врангель обошел его корму, занятую казаками, дружно кричавшими «ура», принял рапорт Гусельщикова, а к нам не зашел.

Только издали мелькнула его высокая, стройная фигура с быстрыми, как бы порывистыми, нервными, повелительными движениями. Внешность Врангеля была эффектна. Обычно он был затянут в черную черкеску, не очень гармонировавшую с вытянутым, худым, аристократическим лицом, с глубокими преждевременными морщинами. Врангель совсем не был похож на кубанского или терского казака, а ведь именно они носили черкески, но он хотел быть похожим, а может быть, и был, правда, внешне только, на крутого, решительного «вождя». Он крепко запечатлевался в памяти даже у людей, не слишком его любивших.

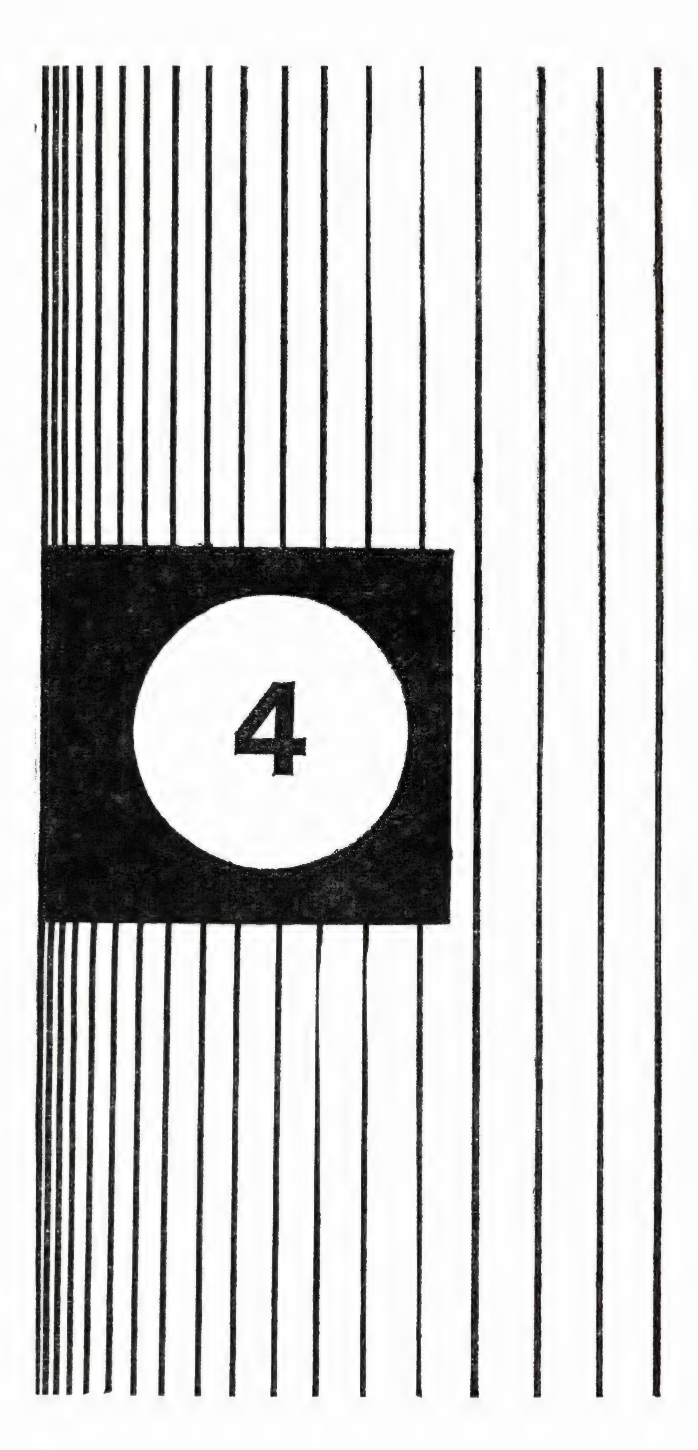
Надо сказать, что в южной белой армии существовало как бы два лагеря: одни были более преданы Деникину, другие — Врангелю. Одним был более по душе армейский «демократизм», другим — гвардейская подтянутость, строгая манера последнего главнокомандующего белой армией.

Как потом передавали нам казаки, Врангель, уходя, бросил фразу о большевиках, бегущих из Галлиполи. Всерьез мы эту фразу тогда не приняли, но, когда прибыли в южный болгарский порт Бургас и Гусельщиков сошел на сушу со своими частями, для нас путь был прегражден. Болгарская полиция не хотела иметь дело с галлиполийскими «большевиками», и нам было сказано, что это же турецкое судно доставит нас в Одессу. Не знаю, были ли среди нас тогда «сменовеховцы». Громадное большинство представляли люди, просто убедившиеся в окончательном провале «белого движения» и желавшие фактического и формального с ним развода. В Одессу они не хотели.

Началось волнение, приведшее к тому, что бывшие на пароходе старшие офицеры организовали из нас «галлиполийские сотни», которые Гусельщиков охотно принял в Гундоровский донской полк с одним лишь условием: мы должны были вместе с его частями принять на следующий день участие в параде перед французской и английской военными миссиями. Это был выход из положения. Так оказался я среди других покинувших Галлиполи офицеров и солдат на болгарской земле.

Генерал Гусельщиков и телом и духом был настоящий донской казак, человек, крепко стоящий обеими ногами на земле и не умевший витать в эмпиреях. Когда я явился к нему после парада и заявил, что хочу расстаться с галлиполийской сотней его донского полка, он как-то задумчиво улыбнулся, потом беспечно махнул рукой.

— Идите, голубчик, куда хотите, хотите в Софию, хотите в Париж, если доберетесь. Там, говорят, кое-кто из наших офицеров на такси ездит. Что вам тут казенных щей добиваться, их тоже долго давать не будут.


4

НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

*Горек хлеб изгнания и круты
чужие лестницы.*

ДАНТЕ

Эмиграция... Годы, бесконечные годы за рубежом отечества. Они начались для меня и многих моих товарищей в ранней молодости, когда, как говорится, молоко на губах не успело еще обсохнуть.

Недавно в Москве один приятель юных лет, рассуждая о моем жизненном уделе, сказал мне: «Пеняй, брат, на себя... Вспомни 1919 год, вот когда надо было думать».

А мне кажется — это все же не совсем так. Меняются годы, и наши представления о многом меняются вместе с ними. 1919 год совсем не определяет сегодняшнее кредо ни моего, ни многих из тех, кто был тогда рядом со мной. Судьбоносный и роковой для нас год давно ушел в вечность. Ушли и страсти, им владевшие. Об умирании «белой идеологии» уже немало говорилось и многое еще будет сказано.

Наступил еще один крутой перелом в моей жизни. Закончилось ношение погон солдата белой армии. Начал я служить в ее рядах добровольно, мало того, с верой в белое дело, в его правоту. Потом служба эта стала вынужденной, еще дальше — опостылевшей. Я не то что ясно понимал, но скорее отчетливо ощущал, что белая борьба проиграна безвозвратно и что проиграли ее белые совсем не случайно; что они при их позиции и поведении и не могли ее выиграть, как нельзя, произвольно переводя стрелку часов, превратить вечер в утро и закат солнца счи-

тать его восходом. Вчерашним днем нельзя заменить день сегодняшний, а тем более завтрашний.

Однако мое тогдашнее понимание действительности было все же очень ограничено. Я совсем не чувствовал огромной творческой силы Октябрьской революции, оставаясь ее противником. Совсем не понимал и того, что социалистический строй в самом деле открывает дверь в будущее. И еще очень важный момент, может быть, дававший возможность жить оптимистом: не понимал я, что случилось нечто страшное, что я попросту за бортом России.

Словом, распрощавшись с офицерской галлиполийской сотней Гундоровского донского казачьего полка, я опять независимым и свободным, как ветер, молодым интеллигентом с любопытством, но без всякого страха за свою судьбу осматривался вокруг себя. Нужно было найти себе местечко под палящим болгарским солнцем. Но и не только это: необходимо было внутренне определить свое место в окружающей меня общественной среде, среди многочисленных, но вовсе не единых эмигрантских рядов. Так я уже, вероятно, устроен, что обязательно должен определить в этом смысле свое место в жизни.

Если я этого места не нахожу, если чувствую, что нахожусь не там, где нужно, не на своем месте, я несчастлив и мне холодно. И это так, как бы ни грело южное солнце, как бы крепки ни были стены в зимнюю непогоду, какие бы ласковые женские глаза ни смотрели на меня, как бы ни благоустроена была моя жизнь. Впрочем, особенно благоустроенной она никогда не была.

Так вот, в жаркие летние дни 1921 года я на южноболгарском бургасском пляже. В кармане ни одного денежного знака ни в какой валюте. Нет и документов о том, кто я, собственно, такой; ни одной такой бумажки я не вывез за границу.

Но в двадцать два года человек не боится жизни. Первые ночи я и мои товарищи по странствию провели на пляже, зарываясь от ночной прохлады в песок, делая из него же под головой мягкую податливую горку-подушку.

По утрам мы шли наниматься на поденную работу — разгружать суда, приходящие в Бургас. Не очень удачно, чтобы не сказать совсем неудачно, участвовали мы в разгрузке, но что-то нам платили, весьма, правда, немного.

Было голодновато и не очень спокойно: болгарский постовой полицейский, дежуривший возле пляжа, посматривал на нас крайне неодобрительно. Судьба мне тогда помогла: я узнал, что в Софии живет отец моей будущей жены. Он меня взял к себе, оформил мое эмигрантское существование и устроил на работу.

В те немногие месяцы, что я прожил в Софии, пришлось испробовать ряд профессий, притом все без особенного успеха.

Я побывал кухонным мужиком в одном большом, но быстро прогоревшем эмигрантском ресторане, где генеральские дочки

разносили посетителям русские блюда, а одна знатная и недавно еще очень богатая помещица заведовала кухней с апломбом и уверенностью не всегда удачными. Однако резать по утрам десятки цыплят, ощипывать их и потом мыть множество кастрюль и сковородок мне не очень хотелось. Платили к тому же главным образом обедами и ужинами, а я и аппетит потерял в большой кухне, полной шумной перебранки между ее шефом и официантками.

Попробовал стать строительным рабочим; платили неплохо, а работали в те времена не очень усердно. Болгарские рабочие встречали нас более чем сдержанно, но, увидев, что нам в самом деле нечего есть и что мы действительно стараемся заработать кусок хлеба и приспособиться к новой жизни, все же в свою среду принимали без протеста.

Был я также работником огорода и даже помощником представительницы парижской газеты «Общее дело». Издавал ее известный в эмиграции человек, своеобразный и какой-то несуразный — В. Л. Бурцев.

Когда-то он пользовался широкой популярностью, специализировавшись на разоблачении агентов царской полиции в рядах левых по тем временам партий. Так он, в частности, раскрыл, использовав, правда, удивительно благоприятный случай, Азефа, известного провокатора в боевой организации эсеровской партии.

После Октябрьской революции Бурцев стал крайне непримиримым ее противником, не хотевшим хотя бы одним глазком посерьезнее, поспокойнее и потверже присмотреться к действительности.

Вскоре мне пришлось побывать в Париже и увидеть Бурцева дома, тогда уже старого, высохшего человека. Жил он в крохотной комнатке третьеклассной гостиницы, у него было холодно, бедно, грязно, неустроенно. Сам же Бурцев был полон фантастических планов.

Он был занят днями и ночами, занят ни более, ни менее, как... свержением советской власти. Одной из своих задач он считал при этом разоблачение агентов советской разведки в рядах эмигрантов. Однако на этом поприще он не прославился.

Бурцев издавал вначале ежедневную газету, ставшую потом еженедельной; позже перешел на журнал, еще позже на маленький журнальчик, выходивший от случая к случаю, когда заводились деньги. Бурцев был тщеславен, но бескорыстен. Он предпочитал голодать, но от своей фантастической «миссии» отказаться не мог. Вероятно, он в самом деле в нее верил, а может быть, только принуждал себя верить, чтобы хоть немного скрасить последние одинокие годы старости, придав им как бы смысл и значение.

Я и сейчас помню его комнатку, кипы газетных вырезок на двух стульях, которые он тщетно стремился разгрузить, чтобы посадить гостя и сесть самому. Помню его речь, настойчивую, уверенную и настолько лишенную приводного ремня к реальной жизни, что и я, несмотря на молодость и неопытность, все же это отчетливо ощутил. Мы ведь тогда пришли прямо с фронтов гражданской войны, а там жизнь учила очень и очень доходчивыми методами.

Работа моя для «Общего дела» была чисто канцелярской, меня она не радовала. И сама газета была не по сердцу. Душу я отводил в созданном нами Союзе русских студентов.

Надо сказать, что весной 1918 года я закончил обучение в гимназии и успел поступить на юридический факультет петроградского университета. Однако обучаться там мне не пришлось. Только за границей можно было об этом думать.

Мы, студенты-эмигранты, хотели продолжать наше обучение. Попыткам в этом направлении, в первую очередь, и был занят наш союз. Так уже в первые месяцы эмиграции я с увлечением занялся общественными делами. Мы искали связи с болгарской студенческой молодежью.

По улицам Софии тогда, как и теперь, ходили молодые девушки с большими темными глазами, с красивыми черными волосами и сильным телом, окрепшим где-то там, вне города, среди тишины жарких болгарских полей.

Вот и я познакомился с такой девушкой — Марой. Мы много вместе с ней гуляли, всегда так, чтобы не знали ее родители, два-три раза робко и неумело поцеловались и подолгу рассуждали обо всем на свете, а особенно о русской литературе, которую оба любили. Не были при этом забыты, конечно, и Инсаров с Еленой.

Что стало потом с Марой? Я совсем не знаю, как прошла ее жизнь. Может быть, она водит сейчас по улицам Софии своих внучат, присматриваясь умными, горячими глазами к новым путям страны. А может быть, Мара уже давно ушла из жизни.

В те годы нравы в Болгарии были не только строго патриархальными, но и с сильным восточным — турецким оттенком. Женщина, решившаяся прогуляться с «чужим» мужчиной в софийском парке, считалась уже погибшим созданием.

Однажды чересчур усердная и по-провинциальному наивная софийская полиция хотела задержать за безнравственное поведение женщину, сидевшую вечером в парке на уединенной скамеечке с молодым человеком в штатском платье и кокетливо с ним беседовавшую. Дама эта оказалась англичанкой, а молодой человек французским офицером, приятелем ее мужа. Англичанин, занимавший к тому же дипломатический пост, устроил большой

скандал, и властям пришлось приносить извинения, объясняя ему обычаи своей страны.

Я сказал, что мы искали близости с болгарскими студентами. Однако близость эта совсем не получалась. Мы были слишком во власти только что пережитого, чтобы попасть в ногу с кем-либо, не прошедшем того же пути. Тогда же я, как и другие русские эмигранты, попавшие в Болгарию, почувствовал и понял, что болгарское общество разделено на две сильно расходящиеся группы — русофилов и германофилов. Конечно, оно не менее остро расходилось по другим признакам, что привело вскоре к драматическим событиям. Политическая обстановка, сложившаяся тогда в стране, эти расхождения легко объясняла.

Лично мне пришлось по нашим студенческим делам быть принятым министром народного просвещения и я был просто ошарашен грубой прямотой, с которой он выражал свою антипатию к нам как, белогвардейцам.

Тогда во главе правительства Болгарии стоял довольно яркий человек. Это был А. Стамболийский — лидер Болгарского земледельческого народного союза, партии, опиравшейся на мелкое и по преимуществу среднее крестьянство. Вследствие этого он никак не мог сочувствовать разбитой белой армии, но у себя в стране он вел борьбу с коммунистическим движением, и поэтому его каолиционное правительство все же приютило белых. Вскоре — меня уже тогда не было в Болгарии — в стране произошел государственный переворот. Стамболийский был убит, и к власти пришел лидер правых буржуазных кругов Цанков, при котором эмигранты чувствовали себя прочнее.

Пришлось мне также все по тем же студенческим делам быть представленным человеку, тогда в Софии очень влиятельному, обладавшему необыкновенно живописной внешностью. Это был в полном смысле слова красавец. Жгучий высокий стройный брюнет с огненными пронизывающими глазами — иерарх болгарской православной церкви, широко известный также за пределами страны архиепископ Стефан.

Меня предупредили, что у архиепископа полагается подходить под благословление — целовать ему руку. С детских лет я был приучен целовать руки дамам, а вот священникам и епископам не приходилось. Делать этого очень не хотелось. Однако надо было соблюсти этикет, и я так поцеловал руку Стефана, как это полагалось сделать почтенной пожилой даме. Он вдруг ко мне наклонился и очень мило сказал на неплохом русском языке: «И совсем не так вы это делаете. Я ведь иерарх, а не ваша тетушка и не знакомая ваших родителей». Стефан мало что сделал для русских студентов в Софии, но его ориентация была в целом русофильской.

Тени минувшего

Недолго продолжалась моя неустроенная, беспокойная жизнь в болгарской столице.

Открывалась новая страница долгих эмигрантских лет, теперь уж «во глубине» Европы. Тут прежде всего должна быть названа столица Чехословакии — Прага. Та самая чудесная Прага, где прошло две трети моей жизни, затем следует Париж, бывший центром русской антисоветской эмиграции. В этом прекрасном, незабываемом городе мне пришлось много раз бывать, а также и жить продолжительное время.

В сентябре 1921 года пришла в Софию весть, сильно взволновавшая всех бывших русских студентов, мечтавших о возврате — хотя бы и за границей — в университетские стены: в Праге будут учить русских студентов. Новость эта была сначала неясной, казалась нам недостоверной, но потом она очень скоро полностью подтвердилась. Мало того, Русский студенческий союз, в котором я был тогда заместителем председателя, получил приглашение в Чехословакию на съезд всего русского эмигрантского студенчества, созываемый на октябрь 1921 года.

Ряды нашей организации начали тогда быстро пополняться. Записывались самые разные люди. Однажды пришел скромный молодой человек, заявивший себя всего лишь абитуриентом. Студентом в России не успел стать. При ознакомлении с документами он оказался... боевым генералом казачьих войск. Думал генерал, думал, что ему теперь делать после поражения белой армии, и решил сесть за студенческую скамью.

На общем собрании союза была избрана делегация в Прагу на очень интересовавший нас съезд студентов. Наконец мы, члены делегации, двинулись в путь. О Праге мы имели только самое смутное представление. В самом деле, много ли знали о западных славянах — о чехах — средние русские интеллигенты того времени, а тем более мы, зеленая молодежь, еще недавно целиком поглощенная событиями на родине.

На болгарско-югославской границе в Царибpоде удивительная встреча! Из нескольких товарных вагонов стоящего на запасных путях товаро-пассажирского поезда слышна громкая, оживленная русская речь и военная песня. У водопровода умываются молодые мужчины в столь знакомом англо-русском или франко-русском обмундировании. Оказывается, константинопольская группа русских студентов едет учиться в Прагу.

Белград тогда не очень мне понравился. Он показался мне провинциальным, серым и скучным. В нем не было той приветливости, которая привлекала меня в его милой болгарской соседке. Впрочем, вероятно, здесь была известная предвзятость. Я уже успел в какой-то мере сблизиться с болгарами, которые тогда

еще хорошо помнили балканские споры и войну 1912 года.

От Белграда мы на пароходе поднялись вверх по Дунаю. Наша цель — словацкий главный город Братислава.

С вожделением смотрели мы на обильные яства, подаваемые в нарядном ресторане. Наш общий кошелек очень тощ; он дает нам право лишь на несколько стаканов чаю.

Нашу беседу вдруг прервал подошедший к нам незнакомый аккуратный старичок. «Куда это вы?» — спросил он нас.— «В Прагу, на студенческий съезд».— «А я тоже в Прагу, на съезд профессорский».

Наш собеседник профессор С. К. Гогель первый подробно рассказал нам о том широко задуманном и осуществленном деле помощи русской эмиграции, которое получило потом в Чехословакии наименование «русской акции». Деле, связанном с именами крупных политических деятелей тогдашней Чехословакии, о которых нужно будет еще говорить — К. Крамаржа, Т. Масарика и Э. Бенеша.

Будапешт! Меня тогда мало интересовали архитектурные красоты, но и я почувствовал удивительную, если можно так выразиться, державную красоту этого города, с его дворцами и величественными особняками. Понял редкую прелесть Дуная и тогда же согласился отчасти с теми, кто говорит, что в этом городе не только могучая река, но и весь его облик чем-то напоминает нашу Невскую столицу.

Не буду рассказывать о наших приключениях в Будапеште, о недоумении таможенных властей, когда с парохода сошла странная группа молодых людей, одетых довольно неожиданным образом и несших свой скудный скарб в завязанных узлом одеялах, выданных французскими властями на Галлиполийском полуострове остаткам белой армии.

Но вот мы у конца нашего странствия по Дунаю. Братислава! Это был тогда удивительно веселый город. Таким его, вероятно, сделало смешение «племен, наречий, состояний». Сдержанные, упрямые и настойчивые, часто еще только входящие в жизнь большого города словаки, на которых силен был налет бедной горной деревни, нищеты и отсталости, откуда многие из них вышли в городскую жизнь. Шумные, беспокойные и темпераментные венгры и красавицы-венгерки, охваченные вихрем огненного чардаша; разговорчивые, пытливые и обо всем что-то знающие еврейские торговцы и дельцы; сдержанные и корректные тамошние немцы австрийского типа. Над всем же этим разнородным людским морем как бы дуновение легкой, скептической, веселой и фривольной венской улицы, до которой от дунайской набережной в Братиславе рукой подать.

В словацкой столице мне, как только мы отправились знакомиться с городом, пришлось вести целый диспут о России, которую мой неожиданный собеседник знал по собственному опыту.

Это был чех, когда-то проживший два-три года в старой России в роли пивовара. Он тогда работал на Украине и, по-видимому, считал свою миссию весьма обязывающей и серьезной. Увидев нас, молодых русских людей, шагающих по Братиславе и с любопытством рассматривающих первый чехословацкий город, который им пришлось увидеть, он подошел к нам, потащил нас в уютное кафе и, угощая отменно вкусным венским кофе с горкой взбитых сливок над чашкой, начал беседу о том, как ему жалко русских — и белых, и красных, вообще русских. Жалко потому, что не умеют они ни свои личные дела устраивать, ни порядок в своей стране установить. Живя в России, он, по его словам, в этом на всю жизнь убедился. Словом, это был целый каскад слов на тему из шуточной «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева»: «порядка же вовсе нет»...

Пивовар говорил это с тем нескрываемым оттенком превосходства, с которым западные люди, если только они совсем откровенны, часто говорили в то время с русскими на политические темы, и прежде всего на темы судеб России. Он поучал тому, что напрасно белая армия понесла столько жертв, но вместе с тем говорил и о том, как напрасна была революция, все по одной и той же причине — непрактичности русских, их неумению вершить дела своей страны. Слишком они, русские, говорил он, за все горячо берутся, все слишком за чистую монету принимают, отчего и происходят беды.

Нас это тогда здорово рассердило, и я начал ему решительно возражать, как я это теперь понимаю, не очень умело.

А через восемь часов после Братиславы Прага.

Удивительное зрелище можно было увидеть в те времена на улицах тогда еще совсем не привыкшей к положению столицы, еще провинциальной, хотя и глубоко европейской, тихой Праги. Возле университета и политехникума толпами ходили русские молодые люди, громко говорящие, жестикулирующие, одетые часто в экзотическое сочетание остатков военной одежды и первых атрибутов гражданского платья. Эти люди — русские студенты — с возбужденными лицами, носящими явные следы пережитых глубоких потрясений, принесли с собой в строго размеренную жизнь древней чешской столицы воздух гражданской войны; всю страстность и горечь, накопившиеся в только что проигранной отчаянной борьбе. Схватка была проиграна, но жить нужно было дальше и жить всем хотелось.

Как Чацкий — с корабля на бал. В самом деле, моя эмигрантская жизнь в Чехословакии началась с бала. В первый же день нашего появления в Праге мы отправились на большой вечер в самом нарядном пражском зале, устроенный руководящими кругами чехословацкого общества в честь прибывающих в Прагу эмигрантов — профессоров и студентов.

В широких или довольно широких слоях тогдашнего чешского буржуазного и буржуазно-интеллигентского общества эмигрантов встречали как желанных гостей. Такое отношение исходило прежде всего от лидера партии народных демократов, известного чешского политического деятеля К. П. Крамаржа, представлявшего крупную буржуазию и связанную с ней интеллигенцию.

За годы революции и гражданской войны я как-то совсем отвык от зрелища большого парадного зала, от массы электрического света, от нарядных туалетов. Кажется, именно на этом вечере в Праге я впервые в жизни увидел сотни пар, сплетающихся в танго и других «модерных» танцах. У меня, впрочем, помимо разного рода наблюдений над окружающим, была и своя личная трудная задача на этом первом пражском вечере. Мои единственные брюки, в которых я приехал из Болгарии, украшала сзади предательская заплата слишком светлого цвета. Это меня ужасно мучило. Но выход был найден: я ходил по залу, заложив руки за спину,— молодой мечтатель, ищущий уединения. А хорошо на душе все-таки не было.

На этот бал собрался «цвет» пражского «общества», как чехи говорят smetanka, и в центре общего внимания — недавний премьер страны, один из организаторов подпольной борьбы против Австро-Венгрии, старый сторонник русской ориентации в чешской политической среде — К. П. Крамарж.

Он тогда принял нас, делегатов студенческого съезда, в одном из боковых залов. Это были дни монархического путча в Австрии, и Крамарж был разъярен. «Такую глупость могут во всем мире выдумать только придворные габсбургские круги»,— воскликнул он, обращаясь к нам.

Мы мало что смыслили в среднеевропейском политическом клубке того времени и не знали, как реагировать. О том же, что глупы могут быть не только одни приверженцы Габсбургов, мы были хорошо осведомлены.

В первые годы моей жизни в Праге я много раз видел и слышал Крамаржа и, совсем не будучи его сторонником, следил за его публицистической деятельностью. Странно сложилась политическая судьба этого человека. Приговоренный австрийским военным судом к смертной казни Крамарж сразу же после падения Австро-Венгрии и создания независимой Чехословацкой республики становится ее премьером. Он был популярен прежде всего, конечно, в буржуазной и отчасти буржуазно-интеллигентской среде. Однако не долго оставался Крамарж главой чехословацкого правительства.

За границей борьбу против Австро-Венгрии возглавил другой лидер того времени, профессор Т. Г. Масарик, имя которого, особенно в западном мире — в Англии и в Америке, было широко известно.

Эти два человека, больше противники, чем союзники, олицетворяли два во многом разных курса, два разных понимания чешской политики и даже две разные психологии.

Масарик стал первым президентом Чехословацкой республики. В определенных кругах, прежде всего среди мелкой буржуазии, ремесленников и части интеллигенции, его некоторое время многие тогда называли «отцом народа». Крамарж же с появлением на политической авансцене Масарика отходил на второе место, а потом все дальше в тень.

В Чехословакии тогда живо ощущалось глубокое и сильное влияние Октябрьской революции. Страна, в первую очередь рабочий класс, беднейшая часть крестьянства, батраки, а также часть интеллигенции, шла влево. В Германии недавно еще гремели выстрелы на баррикадах революции. Драматическая классовая борьба велась в Венгрии и Словакии, где одно время утвердилась советская власть.

В этой обстановке наиболее правая в Чехословакии того времени национал-демократическая партия крупной чешской буржуазии и примыкавшей к ней интеллигенции, партия Крамаржа, растеряла значительную часть своих позиций.

Рядом с партией Крамаржа выросли другие, «более современные», более отвечающие обстановке политические силы и организации. Крепки были социал-демократы; средняя и мелкая буржуазия, ремесленники тянулись к национальным социалистам Клофача и Бенеша. На самом левом фланге строилась коммунистическая партия, быстро завоевавшая много мест в парламенте, выйдя в первые ряды политических сил страны.

Сравнительно скоро — в 1925 году — возникло «Общество культурных и политических связей с СССР», несколькими годами позже — «Союз друзей СССР».

Эти общественные организации пользовались большим влиянием особенно среди молодежи. Если я мало о них говорю, то только потому, что хочу остаться в границах лично пережитого. А от эмиграции, о которой я рассказываю, до этих кругов было тогда далеко.

Вышло так, что на парламентских выборах в июне 1919 года национал-демократическая партия потерпела тяжелое поражение, уступив тут власть социал-демократам и представителям аграрной и национально-социалистической партии. Крамарж должен был оставить свое кресло премьера и стать как бы идеологом «без портфеля». К нему прислушивались, иногда очень прислушивались, но редко ему следовали. Такой влиятельной, но уже не руководящей фигурой застали мы Крамаржа в Праге. Это влияние, надо сказать, неуклонно, из года в год снижалось.

А между тем во внешнеполитической концепции Крамаржа основа была сильной — он был безоговорочным сторонником восточной ориентации Чехословакии. Он считал, что Чехосло-

вакия не только нитями славянского родства, но и целым рядом неустранимых политико-географических моментов прочно связана с Россией, и судьба ее в очень значительной мере определяется судьбой великой славянской сестры.

Однако при этом Крамарж представлял себе Россию старую, переустроенную на умеренно либеральный лад, согласно им же самим разработанной конституции (!!!), которую он даже опубликовал в одном из русских эмигрантских изданий, считая, что вносит так свой вклад в дело «спасения» России.

Крамарж, старый искушенный политик, полностью и до конца проглядел необратимость событий, происходящих в России, как недооценил и значение сдвигов в общественной эволюции Чехословакии. Он отвергал даже старую дружбу тех эмигрантов, которые высказывали предположение, что с капитализмом в России покончено, видимо, окончательно. Он начисто отрицал возможность какого-либо контакта с Советским Союзом. Он не понял или не захотел понять, что Россия вступила в новый этап своей жизни и в глубоко новом обличье завоевывает невиданное ранее по своему значению место в мировой политике. Крамарж не ощущал того, что значение это будет неудержимо расти. В этом был основной, притом грубый его просчет, отвративший его от реальной жизни куда-то в сторону. Он перестал различать реальные факторы и вымышленные призраки, и это чувствовали не только его противники, но даже и его политические друзья. Что может быть безнадежнее для политика!

А на широкой аллее, ведущей к подъезду богатого особняка Крамаржа, можно было в определенные дни недели видеть направляющихся туда русских эмигрантов в их старорежимных пальто довоенного образца и плохо разглаженных брюках, в шляпах, как-то не по-пражскому надетых. Эти люди уже по внешнему виду сильно отличались от собиравшихся в вилле Крамаржа капитанов чешской промышленности, крупной торговли, пражских интеллигентов. Кто только там не побывал! Многие известные русские генералы старой России, руководители белой армии, представители эмигрантского православного духовенства, ученые консервативного и умеренно-либерального направления, политики правого толка, писатели, а то и просто отощавшие на чужбине эмигранты, ставшие прихлебателями. Все эти, часто совсем разные, люди находили у Крамаржа и стол, и дом.

Хозяйка дома, старая подруга Крамаржа, урожденная Хлудова, а по первому браку Абрикосова, принадлежала к семье известных богатых московских купцов и многие навыки своей среды привезла в Прагу, на берега Влтавы. Властная и гордая женщина, она с трудом мирилась с той, если можно так выразиться, политической полуотставкой, в которой оказался в результате новых политических условий ее муж. Она хотела себя

чувствовать некоронованной королевой чехов, и отказаться от этого ей было трудно. Женщина образованная, с молодых лет вращавшаяся в среде московской, а потом отчасти и европейской интеллигенции, она тем не менее сохранила в своем характере черты купеческого чванства и элементарной неуступчивости, привычку как бы подминать под себя окружающее и, главное, окружающих.

С такой сложной спутницей жизни, не созвучной общей атмосфере страны, далекой от Замоскворечья, нелегко было Крамаржу в республике, только что слагающейся на обломках Австро-Венгерской империи.

Когда супруги Крамарж, в то время уже старые, полуседые люди, входили с некоторой подчеркнутой торжественностью в концертный зал, театр или на какой-нибудь общественный вечер, сама их внешность не гармонировала с окружающей обстановкой.

Он, плотный, сильный старик, с твердым взглядом и снисходительной, тщательно отмеренной приветливостью манер, бывал затянут в официальный элегантный фрак; белая бабочка на высоком отвороте воротничка рубашки устраняла всякую возможность непосредственности и простоты отношений. Прославленного венского шика тут, может быть, и не было, но каждый должен был понимать, кто именно перед ним...

А она в дорогих мехах, бриллиантах, холодная и высокомерная.

Посетитель Праги, проехав на одиннадцатом номере трамвая по направлению к окраине города, увидит среди большого чешского кладбища прямо перед одним из входов небольшую православную церквушку, сложенную из камня и выдержанную в строгом и скромном стиле северных новгородских и псковских церквей. Церковь эта, построенная по инициативе и отчасти на средства Крамаржа, стала, также по его желанию, последним приютом чешского политического деятеля. Этот старый католик был похоронен в крипте православной церкви вместе с женой, окруженный своими друзьями-эмигрантами.

На православном кладбище в Праге, обходя кресты, памятники и плиты, можно прочесть ряд имен, когда-то широко известных в России. Разные тут люди: писатели, генералы, политические деятели всевозможных толков — от монархистов до анархистов, певцы, актеры и другие беженцы, часто сгоряча оставившие родину, да так и не дождавшиеся свидания с ней.

Я видел, как некоторые советские посетители Праги с живым интересом читали эти имена, многие из них были им известны, другие полузабыты или вовсе незнакомы. «А вот посмотри,— помню я возглас,— тут лежит Аверченко. А вот могила писателя Чирикова. Посмотри дальше — там Вас. Немирович-Данченко». Этого писателя и военного корреспондента помнят в Советском Союзе и сейчас. Правда, может быть, больше по родству со знаменитым режиссером МХАТа — его младшим братом.

Ко времени Великой Отечественной войны эмигрантское кладбище уже укрыло в своей земле большую часть непримиримых противников советского строя. Однако не в этом только дело. Будь Крамарж в 1945 году жив, он был бы очень удивлен тому, что эмигранты, которые жили тогда в Праге, или во всяком случае немалая часть их, воспринимали события уже по-новому. Очень многие из них встречали Красную Армию не как бывшие белогвардейцы, а как русские патриоты. Встречали армию своей родины, хотя и очень неспокойно было у них на сердце относительно личной судьбы.

Что же до русского кладбища, то добавлю только, что судьба сблизила меня с ним с силой предельной, как я думаю, для живого. В разгар второй мировой войны я похоронил на нем свою шестнадцатилетнюю дочь. И долго, целые годы, не мог уйти от места, где она лежит. Я бывал на кладбище каждый день в самое разное время. Знал все цветы, которые могут быть посажены, выбирал их, как цвета платья, которое могло быть ей сшито. Знал всех людей, подолгу, как и я, бродящих среди могил или сидящих возле одной из них. Если бы я обладал даром писателя, я нашел бы слова, чтобы рассказать о том, как родители посещают могилы своих детей, как это делают дети, идя к матери или к отцу, жены и мужья, подруги, возлюбленные...

Я бы рассказал об этом тихом мире, шелестящем в сентябрьский день, когда пишутся эти строки, опавшими листьями и сухими ветками, — мире, таком степенном внешне. И вместе с тем полным горячего отчаяния, тоски, неискоренимого горя, позднего раскаяния, запоздавших сожалений, тяжелых угрызений совести, сомнений в правде и смысле жизни, безнадежности.

Если Крамарж, как бы его политически не расценивать, был человеком искренне лично привязанным к России, и что очень — очень существенно — к старой России, то иным, гораздо более сложным было отношение к ней Масарика, возглавлявшего Чехословакию с 1918 по 1935 год, почти вплоть до своей смерти.

Этот человек тогда — я вспоминаю сейчас двадцатые годы — довольно полно и ярко представлял прежде всего ту часть общества, которую называют интеллигенцией и которая крепкими нитями связана с руководящим, правящим классом. Сама внешность Масарика производила впечатление. До глубокой старости он сохранял большую грациозность и изящество движений. Во время президентских выборов можно было видеть, как на скамьях чехословацкого парламента преобладали люди совсем иного физического типа: широкие спины, сильные, налитые кровью затылки, крупные круглые головы. Надо отдать ему справедливость, Масарик умел быть эффектным главой государства. Можно было подумать, что с детских лет этот сын кучера и стряпухи был обучен самому изощренному обращению с совсем различными

людьми. Наивные и глупые мещанские кумушки создали даже целую легенду о том, что первый президент был рожден своей матерью от высокопоставленного венгерского аристократа, передавшего сыну наследственные черты своего старого рода, славившегося утонченно обходительным обращением и манерами.

Между Масариком и Крамаржем была разница в смысле их взаимоотношений с эмигрантами. Крамарж был связан по преимуществу с правыми — консервативными кругами эмиграции; Масарик всячески уклонялся от общения с ними. Ближе всего стоял к нему очень быстро левевший тогда Милюков. Многое связывало этих двух деятелей: одного из них — Милюкова я знал довольно близко. Приезжая в Чехословакию, он часто останавливался у меня, и я имел возможность прямо из его уст слышать рассказы о его частых беседах с Масариком и его первым тогда оруженосцем и следующим президентом Чехословацкой республики Э. Бенешем.

Масарик был реалистичнее и глубже Крамаржа, на откровенный лубок он не шел. Он хорошо понимал, что нет такой волшебной палочки, по мановению которой можно повернуть ход русской истории, ход великой русской революции. Вместе с тем, сознавая полную обреченность монархических и других правых кругов эмиграции, он все же, хотя и с большим сомнением, не терял до конца надежды, что средние и левые круги эмиграции, может быть, еще скажут свое слово. Масарик оставался противником Октябрьской революции и поддерживал антисоветскую деятельность. Он хотел видеть в ней специфическое русское, «разиновское» начало и резко от него отталкивался. Масарик говорил: опасен черт реакции, но страшнее и опаснее Вельзевул революции. Он совсем не был уверен в том, что Октябрьскую революцию и созданный ею строй можно как-то переломить, но от замаскированных попыток в этом направлении начисто отказываться не хотел. Это и заставило его поддерживать эмиграцию, некоторые эмигрантские издания и даже, насколько знаю, диверсантскую деятельность, направленную против Советского Союза. Я имею в виду Б. Савинкова.

Словом, вышло так, что вся «русская акция» помощи эмиграции была возглавлена президентом Масариком. Сам же он оставался в отношении России в состоянии, если можно так выразиться, постоянной заинтересованной напряженности. Эта позиция очень ярко проявилась у него еще задолго до 1917 года, в частности в его широко известной работе, посвященной Достоевскому и Толстому, а после — в его воспоминаниях «Мировая революция».

Масарик меньше всего верил в знаменитое латинское изречение ex oriente lux. Он, наоборот, считал, что прогресс и правда идут с Запада, а темнота и опасные эксперименты — с Востока. Он не случайно вспоминал в своих писаниях об одном приме-

чательном случае, относящемся к посещению им в Ясной Поляне Л. Н. Толстого.

Масарик вынужден был тогда идти со станции пешком: по какой-то ошибке лошади за ним посланы не были. Проходя через село Ясная Поляна — день был очень жаркий и душный, — Масарик зашел в первую избу, чтобы напиться воды. Старик-крестьянин с провалившимся носом подал ему грязную, засиженную мухами чашку. Следы разрушений от страшной болезни были и у других членов этой самьи. Масарик в волнении, удрученный тем, что он видел, подошел к барской усадьбе и постучался у парадного подъезда. Открывший ему слуга сообщил, что «граф дожидаются», и проводил его к Толстому, который в полупустой и полутемной комнате занимался сапожным ремеслом. Он шил сапоги себе и сыновьям. Масарик не утерпел и с порога перешел в наступление. «Вот вы, Лев Николаевич, сапоги шьете, а у вас в деревне крестьяне от сифилиса гниют, лечить их надо».— «Зачем лечить,— ответил ему, как вспоминал Масарик, Толстой,— их надо не лечить, а отучить развратничать, тогда и сифилиса не будет. А зачем развратника лечить? Он вылечится и опять заболеет».

Масарик любил вспоминать этот разговор с Толстым как свидетельство полного непонимания гениальным русским человеком элементарных проблем социальной жизни.

Чего же от них ждать, от русских — таков был недосказанный и невысказанный вывод Масарика, если уж сам Толстой отворачивается от мысли о реальной борьбе с социальными болезнями, заменяя сознание необходимости такой борьбы беспредметной часто проповедью морального усовершенствования? Этот диалог в самом деле характерен и для Толстого, и для Масарика.

Так или иначе, без помощи Масарика русские эмигранты не были бы так пригреты в Чехословакии и на них не были бы истрачены столь крупные суммы. Тогда, в 1921—1923 годах, тысячи русских студентов и более 150 ученых обосновались в Праге. То же следует сказать о некоторых писателях, общественных и политических деятелях и т. д. Через Масарика шла также материальная помощь видным представителям эмигрантской русской интеллигенции, жившим в других странах, прежде всего в тогдашней столице антисоветской эмиграции — Париже. Многие крупные русские писатели пользовались одно время помощью из Чехословакии, предоставляемой по указаниям Масарика.

Коротко говоря, Масарик принял эмиграцию как политический и культурный фактор, с которым он хотел в какой-то мере считаться. При этом он учитывал старую традиционную русофильскую линию части чешской интеллигенции и буржуазии.

Лично для него бесспорным был тот факт, что русская революция навсегда рассчиталась с монархическими кругами.

По-другому, как я уже сказал, складывались представления Масарика в отношении левых кругов эмиграции. Он не отрицал,

по-видимому, возможности, что эти круги или придут на смену «зарвавшемуся» большевизму, или, что весь «русский процесс», как его представлял себе Масарик, как бы «европеизируется». При этом более левые элементы найдут модус вивенди с советской властью и из объекта помощи снова в какой-то мере, пусть не решающей, станут субъектом политического значения.

Это относилось, в частности, к группе Милюкова, в первую очередь лично к нему, а также к эсерам, в большом числе осевшим в Праге. Под этим углом зрения расценивались и такие крупные эмигрантские издания, выходившие в Париже, как газета «Последние новости» или журнал «Современные записки». Масарик до конца своей жизни оставался на этой позиции, и если помощь русской эмиграции была с годами сокращена, то объяснялось это не новой принципиальной установкой, а неуклонной, из года в год возраставшей общей потерей интереса к эмиграции, все большим сомнением в какой-либо ее значимости.

Шли годы, и все дальше уходило в прошлое активное участие людей, ставших эмигрантами, в жизни России. Кроме того, установились нормальные или полунормальные дипломатические, торговые и иные отношения с советской властью. Против этого эмиграция решительно возражала, но люди типа Масарика не считали себя обязанными слишком с этим считаться.

Лично мне пришлось вскоре после приезда в Прагу быть на приеме у Масарика. Среди многих приглашенных были тогда и представители зарубежных русских студентов. Мы шли по широкой и нарядной лестнице пражского Кремля-Града и волновались. Идем ведь как-никак в гости к самому президенту.

На приеме было много русских, и Масарик хотел говорить с ними по-русски. Это было ему не очень легко. Когда мы уходили, мой спутник-студент, родом донской казак, веселый, разбитной малый сказал при выходе из дворца: «Надо бы отцу на Дон написать — держал президента за ручку»...

Если Масарик был не столько политическим деятелем — практиком, сколько философом, социологом, историком культуры и моралистом, то его любимый ученик, чуть ли не с юных лет взлелеянный им для руководящей политической работы, а потом и для замены его самого, Э. Бенеш известен как человек совсем иного склада.

Злые языки утверждали в старые годы, что молодой Бенеш сильно колебался, вступать ли ему в партию социал-демократов или же в партию национальных социалистов. Говорили при этом, что Бенеш не придавал принципиального значения этому выбору, руководствуясь соображениями целесообразности и возможностью более быстрого выдвижения в той или другой среде.

Был ли он в этих колебаниях так неправ? Хорошо известно, что в больших политических вопросах между этими обеими партиями, их решениями и их тактикой существенной разницы не

замечалось. Так это было, например, в годы великого кризиса, когда вырос гитлеризм и назревал «Мюнхен».

Что же до русских эмигрантских дел, о которых я сейчас вспоминаю, то Бенеш принял эмиграцию — тогда он был молодой министр иностранных дел и одно время премьер — примерно так же, как и его учитель Масарик. Только он, находясь в самой гуще политической борьбы и работы, еще осторожнее входил в связь с ее отдельными кругами и отдельными представителями. Думаю, не ошибусь, если скажу, что, за исключением Керенского и некоторых других эсеров, а также Милюкова, мало кто, а может быть, и никто из политической эмиграции не имел прямого постоянного доступа к этому государственному деятелю Чехословакии.

Бенеш довольно скоро понял неизбежность для него, если он только хочет не отстать от жизни, не откладывая найти контакт с советской властью, признав ее вскоре властью России. Он был искусным пловцом в водах Лиги наций, но и в этой организации он также не хотел застыть на линии непримиримого противника Советской России. Он и тут искал компромисса, хотел и в этом клубке вопросов быть как бы посредником между крайними крыльями. Вместе с тем он в те годы достаточно твердо держал в руках эмигрантскую карту, козыряя ею, когда ему нужно было подчеркнуть свой западнический демократизм, понимаемый в духе классического парламентаризма, и противопоставить его большевизму. Он, видимо, считал, что Чехословакия, затрачивая известное количество миллионов на помощь эмиграции, ни в коем случае не в обиде, тем более что чехословацкие легионеры, шедшие одно время на Востоке с белыми, вывезли из России немало золота. Тема о русском золотом запасе всплывала потом при разных условиях и в разной обстановке, и тогда часто делались ссылки на широкую помощь русским эмигрантам.

Вот, мол, русское золото и пошло на помощь русским людям, попавшим в беду. Тогда же на одной из главных улиц Праги было построено огромное здание нового банка — «Легиобанка». Все знали, что и самое здание, и средства банка обязаны своим существованием все тому же золоту.

Бенеш хорошо знал, конечно, что значительная часть эмигрантов, проживающих в его стране,— особенно это относится к первым годам эмиграции — настроена крайне реакционно, и даже в нем, в чехословацком бессменном министре иностранных дел буржуазной республики, а потом ее президенте, видит полубольшевика, а некоторые, на манер гитлеровцев,— и вредного «жидомасона». Однако это не производило, по-видимому, на Бенеша большого впечатления и не отражалось на его позиции по отношению к эмиграции.

Бенеш проводил одно время и более активную антисоветскую кампанию, используя в частности радио, по которому его сторонниками передавались лекции по истории России и революци-

онному в ней движению, составленные в определенном освещении.

Много раз пришлось мне видеть и слышать Бенеша; я слышал его, когда он был еще только восходящей звездой на политическом небосклоне страны. Слышал его уже искушенным деятелем и президентом республики. Слышал и в глубоко трагические дни «Мюнхена», слышал и позже. Бенеш ни своей незначительной внешностью, ни манерой говорить — сухой, академичной, бесстрастной, с запиской в руке, не был рожден, чтобы привлекать сердца. Но многие тогда говорили о нем: политику делать он умеет.

Здесь были названы и коротко охарактеризованы те главные политические руководители Чехословакии, в руках которых находилось дело помощи русской эмиграции. Нужно еще к этому добавить, что помощь, оказываемая эмигрантам в первые годы после поражения белых армий, была бы в Чехословакии, вероятно, невозможной, если бы дело это не поддерживала самая многочисленная буржуазная партия того времени — аграрная. Лидеры этой партии принадлежали к крупным и средним землевладельцам и к богатому крестьянству. В руках этих деятелей была и значительная часть банковского капитала. Глава партии Антонин Швегла, проживший сравнительно недолго, сам ни в какой мере не был увлечен русскими эмигрантами. Его партия никогда не была особенно русофильской. Но пришедшие из России люди были непримиримо враждебны к коммунизму, и чехословацкие аграрии не видели оснований не поддерживать эмиграцию, в среде которой они хотели найти элементы более близкие им по идейным установкам, найти людей, как тогда некоторые называли, «зеленого интернационала». Ряд второстепенных руководителей аграрной партии установил более близкую связь с организацией «Крестьянская Россия» и ее лидером С. С. Масловым, видя в этих людях — в прошлом по преимуществу эсерах — более или менее близкие им элементы, которые могут быть использованы в борьбе с большевиками.

Помощь русской эмиграции развернулась начиная с 1921 года и до 1928—1932 годов широко, много шире, чем это вначале предполагали как эмигранты, так и чехи. И все же, должен я сказать, живой, непосредственной бытовой связи между хозяевами или хотя бы буржуазной их частью и засидевшимися гостями по-настоящему долго не устанавливалось. Западничество части чехословацкой буржуазии и интеллигенции сыграло при этом немалую роль. Кроме того, у части интеллигенции в двадцатых годах были распространены левые настроения. Однако дело не только в этом. Много мы думали и рассуждали на эту тему.

Одна из причин взаимного непонимания, которое долгое время наблюдалось между русскими эмигрантами, с одной стороны, и чехами и словаками, с другой, состояла, как мне кажется, в разнице психологических подходов и восприятий. У народа Чехословакии слишком свежи были в памяти долгие и острые этапы борьбы

за национальную независимость и самое бытие. Для уроженцев же России эти явления уже многие столетия были вне спора. Эта разница восприятий особенно остро выступала в более напряженные моменты истории Чехословакии и Европы. Таких моментов за десятилетия между первой и второй мировыми войнами было немало. Русские эмигранты не хотели или не могли вникнуть в эту особенную, глубоко своеобразную психологию народа, который постоянно должен был утверждать себя, повторяя лозунг, казавшийся русским не совсем понятным: «Мы были и мы будем». А для чехов эти слова были полны самого живого смысла.

В то же время чехов, выросших в старых европейских традициях, раздражала в русских эмигрантах их беспокойная, как они говорили, широта, их житейская неустойчивость, их желание и стремление каждый вопрос, как утверждали жители Праги, излишне углублять и усложнять. Удивляла хозяев также неспособность большинства их гостей к практическому действию, прежде всего в политической области.

Другой момент расхождения и какого-то трудно устранимого взаимного непонимания состоял, может быть, в том, что русские эмигранты, их интеллигентская часть, были вскормлены старой русской культурой со всеми ее особенностями и своеобразием.

Конечно, я не хочу этим сказать, что не было многих других источников взаимного непонимания, прежде всего огромной разницы жизненного опыта.

В Прагу приехали русские эмигранты, только что пережившие гражданскую войну. Туда, к России, к полям недавних сражений, неуклонно был устремлен духовный взор почти каждого из нас. А это была тема, в то время мало понятная пражанам, принимавшим у себя более или менее желанных или совсем нежеланных гостей из огромной славянской страны, охваченной бурей революции.

Вокруг «белого коня»

Часто я слышал слова о том, что истинный эмигрант тот, кто ничего не забыл и ничему не научился. А ведь на самом деле это не совсем так, а часто и совсем не так. Прежде всего необходимо, мне кажется, разбираться каждый раз в том, о какой эмиграции идет речь. О той ли, которая обозначает будущее страны, или о той, которая представляет старый, уходящий строй. Как бы ни малочисленна была первая — перед ней необозримые перспективы. Как бы многочисленна и богата именами ни была вторая, ее удел — постепенное забвение.

Эмиграция первого типа целиком живет будущим. Это мы все видели в первую очередь на судьбе русских большевиков.

Однако и к эмиграции второго типа нельзя применить эту характеристику без весьма серьезных оговорок. Нет, как долго падающие капли точат даже и самый твердый камень, так и долгие годы, прожитые антисоветскими эмигрантами со времени окончания гражданской войны, да и самая эта война не прошли бесследно для их психологии. Вот некоторые тому иллюстрации, врезавшиеся в память на всю жизнь.

Большой зал, до отказа переполненный русскими эмигрантами; это было в первые годы их жизни в Праге. Тысячи полторы человек напряженно, многие с явным недоброжелательством всматриваются в стоящего на трибуне спокойного седого румяного старика с быстрым и острым взглядом умных и немного насмешливых голубых глаз, с любезной и вместе скептической, как бы дипломатической улыбкой на губах, с уверенной, нарочито холодной речью и молниеносными репликами.

Это Милюков, впервые приехавший в Прагу из Парижа, где он занят изданием газеты «Последние новости», а также разработкой «новой тактики», которую он предлагает эмиграции после поражения белых армий.

— Я не знаю,— заявил Милюков,— вернетесь ли вы когда-либо на родину или же никогда не вернетесь. Но я знаю, что если вы вернетесь, то вы никогда этого не сделаете на белом коне.

Прошло более сорока лет со времени этой реплики, но до сих пор мне слышится оглушительный грохот того взрыва негодования, которым ответила молодая тогда эмигрантская аудитория на этот показавшийся ей очень обидным прогноз старого политика. Молодые головы посчитали тогда его изменившим антибольшевизму, изменившим белой борьбе и, как в то время любили говорить и как многие, может быть, действительно чувствовали, «национальной России». Ведь тогда большинству эмигрантов еще мерещилось зарево огней гражданской войны.

Я же сейчас вспоминаю опять ту же пражскую эмигрантскую аудиторию и тех же в своем большинстве, казалось бы, стопроцентных белогвардейцев только пятнадцатью годами позже при глубоко иной международной обстановке.

В Германии тогда уже воцарился Гитлер. Даже и слепые не могли не видеть занимающегося пожара новой мировой войны. И в том же пражском зале, перед той же аудиторией, только постаревшей на пятнадцать лет, глава «белого движения» на юге России А. И. Деникин.

Теперь его слушали уже не неожиданные пражские студенты, только что сменившие батарейные и пехотные позиции на аудитории высших школ; теперь он выступал перед агрономами, врачами и инженерами. Страсть, ненависть уже не владели безраздельно сердцами большинства собравшихся. Бóльшая часть этих людей — их взволнованные, напряженные лица и сейчас живо стоят передо мной — хотела уже размышлять. Ненависть и любовь уже боро-

лись в их душах. Росла тревога за судьбы давно оставленной родины.

Я никогда не видел Деникина в военной форме. Знаю его в этом облике только по портретам: невысокий, плотный, немножко сутулый генерал, мало придающий значения своей внешности. Папаха низко надвинута на крупную голову. Главнокомандующий был известен, помимо всего прочего, своим красноречием. Деникин умел и любил говорить, и речи его, как, впрочем, и его писания, не носили сухой и лаконичной формы, типичной для военных. Он умел придавать своим выступлениям и писаниям немного отвлеченный, немного как бы туманно-лирический оттенок.

В первый раз я увидел его в Праге, куда он приехал из Парижа, где тогда жил, чтобы говорить о возможности близкой войны и своем к ней отношении.

Деникин выглядел утомленным, но стремящимся сохранить внешнюю бодрость и военную выправку пожилым человеком, одетым в более чем скромную поношенную тройку и какие-то не совсем обычные тяжелые ботинки, в которых, вероятно, трудно и неудобно было ему ходить в летние месяцы по раскаленным парижским тротуарам.

«Некоторые говорят,— воскликнул Деникин,— что Красная Армия побежит, а я верю, что она не побежит перед врагом Родины. Нет, она станет на защиту Родины!» Эти слова были встречены громом аплодисментов тех самых людей, которые пятнадцатью годами раньше, конечно, признали бы их изменой «национальной России».

Я потом обязательно расскажу более подробно, вспоминая личные беседы и наблюдения, о позиции Деникина в годы, непосредственно предшествовавшие второй мировой войне.

А пока еще один эпизод, говорящий о том, что жизнь проникала в самые упрямые эмигрантские души. За несколько дней до вступления в Прагу Красной Армии я встретил на том самом кладбище, о котором уже рассказывал, старого эмигранта гвардейского генерала царской армии и одно время заместителя Деникина по командованию белыми армиями на юге России Н. Н. Шиллинга.

Это был в самом деле глубоко старорежимный человек, бескомпромиссный, безоглядочный монархист самого крайнего толка. Для него и белая армия была плоха тем, что состояла из «студентов» и разных «зараженных», как ему казалось, революционными идеями интеллигентов. Он был рослым, сильным человеком со строго гвардейской выправкой. В его манерах сочетались повадки строевого офицера и светского, всегда сдержанного, находчивого и уверенного в себе человека. Вместе с тем что-то глубоко отжившее, что-то тяготившееся тем, что они видят вокруг, смотрело из его больших холодных глаз. Они становились теплыми, ласковыми, светящимися, только когда смотрели на красивых изящных жен-

щин. Отходила собеседница — и опять они холодны и как бы утомлены окружающим.

Увидев Шиллинга чуть ли не накануне вступления советских танков, я спросил его, не думает ли он уехать из Праги на запад: «Нет,— ответил генерал,— я солдат, и будь что будет». Прошло две-три довольно беспокойные для эмигрантов недели, когда бóльшая их часть проверялась советскими органами, причем некоторые были увезены в Советский Союз и там заключены в трудовые исправительные лагеря. Среди них были люди, явно скомпрометировавшие себя связями с гитлеровцами, были и такие, кто не прекращал антисоветской деятельности, но были и люди, в жизни которых как будто не было ничего предосудительного, с точки зрения советских властей, кроме разве участия в гражданской войне на стороне белых. И вот я опять встретил на одной из шумных пражских улиц Шиллинга. Он шел тем старческим, но твердым и уверенным шагом, каким ходят старики-военные всех стран и народов.

— Ну, как это было с вами?

— А вот как,— с довольным видом отвечает Шиллинг.— Арестовали меня, привезли куда следует. Полковник какой-то, а потом и генерал к нему присоединился, спрашивают меня: «Шиллинг? Заместитель Деникина, белой армией командовали?» — «Так точно»,— отвечаю я.— «А что же,— спрашивает один из них,— вы почувствовали, когда увидели нас на улицах Праги?» — Я же им ответил: «Увидел генералов и офицеров с золотыми погонами, солдат, по форме одетых, перекрестился и подумал — стоит Россия!»

Ответ этот был искренним.

Если уж Шиллинг крестился от радости, увидев Красную Армию, то, значит, много воды утекло со времени командования им южной белой армией. И советские представители весьма серьезных и совсем не сентиментальных органов поверили словам белого генерала. Он мирно дожил в Праге немногие, отмеренные ему судьбой месяцы.

Рассказанным эпизодом я вовсе не хочу сказать, что во время Великой Отечественной войны, к ее концу, а также в последующие годы русская политическая эмиграция совсем отказалась от антисоветской идеологии и работы или не проявляла в этом отношении какой-либо активности. Это было бы, конечно, неправдой.

Наоборот, как раз в годы войны некоторые, относительно крупные эмигрантские организации активно сотрудничали с немцами, иные эмигранты занимались глубоко недостойной деятельностью во временно оккупированных частях Советского Союза. Обо всем этом мне придется еще вспомнить. Нужно только знать, что с врагами родины было меньшинство эмиграции: это ее счастье.

Сейчас же еще раз скажу, что «случай» с Шиллингом не был исключением. В известной мере он даже характерен для достаточно

широких кругов русских людей, долгие годы державших в руках за рубежом своей страны антисоветское знамя.

Скажу еще попутно, что глубокие сомнения в правильности и целесообразности так называемой «активной» борьбы с советской властью возникали в некоторых руководящих верхах эмиграции — правда, далеко не во всех — уже задолго до войны с гитлеровским рейхом.

Вот еще один эпизод, относящийся к давнему времени. Из Парижа через Прагу организацией Милюкова был послан в советскую страну молодой человек, который должен был там, в СССР, устанавливать связи, искать точки опоры и в случае удачи создавать группы сочувствующих. О предстоящей поездке этого эмиссара был также хорошо информирован живший тогда в Праге руководитель организации «Крестьянская Россия» С. С. Маслов, веривший в то время в целесообразность такой деятельности и ждавший от нее больших результатов. Он обласкал в Праге милюковского посланца и благословил его в путь.

Я не принимал участия в подобных делах, но с этим приезжим в Праге меня познакомили, и о его задаче я знал. Он был краснощеким высоким молодым здоровяком с приветливым простонародным лицом, живой речью, большим и сильным телом. Трудно было себе представить, что этот коренной русак с юных лет уже целые годы топчется по парижским бульварам.

Выехав из Праги, этот эмиссар на одном из этапов своего пути... влюбился и почувствовал себя не в состоянии выполнить полученное задание.

Он совсем потерял голову и, наконец, обратился в Париж с покаянным письмом к Милюкову, прося помочь ему вместе с будущей его женой совершить обратный вояж в Париж.

И в Париже, и в Праге правоверные сторонники эмигрантского «активизма» рвали и метали по поводу такого преступного легкомыслия. Однако сам Милюков рассудил совсем иначе. Он охотно помог приезду влюбленных в Париж и их браку.

При первой моей встрече с Милюковым в Праге я спросил его, как он относится к этому случаю. На это Милюков с усмешкой ответил: «Подумайте о том положении, в котором он очутился. Он сделал лучшее, что мог бы сделать»...

В этих словах старого противника советского строя откровенно звучало полное неверие в целесообразность тех путей, по которым многие еще шли и в которые многие хотели верить. Разной была политическая психология эмиграции на разных этапах зарубежной жизни. Различной она была и в различных кругах эмиграции.

Однако пока я у самого начала рассказа о перерождении традиционных эмигрантских представлений, потому и вернусь к этому началу.

Когда сейчас, по прошествии, казалось бы, бесконечного ряда лет и бесконечных изменений мирового политического пейзажа, я листаю страницы случайно сохранившихся записей о первых годах эмиграции, то прежде всего удивляюсь тому, каким ничтожным оказалось очень многое, что представлялось важным и даже очень важным.

Спорили, спорили до изнеможения, ссорились, обижали и даже клеветали, и все это часто во имя чистой выдумки, абстракции, политического миража. Многое, очень многое при проверке временем оказалось совсем суетным, ломаного гроша не стоящим.

Первый общестуденческий эмигрантский съезд в Праге, собравший представителей русской эмиграции из очень многих стран. Съезд этот положил основание организации, называвшейся ОРЭСО — Объединение русских эмигрантских студенческих организаций, созвавшей еще два своих съезда в Праге и в Париже. ОРЭСО довольно полно отразило весь спектр политических настроений русского зарубежного, антисоветского студенчества. Мне пришлось ряд лет быть одним из его руководителей.

Меня увлекала работа в этой организации; она казалась мне очень важной.

Что же тогда в политическом и общественном отношении представляли собой мои сверстники-эмигранты? Еще раз: эмигрантская среда не была однородной ни по своей социальной природе, ни по своим убеждениям.

Как же в те далекие годы распределялись политические симпатии молодой части эмиграции? Огромное большинство тогда не умело и не хотело еще подчинить чувство аргументам разума. Вот одна из причин, почему психология гражданской войны еще долго жила в сердцах молодых и совсем не молодых эмигрантов.

И опять, уже в третий раз, перед глазами все тот же зал городской библиотеки в Праге. На трибуне бедно одетый, сухой, костлявый человек с желтыми, обкуренными пальцами, с взлохмаченной головой и страстной, горячей речью. Это один из златоустов дореволюционной России, известный член Государственной думы, представитель умеренно правого ее крыла, богатый волжский помещик Н. Н. Львов, умевший когда-то потрясать даже и опытные сердца своими красноречивыми выступлениями. Правда, об этих речах противники Львова не без ехидства говорили, что в них хотя и много «отопления», но явно недостает «освещения».

Перед русской пражской аудиторией Львов предстал уже сильно поблекшим и потускневшим, хотя и с прежними замашками победителя ораторских турниров. «Кубанский поход продолжается!» — горячо восклицал Львов, призывая эмигрантскую молодежь не выходить из воображаемых окопов гражданской войны. Он имел в виду первый поход белой армии, так называемой «ледяной», под командованием генерала Корнилова. Львов давно уже

умер, давно уже перестали звучать и его призывы, и если я сейчас вспомнил о нем, то только чтобы напомнить об этих лозунгах, настроениях, которыми жили тогда в эмиграции многие мои сверстники. Призывы Львова и его сторонников находили живой отклик в молодых сердцах.

Сам же Львов закончил жизнь в заброшенной, плохо отапливаемой парижской мансарде, начав, как я слышал, к концу жизни понимать безнадежность своих позиций. Он умер на руках жены, когда-то почти неграмотной крестьянки, редкой красавицы.

Основная масса русского эмигрантского студенчества оставалась еще верной белым знаменам; появились соответствующие организации, преобладавшие на студенческих съездах. Кто хочет быть обманутым, обманывается легко. Факты говорят о другом, а упрямцы твердят — тем хуже для фактов.

Бóльшая часть молодых эмигрантов этих настроений была в те далекие годы объединена в Общевоинском союзе, в галлиполийских землячествах, а также в многочисленных студенческих союзах. Вправо от сторонников традиционной белой идеологии, не выставлявших прямо монархического лозунга, стояли монархические организации молодой эмиграции. В них со временем произошел раскол и выделилась группа так называемых младороссов, ряд лет пытавшихся сочетать несочетаемое.

Младороссы хотели возглавить советский строй «легитимным» русским царем из дома Романовых. Они понимали, в отличие от своих прямых идеологических отцов, что советский строй пустил глубокие корни, что в нем много органически неустранимого, но они не могли отказаться от своей сладкой мечты о законном русском царе. Из всего того, что безнадежно ушло в прошлое, они держались за самое отжившее, за самое одиозное. Вот уж поистине трагикомическая вариация на тему: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

С этим, правда, не очень возвышающим обманом младороссы дотянули до самой второй мировой войны, когда жизнь разбросала их в разные, совсем разные стороны.

А их руководитель, способный, настойчивый и ищущий, красивый молодой человек аристократического склада А. Л. Казем-Бек после ряда идейных превращений и жизненных перемен оставил свое монархическое вооружение и возвратился на родину. Сейчас он работает в «Журнале Московской патриархии».

Путь, которым прошел Казем-Бек, не легкий и не прямой. Но этот путь пройден им серьезно и честно. Ведь живет же сейчас в стародавнем русском городе Владимире непримиримый в прошлом враг русской революции, враг всеми фибрами своей души — лидер русских националистов в Государственной думе, 88-летний старец В. В. Шульгин. Он не только там живет, но и занимается публицистикой. Печатает в американских русских газетах, а также в советской прессе статьи, в которых объясняет происшедший с ним

политический перелом, рассказывает о жизни советского общества, выступает за мир.

Вернемся, однако, к началу двадцатых годов, когда аудитории пражских высших учебных заведений стали заполняться русскими студентами-эмигрантами, а в министерство внутренних дел Чехословакии пачками поступали уставы новых организаций. Их создавали старшее поколение эмиграции и студенческая молодежь.

Не все молодые эмигранты остались после поражения белых армий на старых позициях. Жизнь уж слишком явно расходилась с общепринятыми в специфически белой среде представлениями. Расходилась она и с позицией эмигрировавших политических штабов. Не случайно ведь в кадетской партии наступили тогда острые расхождения и даже раскол.

Лидер этой партии Милюков провозгласил в 1921 году необратимость поражения белых. Он оформлял свою «новую тактику», стремясь принять максимум приемлемого или полуприемлемого для него в русской революции. Он отказался от монархизма в пользу республики, от крупного и среднего землевладения, а также и вступил в активную борьбу с наиболее реакционными кругами эмиграции и с бывшими руководителями «белого движения». Как и почему он это делал — вопрос, который я не обойду.

Такого рода политическая настроенность перекинулась и на часть молодежи, которая уже не хотела продолжать воображаемого кубанского похода, отдавая себе отчет в полной обреченности этой идеи. В рядах недавних молодых офицеров, юнкеров, студентов появились организации и союзы, называвшие себя демократическими. Часть молодежи, окончательно разошедшейся с белой идеологией, прямо порвала с эмиграцией, другие оставались на антисоветских позициях. Последние считали изменниками тех, кто стал на путь, как тогда говорили, полной смены вех с тем, чтобы искать возможно скорого возврата на родину. Они видели в людях, перешедших, как тогда говорили, «на платформу признания советской власти», капитулянтов и советских агентов. Слишком силен был запал недавней борьбы, еще не остыла страсть, бросившая их на вооруженную борьбу с советской властью. Но они уже начали понимать, что чувство, во всяком случае, само по себе бессильно. Они уже кое-что знали о том, что политическая страсть во что бы то ни стало должна быть подчинена разуму или укрощена им.

Так, между первыми шагами по пути понимания реальной действительности и нежеланием и страхом отойти от верности традиционным установкам и слагалась политическая психология этой молодежи, называвшей себя демократической и считавшей своим достижением отрицание пережитков белой идеологии при одновременном отрицании Октябрьской революции. Понадобились годы духовных испытаний, для того чтобы постепенно начало

слагаться и сложилось новое ее понимание. Произошло это прежде всего под напором самой жизни. Решающими были годы, непосредственно предшествовавшие Великой Отечественной войне, и, разумеется, сама эта война. Эти тогдашние настроения первых лет эмиграции хорошо мне понятны, сам я их полностью разделял, сам ими жил, сам прошел долгий нелегкий путь. В молодые годы политическая и общественная активность была основным стержнем внутренней моей жизни.

Сейчас было бы, пожалуй, смешно и совсем неинтересно вспоминать этапы борьбы, которой мы увлекались, и самую кристаллизацию того эмигрантского направления, о котором я говорю. Из него также ничего не вышло, как из многих и многих других эмигрантских начинаний. На нем, как и на всей антисоветской эмиграции, лежала печать прошлого, а не будущего. Нужно еще сказать, что если старые эмигранты, игравшие когда-то определенную, иногда очень большую роль в прежней России, обращали в своем большинстве взоры к прошлому, отталкиваясь в своих установках прежде всего от него и исходя из него, то молодые не имели даже и этой опоры. Старую Россию они, в конце концов, знали плохо.

Как-то в одной крупной русской газете, выходившей в Париже, появилась на первой странице горькая карикатура: за круглым столом парижского бистро два исхудавших, плохо одетых эмигранта, в неразглаженных брюках и стоптанных башмаках. У ног одного из них свернулась клубочком маленькая, невзрачная собачонка. Собеседники ведут за стаканом кислого красного вина, что по два франка литр, спор о будущем России, вспоминая ее и, конечно, свое прошлое. «Да вот и он,— говорит один из них, указывая на собачонку, — в России ведь вон каким сенбернаром был!..»

Интересно, что у эмиграции по какому-то неписанному закону твердо сложилась сразу же своя собственная иерархия. Это относилось не только к бывшим царским министрам, губернаторам, сенаторам, генералам... Это в полной мере распространялось и на либеральный лагерь, а также на эсеров и меньшевиков. И там была своя широко признаваемая и твердо соблюдаемая иерархия: министры правительства Керенского, члены центральных комитетов политических партий, члены Государственной думы. Эта иерархия не забывалась соответствующим кругом людей почти в такой же мере, как и иерархия царских сановников, и она накладывала на политическую эмиграцию еще одну мертвящую ее печать.

Привезенная за границу вместе с чемоданами, картонками, газетными вырезками и жестокой обидой в сердце иерархия сыграла немалую роль в судьбе не только политических деятелей, но и писателей, художников, ученых.

...Нет надобности вспоминать сейчас подробности и порядок работы ОРЭСО: это было бы в самом деле неинтересное чтение.

Судьба же двух первых председателей этой организации заставляет задуматься.

Произошло следующее. Первый наш председатель П. В. Влезков через год после своего избрания выпустил на втором студенческом съезде обращение к русскому зарубежному студенчеству, в котором заявлял о своем разрыве с эмиграцией и переходе на позиции признания советского строя. На том же втором съезде с аналогичным заявлением обратился к участникам съезда и его заместитель Н. Н. Былов.

Тогда это была большая сенсация, вышедшая далеко за рамки ОРЭСО. Искали причин такого крутого поворота. Правоверные студенты-эмигранты предавали Влезкова и Былова анафеме (первой стояла при этом подпись автора этих воспоминаний: я был тогда секретарем правления ОРЭСО). До нас в то время не доходила первопричина поступков Влезкова и Былова, т. е. осознанная ими безнадежность того дела, которому они до этого служили.

Чтобы продолжить эту аргументацию и не быть заподозренным в предвзятости и нарочитости — вот, мол, кто задним умом крепок,— расскажу и о втором председателе ОРЭСО, гораздо более талантливом и ярком человеке, чем был Влезков. Этот второй наш председатель — его звали Б. Н. Неандер — в самом деле обладал выдающимися способностями политического оратора и еще бо́льшими способностями организатора и тонкого знатока сложной и даже очень сложной политической кухни. Несмотря на относительно молодые годы, он действительно стал широко известен, особенно в кругах правой эмиграции, из которой вышел и с которой был тесно связан. Но и этот человек после постигших его неудач в работе ОРЭСО и ряда блужданий и поисков пристанища своей бурной, неспокойной душе также порвал с эмиграцией, выступив в печати открыто против самих основ эмигрантской идеологии. Он закончил свою жизнь в Москве советским журналистом, умерев молодым.

Нет надобности в воспоминаниях, где мне хотелось бы отразить только основные этапы, через которые проходили души и разум некоторых людей этого переломного времени и собственное мое сознание, останавливаться на отдельных моментах фракционной борьбы и, что греха таить, на той игре в маленький парламент, которой мы тогда были заняты, причем некоторые из нас проявили немалые способности. Все эти наши тогдашние сложные, как часто любили мы говорить, каучуковые формулы, которыми мы пытались где-то в вымышленном нами мире соединять и разъединять правых и левых, непримиримых и полунепримиримых, квасных патриотов и их антиподов,— кому они могут быть теперь интересны? Может быть, когда-нибудь какой-то историк антисоветской эмиграции и заглянет в протоколы и резолюции, шаг за шагом следя за судьбой эмигрантских организаций политического и бы-

тового характера. Мои страницы преследуют другую цель: хотелось бы, чтобы здесь нашли отражение, пусть и неполное и наверное очень несовершенное, прежде всего те духовные процессы, которые происходили и происходят в эмигрантской среде.

Но раз я вспомнил ОРЭСО, вспомню и тогдашние международные студенческие съезды, чудесные края и города, которые эти съезды помогли мне увидеть. ОРЭСО высоко ценило свое активное участие в тогдашней международной студенческой жизни, хотя, по правде сказать, мы ничего не могли предложить студенчеству, как то могли делать и делали национальные студенческие союзы отдельных стран. У нас не было для обмена вакансиями ни университетов, ни общежитий, ни мест в санаториях на горных курортах, ни даже пляжей, куда мы могли бы пригласить, по примеру других, наших коллег из какой-либо страны. У нас не было родины. Огромное большинство из нас не являлось тогда и гражданами какой-нибудь страны.

Зато мы были очень заинтересованы в помощи нам, так сказать, по всей линии: мы хотели стипендий, общежитий, возможности бесплатного обучения и отдыха и не знаю чего еще.

Студенчество двадцатых годов различных европейских и заокеанских стран вовсе не было в политическом отношении единодушным, оно еще не изжило полностью последних психологических отголосков войны. Часть его, надо сказать меньшая, жила под знаком формирующегося, а в Италии уже сформировавшегося и окрепшего, мало того, взявшего в свои руки государственную власть фашизма. В другой части происходило дальнейшее расслоение студенчества, возникали и набирали сил и коммунистические студенческие организации.

На международных съездах, о которых я говорю, дирижерская палочка бывала обычно в руках делегатов Великобритании и Франции, особенно первой. Английские студенты того времени по сравнению с другими были очень искусны в переговорах, формулировках резолюций, в нарочитых обострениях и последующих примирениях. Они умели найти компромисс, казалось, в безвыходном положении, умели быть приветливыми и в то же время неуловимо высокомерными и равнодушными. Нам, русским эмигрантам, они приятно улыбались, выражали полное понимание трудности нашего положения и проявляли полное нежелание чем-либо нам помочь. В исполнительных органах международного объединения студентов они всегда были на первых местах, уверенные, настойчивые, осторожные. Мы были старше их годами, старше жизненным опытом и невольно удивлялись такой ранней общественно-политической подготовке молодых сынов Альбиона. По своим политическим симпатиям они тогда относились в подавляющем большинстве к сторонникам либеральной и консервативной партий. Английские делегаты выступали обычно только на своем родном языке, полные внутренней и внешней уверенности, что все этот

язык знают и что им совершенно незачем напрягать свои силы и постараться сказать что-либо на ином языке, хотя бы на французском.

Французские студенты посматривали на своих английских коллег, как бы, так мне по крайней мере тогда казалось, немножко им завидуя. Они были тоже весьма активны и оборотисты, к тому же веселы и привлекательны, но вот этого искусства — сразу разобраться в обстановке, учесть все ее основные факторы, всегда оставаясь при этом в седле, у них все же не было. Кроме того, англичане были более едины, чем французы. Те как-то тянули часто как бы в разные стороны в зависимости от политической и партийной принадлежности; потом, на внутренних своих совещаниях, не остававшихся для нас тайной, после жарких споров они, правда, приходили к какому-то согласию.

Хорошо помню тогда еще только постепенно включавшихся после войны в международную жизнь немецких студентов. Они даже и не были еще полноправными членами международной студенческой организации, и тем не менее, когда они появлялись, голос их звучал громко. У них был сильный, хорошо организованный союз. Помню, как от его имени на международный съезд приехали типичные немецкие бурши. Молодые люди, уверенные в себе, хорошо владеющие, помимо родного языка, английским и французским, знающие себе цену и на каждом шагу это подчеркивающие. На каждом докладе, будучи еще совсем не полноправными, они хотели показать, что их организации крепче всех и многочисленнее всех остальных, что у них больше всего порядка и они лучше всех справляются со стоящими перед студентами задачами. Лица некоторых из них были покрыты шрамами, следами традиционных студенческих дуэлей и свидетельством «бесстрашия» молодых тевтонов. Те, которых я видел, были сторонниками организаций германских националистов и только что выходящих на арену первых вестников нацизма. Они еще никого чересчур не задирали, еще были со всеми корректны, очевидно, старшее поколение строго держало и их на короткой узде. С нами — эмигрантами они мало общались. Мы для них реального интереса не представляли и представлять не могли. Все же один из них долго стоял со мной в углу длинного университетского коридора и доказывал мне, что вся беда в том, что Германия и Россия стали врагами. Будь они вместе, им принадлежал бы мир. В основном, как теперь любят говорить, немецкие студенты тогда, по-видимому, прежде всего хотели закрепиться на верхах международной студенческой жизни, войти в мировую студенческую семью с тем, чтобы начать в ней распоряжаться.

Естественно, что ближе всего были нам студенты славянских стран. Среди польских студентов большинство принадлежало по своим настроениям к сторонникам маршала Пилсудского. Характерно, что, зная русский язык, они редко и неохотно к нему обра-

щались. Зато большинство из поляков могло похвастаться отличным французским произношением.

Дружили с нами болгарские студенты, все еще не совсем твердо чувствовавшие себя в международных студенческих водах и в тех блистательных столицах, где происходили студенческие встречи.

Вспоминаю международный студенческий съезд в Риме в 1927 году. От эмигрантов туда поехало двое из Праги и двое из Парижа. Хороши, очень хороши Тирольские Альпы, через которые пришлось нам ехать — моему коллеге и мне — в Италию. Это путь через Вену, Зальцбург, Бад-Гаштейн на Венецию. Если Тирольские Альпы вообще прекрасны, то на остановке в Бад-Гаштейне нужно крепко держаться за поручни вагона, чтобы не поддаться искушению забыть все, выскочить из вагона и остаться в Бад-Гаштейне, дышать воздухом Альп и любоваться дальше их очертаниями. Об этом искушении я слышал и от других, по какому бы делу и куда бы они ни спешили. Надо отдать должное австрийцам: ну какой еще другой народ умеет послать на железнодорожную станцию таких милых девушек, особенно красивых в национальных платьях, с такими соблазнительными корзиночками крупной лесной земляники, утопающей во взбитых сливках. Уменье принимать гостей-туристов у жителей этих мест уже в крови. Они встречают посетителей гор, исторических замков и городов одинаково ласково и приветливо, будь то богатые американцы с долларами в боковых карманах пиджаков или только проезжие студенты с полупустыми кошельками.

Не мое дело рассказывать сейчас о Венеции. Об этом незабываемом городе написаны целые библиотеки. Еще в вагоне я так волновался, зная, что вот сейчас, может быть, через несколько минут, уже буду на улицах Венеции, поплыву в одной из гондол, о которых мне с моим спутником толковали по пути, что забыл в купе свою новую шляпу. Я сразу же бросился за ней, даже из вагона не успел выйти, но было уже поздно. Публика была там тогда шустрая.

Мы осмотрели собор Св. Марка, прошли по мосту Вздохов, побывали в дворцах венецианских патрициев и — по молодой глупости — много часов провели на пользующемся мировой славой курорте Лидо. Это действительно колоссальный пляж с прелестным песком, с бесчисленными загорающими телами. Я говорю — по глупости, потому что ласковые волны южного моря и пляж все же доступнее человеку, чем сама несравненная Венеция. Мой спутник был очень добросовестен; он хотел приехать в Рим заблаговременно, чтобы войти в роль делегата съезда, но я уговорил его сделать остановку на сутки во Флоренции. Я слишком хорошо понимал, что не прощу себе, если этого не сделаю. Уже с вокзала в этом, совсем не похожем на город, городе чувство реальности меня оставило. Не было ни студенческого съезда, ни русской эмиграции, ни нансеновского паспорта в правом кармане

пиджака. Передо мной средние века, Возрождение, могучее творчество Микеланджело.

Мы были молоды, и ноги наши были крепки, но, когда мы вышли из бесконечных, насыщенных необозримым богатством галерей Уффици и Питти, мы почти что шатались, а было еще только самое начало знакомства с Флоренцией. Только поздней ночью мы вернулись к действительности, она была совсем, казалось, радужной: мы спешили не куда-нибудь, а в Рим. И все же мы чувствовали себя маленькими, несчастными существами, расстающимися, как казалось нам, навсегда с чудесной, сказочной декорацией, называемой городом Флоренция.

В Риме я немного эмансипировался от делегатов съезда, поселившись не в общежитии, а в маленькой третьеклассной гостинице, где меня по крутой мраморной лестнице привели в огромный номер, почти пустой, с громадной постелью, даже не двухспальной, а как будто рассчитанной на целую семью. Пол был хорошо натерт, но когда я, ставя свои ботинки, заглянул под постель, то ужаснулся: там была куча всяких отбросов, оставленных моими предшественниками и, вероятно, многие месяцы не выносившихся из комнаты.

Было жарко, и тогда я впервые ощутил необыкновенный бархатистый воздух ночного Рима, мягкий, немного влажный, ласковый, дыша которым стыдно заснуть. Но я все же заснул и проснулся по неожиданному поводу. Стук в дверь, настойчивый и повелительный, и уже в моей комнате трое молодых людей в черной фашистской форме и со стеками в руках. Я предъявил документы, и, в общем, все обошлось благополучно. Кстати, на станциях железных дорог Италии того времени, наблюдая за порядком, расхаживали молодые люди в черных рубашках; об этих военизированных молодцах я вспомнил потом, когда мне пришлось познакомиться на улицах Праги и в ее учреждениях с эсэсовцами. Правда, первоначальный, итальянский вариант был намного мягче, и все же не только мы, но и немалая часть толпившейся на вокзалах публики с опаской на них поглядывала.

По правде сказать, у нас было немного работы на римском студенческом съезде. Это позволило мне ближе познакомиться с вечным городом, в котором я еще задержался после съезда. Помню, как мы всем съездом посещали прославленные уголки Рима: Колизей, Ватикан, собор Св. Петра, капеллу Св. Павла. В то время были начаты и проводились с большой энергией раскопки древнего Рима, открывшие вскоре целые новые кварталы. Не забуду и виллу-музей Боргезе с изумительной скульптурой Кановы, весь холм Пинчо, прелесть которого сразила всех нас, и Пьяцца дель-Пополо.

Вспоминая Рим, я не буду говорить о его музеях и всему миру известных памятниках различных эпох и веков. Скажу только, что в этом городе я необыкновенно отчетливо ощутил древние кор-

ни живущего в нем народа, и это несмотря на все пронесшиеся над городом бесчисленные войны, разорения, смешение национальностей. В самом деле, если посмотреть на мальчугана, снующего по римскому базару босыми, дочерна загоревшими немытыми ногами, с растрепанными, часто нечесанными волосами, в нем поражает не эта, внешняя как будто запущенность и заброшенность, а удивительная непринужденность, свобода и грация движений. Если остановить его и спросить о чем-нибудь, то он, хотя и не понимает вопроса на чужом для него языке, умеет с необыкновенным достоинством и простотой что-то ответить, вся его поза выражает спокойную уверенность. А уличные торговки!

Как много видел я среди них красивых женщин, с прославленным римским овалом лица, правильные черты которого так гармонируют с небольшой и стройной фигурой, с гордой осанкой.

Когда в воскресные дни электрический поезд уносил меня из Рима на берег Средиземного моря, в древнюю Остию, я был изумлен именно этой грациозностью итальянской праздничной толпы, спешившей к дачному поезду. Ни одного вульгарного жеста, ни одного грубого движения.

Кстати сказать, тогда в Италии мне не повезло. Делегаты съезда поехали в знаменитый дворец Тиволи с его фонтанами, так напоминающими Версаль или Петродворец. День был жаркий, парк велик, и, разгуливая по нему, истомленный жарой, я забрался в грот и прилег у ног какой-то мраморной нимфы. Лег и заснул, а когда вышел из грота спустя полчаса, то с огорчением узнал, что делегаты были срочно созваны к автобусам и покатили в Рим, где их принимал дуче. Я совсем не был в какой-либо мере поклонником Муссолини, но мне хотелось на него посмотреть, и я досадовал на себя, как досадовал и на другой день, когда занятый корреспонденцией для газеты, прозевал прием у папы, организованный католическими делегатами съезда.

Однако такие вылазки в «большой свет» были у нас, студентов-эмигрантов, редкими. И звали нас в этот свет не часто, и средств для поддержания таких светских связей, от которых в конце концов большой пользы не было, также недоставало.

Вот что еще я должен сказать, вспоминая своих друзей двадцатых годов, себя того времени, а также последующий наш жизненный путь. У каждого свой и все же во многом общий.

Судьба молодого поколения эмиграции, его пути складывались неодинаково.

Оговариваюсь — я тут имею в виду прежде всего Прагу, но и в парижской эмиграции картина вырисовывалась примерно такая же. Только там выйти в люди было очень и очень трудно. Труднее, чем в Праге.

Одна из групп молодежи состояла из людей, которые безошибочным практическим чутьем, так сказать, хорошо развитым нюхом скоро почувствовали и поняли: вся политическая работа эмигра-

ции, весь пафос, направленный по этому пути,— а таковой был и отказываться от этого нельзя,— вся такая деятельность подобна толчению воды в ступе.

Отрыв от родины с каждым годом увеличивался. Огромные перемены, происходящие в родной стране, в которых трудно было разобраться за рубежом, были такими, что людям трезвой и практической складки становилось все труднее верить в упрощенное их толкование. Главное же и основное заключалось в том, что желание занять в жизни свое место, желание воспользоваться ее радостями, вступить в борьбу за место под солнцем с полным ощущением своих иногда недюжинных сил вскоре отвратили большую часть молодых людей от каждодневной работы в эмигрантских организациях. Чем более скудной в материальном и духовном отношении становилась база этих организаций, тем быстрее и решительнее происходил отход. Отходили часто люди способные, настойчивые и даже талантливые. А параллельно росли ряды тех, кто, как тогда говорили, уходил в местную жизнь, врастал в нее. Молодые инженеры увлекались работой на стройках, молодые эмигранты-врачи спешили украсить свои врачебные кабинеты новыми приборами и аппаратами; молодые коммерсанты, если они были удачливы, богатели, устанавливали международные связи, и их имена красовались на вывесках уже немалых торговых предприятий.

Однако эти люди, порвав с каждодневной политической и общественной жизнью эмиграции, не хотели порывать с ней связь вообще. Они продолжали считать себя русскими людьми и русскими эмигрантами. Только им, занятым реальным делом, некогда было, как некоторые из них любили говорить, отцеживать комара на бесчисленных эмигрантских собраниях. Так примерно формулировали они свое отношение к старым организациям. Вместе с тем, поскольку им удавалось преуспевать в жизни, они не знали той нужды, в которой жило огромное большинство эмигрантов, их классовыми интересами естественно и помимо воли становились интересы местной буржуазной среды.

Уходя, казалось бы, целиком в местную жизнь, эти люди, как я сказал, часто все же не могли оторваться полностью от тех специфических интересов, которыми жили эмигранты. Я знал, например, энергичных и одаренных коммерсантов из рядов эмигрантов, чья жизнь была заполнена работой и обогащением. Они не теряли времени, умели приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, были также не всегда слишком разборчивы в средствах. И в то же время эти люди после напряженных дней работы в погоне за жизненным успехом, за деньгами вечерами и в свободные часы неуклонно начинали тосковать. Они говорили о бессмысленности своей жизни, о неудовлетворенности тем, что многие из них, часто из практических соображений, взяли себе в подруги местных женщин, и эти жены растят детей, чуждых духовным интересам отцов.

Так это бывало часто и тогда, когда эти жены оказывались примерными.

Они искали выход в том, что в своих просторных квартирах, на своих дачах расставляли широкие столы на русский манер, заполняли их обильными русскими яствами, собирали большие русские компании, пели русские песни, пили русскую водку... и в душе по-русски горевали о пропавшей жизни...

А по утрам эти деловые люди были опять во всеоружии в своих канцеляриях, управлениях и торговых фирмах. Они были опять холодны, замкнуты, деловиты, эгоистичны, насмешливы ко всякой чувствительности, презрительно надменны и равнодушны с прямыми неудачниками.

Другая группа, гораздо более малочисленная, принадлежала к той молодой части эмиграции, которая оказалась крепче связанной со специфически политической и общественной средой эмиграции, с ее журналистикой и публицистикой. Несмотря на обеднение базы, неизбежное в эмиграции, представляющей не будущее, а прошлое своей страны, эти люди все же оставались в самой гуще того, что тогда называли общественной и политической работой. Изо дня в день они продолжали заседать в различных организациях и объединениях, участвовать в разработке новых программ, новых компромиссных формул и т. д. Они представляли собой как бы непосредственную смену старшего поколения политической эмиграции. Эта часть эмиграции особенно близко мне известна, как об этом нетрудно догадаться.

Став непосредственно за лидерами эмиграции, эта прослойка так и осталась в положении вечных, неуклонно стареющих юношей при совсем состарившихся руководителях. Она, так сказать, увяла на корню.

Нужно тут оговориться: обе группы молодой эмиграции, о которых я сейчас вспоминаю, были все же как бы избранными. Огромное же большинство не занималось ни политикой, ни деловой жизнью. Для них изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год основным была суровая и безрадостная борьба за существование внизу социальной лестницы, без надежды подняться на верхние ступени.

Между прочим, вопрос о том, должна ли эмиграция входить в местную жизнь, принимать гражданство тех стран, где она живет, обрастать жирком или она должна быть более, как тогда говорили, «принципиальной», не связывать себя формально со странами, в которых живет, оставаясь сугубо политической, превратился в предмет спора между главарями эмиграции.

Один из самых непримиримых противников советского строя, человек очень причудливой и сложной биографии П. Б. Струве стоял на первой позиции, утверждая, что только материально независимая и крепко связанная с местной жизнью эмиграция может представить интерес для того дела, которое он считал

основным,— борьбы с советской властью. Сторонники второго направления, среди них живший тогда в Праге бывший городской голова Москвы Н. И. Астров, считали, что эмиграция должна воздерживаться от вступления в гражданство страны, где она живет, не должна стремиться входить в местную жизнь, так как на этом пути она быстрее будет терять свое лицо и подвергаться денационализации.

Так или иначе, этот спор решила жизнь. Она решила его так, что и те, кто принял гражданство и пустил корни в окружающую среду, и те, кто соблюдал чистоту риз и подчеркивал свою эмигрантскую сущность, одинаково покоятся на том русском кладбище в Праге, о котором я рассказывал, как и на многих других кладбищах под всеми долготами и широтами.

Кстати, в Чехословакии та часть более молодой эмиграции, которая стояла на первом пути, то есть на пути внедрения в местную жизнь, став на ноги, окрепнув и оперившись, создала в самом начале тридцатых годов свою собственную общественно-политическую организацию «Второе поколение» и даже собственную газету под тем же названием.

Эти тогда уже только относительно молодые, уверенные в себе люди, проявившие немалое дарование в борьбе за комфортабельное место под солнцем, с такой же уверенностью приступили и к формулировке своих общественно-политических позиций. Однако тут их ожидала полная неудача.

Отгораживаясь от старого поколения эмигрантов, в котором они видели догматиков, людей, оторванных от жизни и необоснованно продолжающих претендовать на руководство эмиграцией, сами они — эти представители «второго поколения» — не выдвинули ни живой новой программы, ни, главное, нового живого отношения к родине. В основных вопросах они полностью оставались в плену старых традиционных эмигрантских представлений и, скажу прямо, предрассудков. Они к тому же не обладали ни сведениями, ни четкостью в определении идеологических линий, ни политическим горизонтом, необходимым для руководства. Главное же — живая реальная жизнь родины была от них так же далека, как и от старых руководителей эмиграции, а психологически иногда и дальше.

Вышло так, что это движение «второго поколения», представленное рядом способных деловых людей, в политическом и общественном отношении оказалось всего лишь одним из случайных тупиков, в который судьба завела в долгие годы эмигрантского безвременья этих в житейском отношении зорких людей.

В судьбах русской эмиграции «второе поколение» — лишь небольшой эпизод. «Движение» это, если тут уместно это слово, не сыграло в Праге значительной роли, как и близкие ему по духу подобные начинания в других странах. И все же оно было очень

характерно как проявление глубокой неудовлетворенности руководителями-отцами, как ясный кризисный признак.

Я же, вспоминая маленькую газетку «второпоколенцев» и статьи, в ней опубликованные, хочу сейчас назвать некоторых из ее вдохновителей, рядом с которыми прошла и моя жизнь, хотя шли мы всегда разными путями и немало друг с другом боролись на общественном фронте, оставаясь в остальном друзьями.

Н. В. Быстрова я знаю с 1917 года. Помню его самоуверенным, способным гимназистом, настойчивым и напористым, хорошим председателем наших шумных петроградских молодежных сходок в революционные месяцы семнадцатого года. Вместе с ним я сидел в 1941 году в гестаповской тюрьме. Знал его и «второпоколенцем» в более ранние годы эмиграции. Тогда он низвергал, далеко не всегда удачно, эмигрантские авторитеты. Знаю его и теперь, когда он тяжелой походкой старого, очень много пережившего и слишком много работающего человека обходит своих заказчиков, разносит и развозит им бесчисленные свои переводы с самых разных языков и на самые разные языки.

А. И. Федоров сумел из студента-стипендиата в течение немногих лет стать, участвуя в торговле текстильными товарами, состоятельным человеком. Вот как раз один из тех, кого никогда не удовлетворяла одна только деловая жизнь. Он хотел общественной работы, побывал в ряде зарубежных русских организаций и печатал свои статьи у «второпоколенцев».

В 1945 году перед приходом советских войск в Прагу, когда для эмигрантов пришло серьезное время испытаний, Федоров, обладавший средствами и связями, которые помогли бы ему легко и хорошо устроиться на Западе, не захотел уклониться от встречи с родиной, не захотел принципиально. Он сумел стать и потом выше личных ударов и в конце концов нашел свое место в новой социалистической Чехословакии. Он любит родину и ее успехи. А я, любя наблюдать людей, рад, когда в его больших голубых глазах, часто холодных и жестких, загораются теплые, радостные огоньки при беседе о России, о современной жизни в ней, о советских достижениях.

Е. В. Тарабрин — также когда-то активный «второпоколенец». Всю свою жизнь носил он маску известного как бы снобизма и высокомерия, что трудно переносилось окружающими. Но в близкой ему среде он умеет быть другим. Он хороший товарищ, неутомимый спорщик обо всем на свете и прежде всего о родине — России. Он раньше работал в эмигрантских организациях, с 1945 года целиком включился в новую жизнь, пройдя по этому пути дальше других.

Почему я сейчас вспоминаю этих людей? Да потому, прежде всего, что на них, людях, умеющих занять свое место в жизни, особенно наглядно виден как заколдованный круг, в который попадают те, кто с молодых лет лишен своей родины, так и тот выход, который находят люди, встретившись с этой родиной.

Последние могикане

А теперь с верхних политических ярусов надо спуститься в партер и ложи бенуара.

Уже в первые месяцы моей жизни в Праге и работы в студенческих организациях я сразу же очень заинтересовался той разгорающейся внутренней борьбой и явными разногласиями, которые возникли, а потом и бушевали между членами ЦК кадетской партии, оказавшимися за границей. Эта борьба в последующие годы развернулась широко, выйдя далеко за пределы партийного руководства.

До сих пор помню, как я был ошарашен, когда, приехав в Софию, на большом политическом собрании услышал доклад одного из руководителей правого крыла кадетов А. В. Карташова, плевшего сказки и небылицы о том самом Галлиполи, откуда я только что попросту бежал, отдавая себе отчет в том, что «белое движение» окончательно кончилось и начинать сказку про белого бычка сначала по меньшей мере ни к чему. У Карташова же была все та же линия — продолжающегося «кубанского похода». Этот ученый человек, министр правительства Керенского, ораторствовал перед тысячной аудиторией внимательно слушавших русских беженцев, растерянных, дезориентированных, несчастных, ищущих объяснения случившейся катастрофе. Карташов ораторствовал, закрыв глаза, в данном случае в прямом смысле этого слова — такова была его манера публично выступать. Но глаза его были крепко сомкнуты и в переносном смысле, иначе он не мог бы так баззастенчиво искажать истину.

Он внушал слушателям важность сохранения белой армии во что бы то ни стало. Говорил о том пафосе продолжающейся борьбы, которым она будто бы живет. На самом же деле о возможности скорого продолжения борьбы в Галлиполи мало кто думал, там преобладало уныние, а у более активных людей — стремление вырваться на чистый воздух. Психология перманентного «кубанского похода» как-то окрепла позже, когда палатки галлиполийского лагеря и французский солдатский паек стали лишь воспоминанием. Когда верность «белому движению» для огромного большинства тех же галлиполийцев стала только академическим лозунгом, мало к чему обязывающим.

Карташов говорил о долге политических руководителей эмиграции поддержать своим авторитетом белую армию, потерявшую после своего поражения всякое значение. Он хотел быть одним из ее идеологов. Таким было содержание этого выступления, поразившего меня тогда полной оторванностью от действительности и элементарной правды. Такова же была и вся позиция правого крыла кадетской партии, не желавшего порывать с идеологией «белого движения».

Потом, побродив по разным эмигрантским центрам, лично познакомившись с их руководителями, я увидел, что в самом деле целый ряд виднейших руководителей этой партии полностью разделял карташовскую позицию. Они ее только несколько по-разному формулировали, каждый по-своему в соответствии со своим личным темпераментом, с личным прошлым, со своей долей участия в белой борьбе.

Такова же была линия князя Павла Долгорукова, потом плохо кончившего свою жизнь. Братья-близнецы Долгоруковы, принадлежавшие по рождению к высшей русской аристократии, оба с молодых лет примкнули к либеральному лагерю тогдашней русской общественности. Оба они заняли в нем руководящие места, может быть, в значительной мере благодаря своему имени. Оба активно участвовали в политической работе кадетской партии, формальным председателем которой одно время и был Павел Долгоруков. В либеральных кругах в старой России его прозвали «лидером без слов». Действительно, Павел Долгоруков не отличался красноречием, а реально линию партии определяли другие ее руководители.

Оба брата были люди далеко незаурядные, с сильными характерами. Их друзья, как и их противники, часто говорили, что Долгоруковы органически не знают чувства страха. К борьбе же в условиях революции они оба были мало пригодны, чтобы не сказать вовсе не пригодны.

Характерен рассказ за самоваром их приятеля и политического единомышленника, министра путей сообщения Временного правительства при Керенском П. П. Юренева. Юренев, как и Павел Долгоруков, ожидал в Москве — дело происходило в 1918 году — возможности пробраться на юг в стан белых, чтобы принять участие в гражданской войне. Оба были на нелегальном положении, скрывались. Это, однако, не мешало Долгорукову выходить по утрам на московские бульвары и сидеть на скамеечке погруженным в чтение газет. Темные очки и сбритая борода были малой гарантией его законспирированности. Когда знакомые с изумлением перед ним останавливались и спрашивали, что же он в Москве делает, он неизменно отвечал: «Долгорукова в Москве нет, что же до меня, то я читаю тут советские газеты».

Юренев уехал в глушь Новгородской губернии и там ожидал от Долгорукова вызова в Москву, чтобы двинуться с ним на юг. Условились о конспиративном письме, которым Долгоруков известит Юренева. Такое письмо и было получено. Престарелая тетушка вызывала Юренева на определенный день и час в Москву на похороны своего мужа. Письмо было торопливое, слезливое вполне естественное, и Юренев был доволен, пока не дошел до подписи, где значилось: «Ваш князь Павел Долгоруков».

Так вот этот «великий конспиратор» проживал первые годы эмиграции в Париже, твердо стоя — в соответствии со всей

своей психикой — на традиционных белогвардейских позициях.

Однако это был человек, хотя и не глубокой, но свободной мысли, и он не мог не ощущать: что-то в этих позициях не все в порядке. Павел Долгоруков, как и его брат Петр, которого я близко знал по Праге — с ним я много лет работал в эмигрантских организациях,— любил ясность, любил находить ее сам и не затрудняться препятствиями. Он и тут хотел разобраться до конца в том внутреннем расхождении, которое начинал ощущать с проводимой им линией. А кроме того, и, вероятно, это было главное, его грызла в душной парижской комнатке постоянная, свирепая тоска по родине. Так пришел Павел Долгоруков к решению отправиться в Советский Союз, посмотреть на тамошнюю жизнь.

Он при этом не отказывался и от задачи связаться со своими бывшими единомышленниками и, если можно и нужно, организовать их для антисоветской работы.

Словом, в один какой-то день он исчез из Парижа. Долгоруков переправился через Польшу в Советский Союз, где и странствовал в виде престарелого, обросшего неряшливой бородой крестьянина.

Первая поездка сошла ему с рук. Его снова видели на парижских улицах и в кафе. Долгоруков поехал вторично, но был задержан в Харькове или где-то возле этого города и расстрелян по процессу 48-ми, имя его стояло в списке первым.

Долгоруков был непримиримым врагом советского строя и советской власти, сознательно идя на то, что его встретило. Так, вероятно, и поняли его те люди, которые решали его судьбу.

А вспомнил я его прежде всего как одного из упорных представителей все того же мертворожденного лозунга — «кубанский поход продолжается». Только Долгоруков, усомнившись в нем, ушел один на передовую линию того фронта, который ему рисовался, а фронта этого на самом деле почти уже и не было.

Общественные работники эмиграции, занятые прежде всего ее бытом, благоустройством,— члены правления Объединения русских эмигрантских организаций в Чехословакии имели в своих рядах в качестве одного из бессменных руководителей человека, очень заметного не только по звучному имени, которое он носил, но и по многим своим, далеко не так часто встречаемым качествам.

Когда я вспоминаю этого человека, мне всегда приходит на память холодное, ветреное октябрьское утро. Стоя на передней площадке трамвая, я спешил по какому-то делу в район, где находилось министерство иностранных дел. Было это еще задолго до войны. Путь шел по широкой красивой каштановой аллее, одному из живописнейших уголков Праги. Трамвай обогнал высокого, старого, сильно уже согнувшегося грузного человека в длинном, когда-то, вероятно, дорогом, но очень ветхом пальто, в необыкновенно потрепанной шляпе и низко спустившихся на полуботинки брюках, наверное, давно не встречавшихся с утюгом. Когда этот

человек повернул немного влево и я увидел его сзади, в глаза мне бросились большие дыры на его носках. Так, с этими голыми пятками, рюрикович Петр Долгоруков-младший близнец торопился в министерство иностранных дел.

По разным делам ходили русские эмигранты в это министерство. Часто, чтобы о чем-то похлопотать для себя. Но можно было с уверенностью сказать, что Долгоруков, заместитель председателя Объединения русских эмигрантских организаций, шлепал по лужам в холодное осеннее утро лишь для того, чтобы упорно и даже надоедливо просить за какого-нибудь нуждающегося беженца.

Петр Долгоруков, как и его брат Павел, с самых молодых лет увлекался политикой. Он был даже когда-то товарищем председателя первой Государственной думы, подписал Выборгское воззвание, «пострадал» за него — не мог быть избираем в дальнейшие Думы — и проживал в богатом своем имении Курской губернии. Эта тяга к участию в политической жизни, эта его внутренняя уверенность, что он должен деятельно участвовать в решении политических вопросов, жила в нем и в эмиграции. Он плелся в хвосте тенденций белой борьбы, находясь к тому же всегда под влиянием окружающих его, более сильных в политическом отношении людей, которые беззастенчиво использовали его для пропаганды какого-либо очередного никчемного начинания. Так это было при разговорах о созыве так называемого «зарубежного» съезда, на котором вся антисоветская эмиграция должна была по представлению непримиримых сторонников «активной» борьбы объединиться, чтобы нанести советской власти «последний и решительный удар». Долгорукова упорно склоняли также выступить в пользу замены ставших традицией «дней русской культуры» — обычно в такие дни отмечались какие-либо крупные события или даты культурной истории России — «днями непримиримости». Эти «дни» — кстати сказать, затея эта успеха не имела — должны были культивировать среди начинавшей освобождаться от старого гипноза эмиграции все ту же бессмысленную и безнадежную идеологию «кубанского похода», который будто бы наперекор очевидности и здравому смыслу все время продолжается или, во всяком случае, вот-вот продолжится.

В политической области Петр Долгоруков не только не ушел вперед от тех же сотоварищей по русскому либерализму, которых я здесь вспоминаю, но и оставался часто позади многих из них. Выходило так, что он неуклонно склонялся всегда, когда предстоял выбор, к более реакционным кругам, к тем, кто хранил верность «историческим традициям», официальной церковности и всему тому кругу идей и представлений, который тому же Долгорукову в его молодости был достаточно чужд. Если, в частности, в Праге Долгоруков с неохотой встречался с «левыми» людьми, хотя бы с теми же эсерами, то в былые годы его отношение к ним было другим. В 1906

году, например, когда он после подписания Выборгского воззвания опальным политическим деятелем отсиживался в своей усадьбе, произошел в этом смысле показательный эпизод, о котором он сам мне как-то рассказывал.

Под вечер в его кабинет вошел слуга и сообщил, что в дом пришла монахиня, желающая лично с ним побеседовать. В те годы, вспоминал Долгоруков, он к монахиням отношения не имел и потому просил узнать, что пришедшей нужно, зачем именно она пожаловала. Монахиня продолжала настаивать на личной беседе с глазу на глаз. Долгоруков принял ее в своем кабинете и, когда она вошла, увидел закутанную не только в монашеское одеяние, но и в большую шаль невысокую женщину, которая степенно, совсем по-монашески, ему поклонилась, а потом, когда слуга оставил комнату, быстро подошла к нему и, подняв руку, спросила: «Неужели не узнаете, Петр Дмитриевич? Я ведь Брешко-Брешковская. За мной следит со всех сторон полиция, и мне нужно пожить у вас в усадьбе».

— Делать было нечего,— вспоминал Долгоруков,— и мы провели несколько вечеров в интересных беседах и долгих спорах с Брешковской, которую я раньше почти не знал.

Петр Долгоруков часто уезжал летом из Праги в Карлсбад (ныне Карловы-Вары). Его жена болела печенью, а он любил этот курорт больше по старым воспоминаниям. У него почти совершенно не было денег и жил он там в какой-то жалкой комнатушке, привозя с собой примус, который и был основой их благополучия. Но Долгорукова это нисколько не смущало. Он гулял по парку и чувствовал себя отлично. Как-то, проезжая через Карлсбад далее, в Мариенбад (ныне Марианске-Лазне), я встретил его недалеко от памятника Бетховену. Долгоруков шел один, чему-то весело и хитровато улыбаясь.

— Чему вы, Петр Дмитриевич?

— Да вот, представьте, прохожу я мимо того вот фешенебельного отеля, окликает меня старый швейцар: «Князь,— кричит он мне почему-то по-французски,— вы помните меня?»

Я действительно узнал его. В старые годы он стоял на своем посту в галунах, изъясняясь с гостями на многих языках. «А помните,— говорит,— князь, вы у нас останавливались и вот здесь, у этих окон сидели в кафе с господином Клемансо и заказывали свой завтрак»...

Долгоруков пошел со мной к автобусу, на котором я должен был ехать дальше и на прощание задумчиво мне сказал: «Я ведь тогда действительно встречался с Клемансо... Наше правительство вело переговоры с французами о займе, а мы ставили какие-то условия, вставляли палки в колеса... Я не знаю, были ли тогда либералы правы?..»

Долгоруков пересматривал свое прошлое и жался к старым, отмершим охранительным началам. Таково его настроение после

Октябрьской революции и гражданской войны. Но о былом богатстве, известности и знатности, галунах швейцара нарядного отеля и самого общества прославленных политических деятелей, мне кажется, он не жалел.

Я так много говорил о Петре Долгорукове не только потому, что лично изо дня в день близко наблюдал его жизнь, но еще, чтобы сказать о том, как политическая предвзятость и классово-сословная психология закрывали пути к правде.

Вскоре после доклада Карташова в Софии я впервые узнал об иной позиции некоторых кадетских лидеров, о новой тактике Милюкова. Эта позиция живо тогда меня заинтересовала, в ней было открыто сформулировано признание полного краха «белого движения», а также отказ от какой-либо поддержки его эпигонов и всякого рода военных организаций эмиграции.

Я тогда глубоко переживал крах «белого движения»; именно идейный крах больше, чем военное поражение. К тому же, я помнил свою юношескую связь с кадетской партией в 1917 году, хотя живые воспоминания об этой связи и потускнели несколько на полях гражданской войны. Так или иначе, но я в скором времени примкнул активно к левой группировке кадетской партии, став, как тогда говорили, «милюковцем».

В 1922 году мне пришлось совершить первую поездку из Праги в Париж и Женеву по студенческим делам. Тогда-то я впервые в эмиграции встретился с Милюковым и другими деятелями эмигрантского политического Олимпа.

Помню буржуазно обставленную, как бы полуконспиративную квартиру в Париже, в которой жил тогда Милюков, полускрываясь от попыток покушения на его жизнь справа, со стороны крайних монархистов.

Я пришел к Милюкову отчасти по студенческим делам, а отчасти как молодой его единомышленник. Навстречу мне быстро поднялся невысокий плотный, аккуратно одетый старик со своей всегдашней приветливо сдержанной манерой и официально-любезной полуулыбкой на румяных губах. Я хорошо помнил внешность Милюкова по Петрограду 1917 года и увидел, что он, оставаясь очень крепким и свежим, все же сильно постарел.

Приняв меня в этой не принадлежавшей ему квартире, куда доступ посторонним был наглухо закрыт, Милюков не пожалел времени развернуть передо мной ту аргументацию, с которой он начал тогда борьбу внутри партии, или, вернее, внутри ее центрального комитета — большинство членов его оказалось в эмиграции.

— Белое движение,— настойчиво повторял Милюков,— кончилось и никогда не возобновится. Вы должны это до конца усвоить и неустанно повторять среди ваших товарищей. Революция утвердилась, и путей ее пресечения нет. Отсюда необходим один очень

важный вывод: советская власть оказалась гораздо крепче и гораздо народнее, чем это думали.

Революционный процесс пошел по другому пути, продолжал он, чем этого многим и ему самому хотелось, и никакого возврата не только к старому, дореволюционному миру, но и к «белому движению», выросшему уже в годы революции, нет и не будет.

Расчет, твердил Милюков, может быть только на то, что советский строй, советская система в ходе событий и под влиянием действительности и предъявляемых ею требований будет меняться, эволюционировать, приспосабливаясь к жизни. К этой эволюции, к возможности такой эволюции нужно также приспосабливать новую тактику. Другого пути нет. Кадетская партия должна выбросить весь ставший одиозным балласт недавнего прошлого. Она должна прежде всего во всеуслышание отказаться от своего конституционного монархизма и от помещичьих замашек многих видных своих представителей. Надо понять, повторял Милюков, что к власти пришли в России новые слои, совсем новые. Учитывая этот факт, партия и должна строить свою тактику за границей.

— Основная очередная задача наша,— говорил Милюков,— борьба против остатков идеологии белого движения, против пережитков гражданской войны.

При всем том Милюков оставался решительным противником советского строя. Такова была не простая линия и не простая аргументация Милюкова в первые годы эмиграции. То, что я от него услышал в Париже, очень меня привлекало. Потом мне приходилось помногу беседовать с кадетским лидером в разной обстановке, и я хорошо знал, что это был человек весьма сложный и по своим политическим установкам, и по личным качествам.

Милюков настойчиво отстаивал свою новую тактику от нападок близких товарищей по партии. При этом он публично в своей газете «Последние новости» бросил им горький упрек в том, что трудно им, крупным помещикам, титулованным людям, в эти острые дни потери родины и краха белой борьбы до конца отказаться от сословной психологии и классовых интересов. Он напоминал им, князьям Долгоруковым, графине Паниной, Набокову, Родичеву и другим кадетским лидерам, в прошлом крупным помещикам и аристократам, слова генерала Деникина о том, что желание многих помещиков вернуть им их землю ставило его в трудное положение.

Несколькими годами позже автор новой тактики, уделявший особенное внимание коллективизации в СССР, русской деревне и крестьянству, как-то в тесном кругу единомышленников в моей пражской квартире поразил меня жившим в нем сомнением по вопросу, о котором среди эмигрантов сомнений и споров, кажется, не было. Колхозный строй вызывал у них общее отрицательное отношение, в его успех решительно не верили. Казалось, особенно ясной должна была быть в этом вопросе позиция Милюкова. А он

в ответ на иронические замечания о колхозной системе, высказанные одним близким ему тогда агрономом, вдруг заявил: «Вы знаете, это не так просто! Я совсем не уверен в абсолютном неуспехе колхозов. В этой системе есть здоровые начала, особенно для России. Да и в прошлом в нашей истории, как вы знаете, были явления, весьма способствующие утверждению колхозов, во всяком случае в Великороссии».

Собеседник Милюкова да и мы все, присутствующие при этом, были поражены этой репликой и долго не могли с ней примириться. Не возвращался прямо к этой теме и сам Милюков.

Я уже много раз называл это имя, и, вероятно, мне придется к нему еще возвратиться. Сейчас же я хотел бы здесь отметить одно очень важное, как мне кажется, обстоятельство: Милюков в своем отрицании старой тактики его партии и классов, ее поддерживающих, был реалистом. Он был реалистом в своем признании необходимости отказа от того, что большинство его недавних политических друзей считало еще живым или, вернее, не хотело признать умершим. Он глубже их видел ход процессов в России, смелее судил о них и реальнее большинства своих товарищей понимал положение эмиграции.

При всем том, однако, он оставался оторванным от жизни в одном очень важном, вернее, решающем моменте, что и определило потом политическую судьбу его лично и людей, шедших за ним.

Остановлюсь на этом подробнее. Милюков приспосабливался и, надо сказать, не без искусства, к чему?.. К воображаемой им «эволюции советского строя» в том смысле, в каком он сам этой эволюции желал, а именно к неизбежному и неустранимому, как он ошибочно считал, изживанию коммунистической идеологии. Он считал обязательным этот процесс. Со свойственным ему упорством и настойчивостью он изо дня в день искал тому подтверждение. Словом, он ждал и искал какого-то русского «термидора». Каждое явление, которое хотя бы отчасти, хотя бы при всех натяжках могло в какой-то мере поддержать это положение, он радостно регистрировал, преувеличивал и искал его смысл. Убедившись же в очередной ошибке, снова и снова искал дальше...

Милюков в этой своей надежде на выветривание идеологии Октябрьской революции как революции социалистической уже переставал быть реалистом. Силу идеологического заряда, который несла эта революция, он явно недооценивал. Недооценивал в самом ходе революционных событий прежде всего потому, что в свое время, да и потом, не признавал того, что идеологии Октябрьской революции суждено сыграть в мире огромную роль.

В этом и было заблуждение Милюкова, вероятно, неизбежное и неустранимое, ибо оно было связано со всем мироощущением, с которым Милюков и люди его типа жили, со всей личной их биографией.

Но жизнь продолжалась и после их смерти и давала все новые подтверждения одному и тому же.

Русская революция шла под знаком определенной идеологии не потому, что государственная власть благодаря неумению или слабости средних элементов попала в руки «крайних». Произошло так потому, что эта идеология «крайних элементов» оказалась идеологией нового времени, идеологией, которая стала руководящей в огромной стране, охваченной революционным пожаром, как идеология завтрашнего дня. И ведь не случайно же под знаком этой идеологии стоит сейчас много народов и много стран.

Я не хочу утверждать — это была бы ложь,— что к этим выводам я пришел, когда слушал Милюкова, в первые или последующие годы эмиграции.

Нет, должен сказать, что я был тогда далек от этих взглядов, к которым пришел постепенно, много позже, когда человек, о котором я рассказываю, уже давно покоился в могиле.

И все-таки я позволю себе в этих записках на минуту отвлечься в область публицистики, чтобы сказать, что остатки русской эмиграции должны в наши дни не только учесть уроки прошлых лет, но и очень внимательно оглядеться вокруг себя, присмотреться к жизни многих стран. Я уже не говорю их родины — России. И тогда они увидят, что коммунистическое движение совсем не случайно так прочно вошло в политическую жизнь очень многих государств.

Перестраивая ряды своих сторонников, Милюков оставался оптимистом. Оптимизм был свойствен его сильной и здоровой натуре, а главное, он хорошо знал, как ни на один день недопустим пессимизм для политического деятеля, претендующего оставаться у руля. И в этом, вероятно, было его основное расхождение с другим кадетским лидером, всегда принадлежавшим к правому крылу партии, а в эмиграции стоявшим особняком. Я имею в виду В. А. Маклакова, одного из лучших ораторов дореволюционной России, лучшего, как утверждали многие, «трибуна» последней Государственной думы, старого русского либерала и брата одного из самых реакционных деятелей царского правительства последних лет — министра внутренних дел Н. А. Маклакова.

В. А. Маклаков также признавал крах «белого движения», необратимость этого краха и полную нереальность путей к прошлому. Но в то время как Милюков рассчитывал, что его провозглашенный им в эмиграции «республиканский демократизм» открывает какую-то дорогу, какую-то, скажем, всего лишь тропинку в новую Россию, которая якобы непременно должна прийти к «термидору», Маклаков этих надежд не разделял. Он считал, что новая Россия идет каким-то иным путем, с которым у него и ему подобных точек соприкосновения нет. Он это открыто и высказывал в редких своих выступлениях и в переписке с деятелями кадетской партии. Он был полным пессимистом при оценке эми-

грантских возможностей и считал, что приводного ремня от эмиграции к Советской России нет и натянуть его нельзя.

Когда же я спросил Милюкова во время одного из его приездов в Прагу, чем занят Маклаков в Париже, он с веселой улыбкой ответил: «Представьте себе, уже третье или четвертое поколение женщин соблазняет все теми же стихами, притом не им еще и написанными».

Впрочем, Милюкову завидовать тут кому-нибудь никак не приходилось. Я был молод, не искушен и изумлялся его искусству в глубокой старости привлекать молодые женские сердца. Помню, Милюков жил в Праге у меня, и вечером, после утомительного дня, мы расположились в нашей кухоньке ужинать. Звонок — молодая красивая женщина из самых «непримиримых». «У вас Милюков... фи! Я лучше пойду домой!..» Уговорил гостью остаться, а через час она уже не мигая широко раскрытыми глазами смотрит Милюкову в рот, а он с увлечением расспрашивал о новых фильмах, как будто придавая ее словам огромное значение, выражая всем своим лицом, всей фигурой живую заинтересованность и сдержанное, почтительное поклонение. Еще один успех!

Что же до В. А. Маклакова, то вторая мировая война и ее исход многое изменили в его представлениях. У него был уже некоторый контакт с советским посольством. Он уже переставал, вернее, перестал быть проповедником одного только пессимизма.

А теперь, раз уж вышло так, что мы задержались у кадетского эмигрантского ареопага, хотелось бы вспомнить о живо оставшемся в памяти посещении в Лозанне известного кадетского оратора, в свое время широко гремевшего по России — Ф. И. Родичева.

Новая тактика Милюкова была этим трибуном русского либерализма принята в штыки. Он видел в ней измену самой идеологии, которую представлял Милюков и руководимая им партия. Он считал, что эта партия не имеет права отказаться от «белого движения» и пойти так далеко по пути признания революции. Самая же эта революция была для Родичева — я говорю сейчас о нем подробно, так как он в известном смысле олицетворяет для меня целый круг людей — прежде всего трагедией, глубокой личной трагедией.

В самом деле: он проповедовал свободу, он пропагандировал частичное принудительное отчуждение помещичьих земель, конечно, с солидным выкупом, он ратовал за всеобщую грамотность, за культурный подъем «низов», он боролся с царским правительством за конституцию, стремился к расширению прав российского парламента и к ответственности правительства перед ним, а не перед царем. Так это шло долгие годы. И вдруг в какие-то несколько дней — или, точнее, несколько месяцев — все радикально меняется. Землю совсем без помощи Родичева и, наоборот, вопреки ему берут в свои руки крестьяне. Нет не только Государственной думы,

одним из самых популярных ораторов которой привык быть Родичев, но и Учредительного собрания. Нет уже на русских просторах и белых генералов во главе белых армий...

А народные массы, которые Родичев хотел просвещать и уровень которых хотел поднимать, совсем без Родичева и вопреки ему заполнили всевозможные исполнительные комитеты и советы, взяв судьбы страны в свои руки. Неграмотность же народных масс, о которой привык говорить Родичев, с каждым годом с потрясающей быстротой ликвидировалась представителями новой народной интеллигенции, тоже без Родичева и вопреки ему. И если жизнь его была в безопасности, то только потому, что он оставил берега северной Волги, где было его имение, и обосновался на берегах Женевского озера.

Маленький, более чем скромный пансион, поскрипывающая деревянная винтовая лестница на второй этаж, низкие, маленькие комнатки и большой, грузный старик со старомодным пенсне на носу, с резкими, крупными чертами лица, большими, начинающими угасать, светлыми глазами, с манерами, совсем не рассчитанными на клетушки, в которые он был заключен. Я помнил Родичева на петроградских митингах всего за четыре года до этой встречи и был поражен происшедшей переменой. Провал русского либерализма согнул плечи этого далеко не слабого человека.

Родичев произнес тогда в своей тесной комнате целую громовую речь о судьбах революции и путях зарубежных русских людей, и голос его звучал так же громко и почти так же страстно, как и в залах Петрограда и Москвы, где я его слышал в месяцы Февральской революции. Он клеймил своего старого друга Милюкова за измену, за «прислуживание большевизму». А потом в печати клеймил появившихся в эмиграции высланных из Советского Союза Е. Д. Кускову и ее мужа С. Н. Прокоповича, призывавших к более спокойному и трезвому отношению к русской действительности и к самому советскому строю, называя их тогда в запальчивости, как я вспоминаю, «полувысланными-полупосланными». А были это тоже старые его приятели.

Спускаясь по скрипучей лесенке из лозаннского жилища Родичева, я чувствовал какой-то тяжелый гнет; он давил на меня, не давал возможности радоваться красотам Женевского озера.

В самом деле! Что случилось с этим человеком? Это была не только тоска большого старого тела, замкнутого в непривычно для него маленькие каморки заштатного пансиона, и даже не только тоска души, оторванной от родины и как бы оскорбленной в лучших своих, как ей казалось, верованиях. Это была еще — и это было самое страшное — скованность мысли, не дающая возможности этому незаурядному человеку немного глубже и спокойнее всмотреться в происходящее на его родине. Эта же скованность мысли лишала его возможности отказаться от целого ряда представ-

лений и предрассудков, которые так часто становятся даже у выдающихся людей второй натурой.

Забыть себя, если не отказаться от себя, Родичев тогда не смог, а, вероятно, это и был тот единственный путь, который помог бы ему ближе подойти к русской действительности и увидеть, что страна твердо стоит на пути, гарантирующем лучшее будущее, то исключительное, во многом ведущее в мире место, которое ей теперь принадлежит. Этого столп русского либерализма, встреченный мной в Лозанне, представить себе не мог. И поэтому-то в комнатах захудалого пансиона и бился этот либерализм в самом деле в безвыходном тупике.

А на другой стороне Женевского озера, на самой окраине Женевы, среди необыкновенно обольстительных дач и вилл, в небольшом, но нарядном домике, увитом какими-то живописными растениями, разместился тогда целый выводок людей, во многом подобных Ф. И. Родичеву. То были люди, из которых почти каждый имел в предреволюционной России широкую, а то и всероссийскую известность. Кто они?

Председатель кадетской партии, популярный земец И. И. Петрункевич со своей примечательной женой и дочерью ее от первого мужа графиней С. В. Паниной, которая была членом центрального комитета кадетской партии и товарищем министра народного просвещения во Временном правительстве. Далее — близкий ее друг московский городской голова после Февральской революции 1917 года известный кадет Н. И. Астров.

С этими людьми в разных комбинациях мне приходилось потом очень часто встречаться и работать в Праге. В Женеве же я их увидел впервые, и, должен признаться, очень они были обходительные люди и очень меня тогда пленили.

Только потом, когда я стал постарше и немного поумнее и когда прочел воспоминания Петрункевича, написанные, правда, в очень пожилом возрасте, я был удивлен скудостью мысли автора. Это были воспоминания земского деятеля, пришедшего в губернскую земскую управу совсем легким путем из богатой помещичьей усадьбы, но это ни в какой мере не были строки, написанные политиком, личностью, стоящей в уровень с событиями, переживавшимися Россией в первые годы нашего столетия.

Потом этому наблюдению, относящемуся к Петрункевичу, я много раз находил подтверждение применительно к ряду известных русских деятелей-земцев, либеральных профессоров, ушедших в политическую и общественную работу и претендовавших, внутренне во всяком случае, на очень многое. В самом деле, быть политиком вовсе не просто, и вовсе не одна образованность, ученость и дворянская обходительность были для этого необходимы.

Слишком искусственна была среда, в которой эти люди выдвинулись и которая их выдвинула. Слишком слаба была конкурен-

ция, слишком много общественных и политических талантов не могло найти себе в старой России выявления. Обхожу сейчас чисто идеологическую сторону дела.

Вот почему, как мне кажется, крупные землевладельцы помещики, часто из поколения в поколение образованные люди, притом люди опытные в обращении с окружающими, в случаях, когда они шли не вправо, в царскую администрацию и бюрократию, а влево, в ряды либералов и конституционных демократов, а иногда и левее, вплоть до анархистов, как-то сразу, автоматически занимали руководящие места. Дальнейшие события, впрочем, показали, что многим из них крутые повороты истории оказались совсем не по плечу.

Знавал я и другую группу лидеров русской либеральной среды — философов, историков, социологов. Увы, и среди них трудно было увидеть людей, которые сохранили способность смотреть вперед, а не назад.

В самом деле, разве не удивительно, что такой знаток общественных отношений человечества и историк философии права, как московский профессор П. И. Новгородцев, оказавшись эмигрантом в Праге, не мог придумать ничего менее оправданного историей и менее отвечающего реальной обстановке, как создание для эмигрантской молодежи в чехословацкой столице русского юридического факультета. Этот факультет должен был жить, обучать наукам строго по уставу 1889 года и точно по дореволюционной учебной программе.

И сам Новгородцев, и большой русский знаток римского права Д. Д. Гримм, седой подтянутый старик с манерами жреца науки, написавший блестящий курс догмы римского права и представлявший одно время профессуру в Государственном совете, и П. Б. Струве, начавший с приверженности к социализму, а потом ставший одним из оплотов «либерального консерватизма», прежде всего заботились о том, чтобы не нарушать параграфы названного университетского устава и программы преподавания. Они хотели выпускать, как они говорили, «совершенно необходимых России молодых юристов». Каких же именно? Прошедших тот же самый курс наук, который проходили их предшественники до революции. Не удивительно ли это, если вспомнить окружающую жизнь?

Я также окончил этот факультет; избрав его, а не одну из чехословацких высших школ, был уверен, что закончу образование на родине. Я не хотел бы быть неблагодарным в отношении моих учителей. И все же хочется сказать: мужи науки, назубок изучившие этапы великих революций, знающие их ход чуть ли не по дням, если не по часам, как они могли думать, что это начинание полезно и необходимо? Как могли они предполагать, что по мановению какой-то волшебной палочки университеты России, заполнен-

ные уже совершенно новыми людьми, вдруг опять заживут по старым уставам и старым педагогическим программам, когда и от самого права, действовавшего до революции в стране, ничего уже не осталось.

Слов нет! Новгородцев — горячий сторонник философского идеализма, картинно красивый человек, великолепный оратор и хороший опытный администратор, любивший строгий порядок и умевший его поддерживать,— был твердо уверен, что делает большое и доброе дело. Но что пользы? Окончившие факультет юристы не только никому в мире не были нужны, но не могли даже толком через несколько лет объяснить, что это в Праге был за факультет, почему и для чего! Люди просто их не понимали, и дипломы факультета были в самом подлинном смысле слова всего лишь «клочками бумаги».

Я привожу этот случай с русским юридическим факультетом в Праге, просуществовавшим «рассудку вопреки, наперекор стихиям» ряд лет, только как пример. Но это яркий пример удивительной политической близорукости виднейших представителей русской интеллигенции, притом людей, активно участвовавших в прошлом не только в общественной, но и прямо в политической работе.

Вспоминая женевский очаг Петрункевича, Паниной, Астрова, прежде всего не хотелось бы обойти молчанием необычного, надо это признать, человека — С. В. Панину.

Эта молодая, несметно богатая аристократка значительную часть своих огромных доходов ассигновала на просвещение российского пролетариата. В тех масштабах, в которых это делала Панина, случай этот в России был единственным. В тогдашнем Петербурге молодой знатной женщиной создан был на собственные средства большой Народный дом для рабочих с театром, библиотекой, лекционными залами... При этом Народном доме организовалось много курсов, где можно было получать и общее и профессиональное образование, обучали и просто грамоте.

Услышав об этом, можно было бы подумать, что молодая графиня — ее портрет, написанный знаменитым художником Репиным, и сейчас может увидеть в Ленинграде посетитель Русского музея — навсегда покончила со своей средой и ушла к совсем другим людям.

Однако это было далеко не так! Панина, ясно отдававшая себе отчет в значении для России народного просвещения, все же оставалась всегда на правом фланге русского либерализма. Это особенно ясно определилось в месяцы, когда рухнула не только старая русская государственность, которой на первых ролях служили многие предки графини Паниной, но и весь вековой уклад общественно-политических отношений.

В дни Октябрьской революции Панина со свойственной ей решительностью выступила в Петербурге на стороне Временного

правительства, затем стала горячей поборницей белой борьбы. Она сама мне рассказывала, как с фальшивым паспортом за пазухой, в одежде бедной крестьянки-мешочницы, закутанная в платки и шали, в валенках, она пробиралась через Москву, Орел и Курск далее на юг, к белой армии. Она ехала со своей родственницей, которую я потом хорошо знал в Праге, а в руках у нее был маленький чемоданчик, потрепанный, грошовый, не вызывающий никаких подозрений. В чемоданчике же этом — бриллианты и другие драгоценности двух богатейших русских родов Паниных и Мальцевых (род ее матери). Графиня везла эти ценности, как рассказывала мне, чтобы передать значительную их часть в руки генерала А. И. Деникина на нужды белой армии.

Вышло так, что на одной из станций, где поезд стоял неопределенно долго, а тогда это часто бывало, Панина среди тифозных, уложенных рядами в зале ожидания, увидела одного из своих знакомых и политических друзей И. Иваницкого. Он, так же как и она, пробирался на юг, а здесь, на этой заброшенной станции, лежал в полной беспомощности.

Панина занялась Иваницким, стараясь перенести его в один из вагонов, при этом в спешке и суете забыла на минутку о поставленном куда-то чемоданчике. Много в нем драгоценных камней и золота, но искать его нельзя: надо было сразу же уносить ноги подальше от станции и от чемоданчика.

Так с пустыми руками и явилась Панина на юг. Потом она стала неимущей эмигранткой. Надо отдать ей справедливость, она, по-видимому, совсем не грустила о потерянном богатстве.

И все же эта далеко незаурядная женщина так и не нашла потом пути к своей преображенной родине. Панина долгие годы жила в Праге. Перед оккупацией Чехословакии гитлеровцами она, относившаяся непримиримо к нацизму, уехала в Соединенные Штаты, где и провела войну. К очень ею нелюбимой Америке она, однако, привыкнуть не смогла и вернулась в Европу, в Париж, где умерла в глубокой старости.

Панина умела быть лично внимательной и отзывчивой. Одно время я жил в том же поселке около Праги, что и она. У меня начинался туберкулез, жена была в Праге, занятая маленькой нашей дочкой и дипломными экзаменами, и вот Панина — уже совсем пожилая, грузная женщина — в любую погоду ежедневно приносила мне обед по размокшей глинистой дороге. А она всегда спешила, дел у нее было много... Президент Масарик как-то, к изумлению окружающего люда, лично навестил старого Петрункевича и Панину и сделал так, что она получила средства на создание библиотеки и клуба-читальни для русских эмигрантов под названием «Русский очаг».

На отношение Паниной к русской революции очень большое влияние оказывала окружающая ее политическая среда, а в первые годы эмиграции — близкий ей человек Н. И. Астров.

Если бы меня спросили, каково было отношение бывшего московского городского головы Н. И. Астрова к русской революции, то я сказал бы, что он прежде всего был на нее лично крепко сердит. Правда, его семья тяжело и сильно пострадала. Но с годами, а Астров умер в первой половине тридцатых годов, уже пришло время, когда можно было смотреть на события и шире, и объективней, чем в дыму сражений гражданской войны. Был зол Астров и на белую армию, особенно на ее генералов, за то, что она не победила. В последние же годы жизни он особенно сердился на Милюкова, который тянул его влево к каким-то неприятным ему и непонятным компромиссам. Астров понимал безнадежность позиции «кубанский поход продолжается», но он упорно не хотел делать каких бы то ни было шагов навстречу современной России. Он целиком жил в мире эмигрантских дел, отношений, тревог. Вместе с тем он любил жизнь и ее радости; помню, с какой улыбкой он говорил, собираясь по общественным делам в столицу Франции.

— Да, да, что там ни толкуйте, а хорошо в Парижок съездить.

И в голубых утомленных глазах его загорался веселый огонек прежних лет.

Вокруг Астрова, бывшего министра правительства Керенского П. П. Юренева и жившего в Париже старого кадетского либерала князя В. А. Оболенского сгруппировалось несколько членов центрального комитета кадетской партии.В основном они стояли близко к газете «Последние новости» и к ее редактору, но все же не хотели полностью с ним солидаризироваться, считая, что он слишком далеко идет по пути «признания революции». Я уже говорил, как условно и ограниченно в свете действительности было это признание.

Политически Астров был, казалось, близок Милюкову, а при встречах опять и опять жаловался ему на слишком «левую» позицию его газеты, тщательно следя за каждой строчкой написанного. Милюков, не изменяя любезной приветливости, просил его «... не искать у меня все время блох», а ближе заняться происходящим на родине, и в частности в Москве.

Астров обычно всегда был необыкновенно ласков и приветлив; чем дальше был ему человек, тем тоньше и внимательней была его улыбка. Была в нем и та особенная, «московская обходительность», о которой столько уже сказано и написано.

Если Астров на русскую революцию сердился, то Юренев, его ближайший единомышленник и личный приятель, по поводу ее как бы постоянно грустил.

Был он невысок ростом, коренаст — настоящий русский интеллигент, незатейливо прост в обращении с окружающими. Над ним та иерархия, о которой здесь уже говорилось, никакой силы не имела. Свое положение в звании министра он вспоминал с насмешливо-грустной усмешкой и своей судьбой не определял судеб страны и своего к ней отношения.

Этот человек очень больших способностей, большого личного такта и даже обаяния трудно проводил эмигрантские годы. Он, как и Павел Долгоруков, не находил себе места ни в Праге, ни в Париже, и это, несмотря на отличное знание французского языка и хорошую инженерную специальность. Кончилось тем, что Юренев купил стиральную машину и вместе с женой и ее древней матерью, поселившись в одном из парижских предместий, занимался стиркой белья своих знакомых и разноской его по квартирам.

По вечерам же он погружался в чтение эмигрантских газет и воспоминаний. Я навещал его в Париже и видел, как с каждым приездом его глаза становились все печальнее, в них жила уже настоящая безнадежность. А между тем он многое понимал лучше других и не стеснялся в публичных выступлениях наступать на самые чувствительные эмигрантские мозоли.

Помню, как он, возражая одному крайнему отрицателю революции, сказал: «Не будем повторять традиционных эмигрантских ошибок. Не надо думать, что там, на родине, наши пиджаки висят на тех вешалках, на которых мы их оставили, и мы сможем спокойно надеть забытые у постели ночные туфли».

В сумрачных комнатках Юренева, почти нищенски обставленных, сразу, однако, становилось веселее, когда бодрым шагом, высоко подняв голову, входил изящный старик с тонким лицом и большими голубыми глазами, веселыми и немного насмешливыми. Князь В. А. Оболенский не умел предаваться пессимизму. Он был твердо уверен, что все как-нибудь устроится: и Россия не пропадет, и в эмигрантской жизни какой-то есть смысл, хотя бы и небольшой. А в большой смысл Оболенский совсем не верил. Он обладал огромным запасом душевного здоровья и веры в то, что в конце концов хорошее всегда побеждает плохое. Вместе с тем в нем было известное, свойственное людям его среды — старой аристократии — легкомыслие. В нем жило какое-то врожденное умение что-то очень неприятное не додумать и, отвернувшись от него, идти дальше.

В Париже у Оболенского при огромной семье забот было немало. Но, если заводились в кармане немногие франки, Оболенский любил пойти в один из многочисленных маленьких театров и посмотреть какой-нибудь новый фарс с политическим оттенком. Когда-то я бывал с ним в одном из таких театров и видел, что этот старый, седой человек умеет смеяться до слез, смеяться увлекательно, заражая окружающих.

К своим ближайшим друзьям-единомышленникам, стоявшим немного вправо от Милюкова, Оболенский приходил аккуратно на ежемесячные встречи. Он приносил бутылку дешевого вина и студенческий закусон. Богатством избалован он не был. Этому «рюриковичу» уже не досталось в наследство ни обширных поместий, ни нарядных особняков, ни бриллиантов. Любил он шутку и в политических вопросах. Увидев как-то меня-милюковца, он

сразу же перешел в милую атаку: «Что папаша-то наш? Все к большевикам подбирается, хочет с ними флирт завести... ловелас он опытный, но нет! Дело битое: они ему обязательно «фи» сделают и советов его слушать не будут».

У этого человека было легкое перо: его воспоминания, опубликованные в газете «Последние новости», очень живые и интересные относились к очень старым временам.

...Я говорил сейчас о последних могиканах русского либерализма и, как некоторые из них любили подчеркивать,«радикального либерализма». Это имена. Люди как-то известные, а некоторые и широко известные.

Но были «могикане» и менее известные, и совсем неизвестные. Были заботы, вопросы и проблемы, которые их глубоко волновали, можно сказать, преследовали в их эмигрантском безвременье. Вот одна из них.

«Что бы было, если бы ничего не было» — под знаком этой как будто нелепой формулы прошли многие думы, размышления и споры, горячие споры эмигрантов. Мне же эта формула пришла в голову, когда я вспомнил одного моего пражского знакомого, жившего поблизости от меня, неутомимого и страстного спорщика именно на эту тему. Самая внешность этого человека была совершенно необычна для среднеевропейского большого города. Синяя поддевка самого тонкого сукна, вывезенная, конечно, из России; какой же, в самом деле, пражский портной взялся бы сшить нечто подобное? На голове фуражка с красным околышем. Это дворянская фуражка, она явно должна свидетельствовать о принадлежности этого высокого, длиннобородого, надо сказать, картинно красивого человека к привилегированному классу старой России. А на ногах высокие лакированные сапоги самой тонкой кожи, сделанные на заказ рукой большого мастера, они тоже вывезены из Черниговщины. Уездный предводитель дворянства, который всем своим обликом здесь, на чужой стороне, хочет показать, кто он такой.

Я меньше всего хотел бы в этих воспоминаниях заниматься шаржем и зубоскальством, смеяться над теми, среди которых прошла и моя жизнь, но все же не скрою, человек этот вызывал раздражение прежде всего своей нарочитостью. А его речи и споры были все об одном и том же: что бы было, если бы ничего не было, иначе говоря, если бы не было революции. Аргументы, им приводимые, я слышал не один раз. «Чего им — понимай, революционерам — еще не доставало?.. Помещики продавали через созданные банки свои земли купцам и богатевшим крестьянам, научившимся посылать детей в реальные училища и гимназии, выводя их в люди. Заводов, и свеклосахарных и винокуренных, понастроили по богатым экономиям такое множество, что и Европе было чему позавидовать. А в городах вырастали трубы заводов и фабрик. Словом — Россия богатела и всем жилось хорошо!».

Твердо был в этом уверен мой седобородый собеседник, только что положивший в передней свою дворянскую фуражку, с каждым годом все больше выцветавшую под пражским солнцем. Но, скажут мне, кому интересен столь карикатурный образ? Ведь это просто человек, ушибленный революцией, не сумевший сколько-либо серьезно в ней разобраться, человек, в конце концов, только жалкий, посмешище для строгих судей, с такого и взятки гладки. Это и было бы так, если бы он в ходе рассуждений был одинок, если бы не повторял аргументации широко распространенной в эмиграции.

Говорил он уверенно, страстно и, надо сказать, складно, если оставить в стороне смысл произносимых слов. Анализ исторического процесса он полностью заменял теми эмоциями, с которыми бежал за границу из своего черниговского поместья. Оторваться от своего строя представлений он не мог.

Но вот и другой мой знакомый — он из Парижа. Он живет в этом, как любили всегда подчеркивать русские парижане, единственном в мире городе уже более полутора десятка лет. Он совсем не помещик, не дворянин, это горожанин, оставленный при университете на одной из гуманитарных кафедр. Русский парижанин утверждает, что хочет быть объективным. Утомленный непривычной работой на автомобильном заводе Рено, он не задается целью, как подчеркивает, кого-либо в чем-то винить. Он только желает сам для себя, так сказать, для души разобраться, как он утверждает, объективно в происшедшем, ибо без этого парижская беженская жизнь слишком ему тяжела и уныла.

«Разобраться — в чем же?» — спрашиваю его. Мы часто сидим в его квартирке вокруг большого чайника с крепким сладким чаем или внизу того же дома, в одном из парижских бистро, так похожих одно на другое, и ведем долгие беседы. Разобраться он хочет, этот милый и унылый полудоцент Киевского университета, тоже все в том же: что бы было, если бы не было революции? Это не черниговский предводитель. В его устах звучат уже иные аргументы. Десятины, продававшиеся разоряющимися помещиками, его не интересуют. Он хочет еще и еще раз убедить самого себя и тех, кто его слушает, в том, что его родина быстро и вместе с тем закономерно шла вперед, притом она будто бы и неуклонно демократизировалась. Например, в его университете среди оставленных на разных кафедрах для дальнейшей научной подготовки и деятельности был такой-то процент людей, вышедших из неимущих классов, и только такой-то из дворян и богатых купцов. Он хорошо помнит эту статистику, и революция кажется ему каким-то случайным, непрошеным, ненужным бедствием. Совершенно так, как в старину бывали вспышки эмидемий чумы или холеры. И он крепко ненавидит людей, сознательно занесших смертоносные бактерии. Это человек образованный, даже почти ученый, но он раз и навсегда, безнадежно споткнувшись о тот же самый порог, что и

уездный предводитель, до сих пор с недоумением рассматривает его, стремясь восстановить если не физическое, то душевное равновесие.

Уже поздно. У него ночная смена, ему нужно спешить: жена ищет его портфель, чтобы положить туда утренний завтрак и полотенце, которое он всегда уносит с собой домой, хотя у него там и и есть какой-то уголок в общем шкафчике. Нет, он хочет жить и здесь, в рабочих раздевальных Рено, по-своему, не смешиваясь с другими. А пока поезд подземной дороги уносит его к конечной станции нужного ему автобуса, он — я знаю это наверняка — еще и еще раз перебирает свои аргументы и разбивает аргументы своего оппонента, хочет точно определить самое невозможное, самое эфемерное и антиисторическое из всего того, чем была загружена психика русской эмиграции, как, вероятно, многих представляющих прошлое страны политических эмиграций во все времена и у всех народов. Он хочет нарисовать себе картину того, что бы было, если бы ничего не было — не было революции.

И когда я вспоминаю бесконечные наши споры, общие раздумья и раздумья каждого в отдельности, я знаю, что не было проблемы более волнующей, глубже сидящей в сердце и вместе с тем более ненужной и осужденной самим ходом окружающей действительности.

Не так давно мне пришлось еще раз скрестить на эту тему оружие с одним моим большим другом, уже настоящим серьезным историком, человеком, которому хорошо известны законы развития общества.

— Нет,— с волнением говорил мне этот мой пражский друг,— вы все-таки немного лукавите. Неужели же в самом деле рассуждать исторично, значит быть фаталистом? Где это, скажите мне, было предначертано, что в России должна произойти такая революция обязательно и непременно? С какого именно исторического рубежа? С подавления восстания декабристов? С неудачного, как вы, может быть, будете утверждать, освобождения крестьян в 1861 году? С дней реакции последнего этапа царствования Александра II? С его убийства? С откровенной реакционности его сына? С поражения в русско-японской войне и пирровой победы царской власти, подавившей революцию в 1905 году? С неудач великих боев первой мировой войны?

Так определял эти рубежи мой пражский друг, который тоже во всеоружии своей аргументации, со ссылками на политику Витте и Столыпина, с цитатами об успехах промышленного развития России 1906—1914 годов и т. д., все искал ответа на тот же вопрос — что бы было, если бы ее, революции, вообще не было?

Я вспомнил эти типичные беседы только потому, чтобы сказать об этом вопросе, как я думаю, совсем несуществующем, начисто выдуманном, рожденном политической слепотой.

А ведь сколько ушло энергии, сколько мучительно, бесплодно и совершенно напрасно размышляли и спорили, горячась и ссорясь друг с другом русские эмигранты во всех странах их рассеяния.

Это «могикане» типично эмигрантские; но вот и другие. Люди, не прошедшие гражданской войны и не бежавшие сами за границу, а в начале двадцатых годов высланные советской властью за рубеж. Я имею в виду Е. Д. Кускову и С. Н. Прокоповича. Лично я был близко знаком с ними; у меня были десятки, а может быть, сотни писем от Кусковой, любившей утром перекликаться письмами на текущие события также с людьми, живущими в том же городе, как, например, со мной.

В большой вилле, окруженной садом, на одной из пражских окраин эта широко известная в старой России чета разместилась в нескольких небольших комнатах вместе со своими друзьями, тоже высланными советским правительством из Советского Союза. Это были люди, слишком не созвучные с той жизнью, которая строится на родине, чтобы в ней оставаться.

Прокопович и Кускова быстро стали весьма видными эмигрантами, вокруг которых шел постоянный спор. В Москве им было предложено оставить родину. В самом деле, бывший министр Временного правительства и одна из крупнейших русских публицисток дореволюционной России, называвшая себя социалисткой крайне правого фабианского толка,— таким деятелям нечего было делать в Москве.

Кускова мне рассказывала, что сам В. Р. Менжинский, ближайший соратник главы ВЧК, говорил ей об этом, и неудивительно, что эти люди были одними из первых, которым было предложено оставить Советскую Россию как ее гражданам, хотя и не совершившим наказуемых советскими законами проступков, но несовместимым со всем строем советской жизни. При этой высылке, охватившей ряд людей, пользовавшихся немалой известностью, за границей оказались такие видные ученые, как философ-идеалист Н. О. Лосский, с которым мне пришлось жить несколько лет в одном доме, московский профессор-историк, публицист и отчасти политик А. А. Кизеветтер, священник, а в прошлом экономист марксистского, как он считал, толка С. П. Булгаков и многие другие, о которых можно было бы рассказать много интересного.

Отношение Прокоповича и Кусковой к советской действительности в самом деле где-то, на большой довольно глубине, расходилось с пониманием и отношением к Советской России большинства эмигрантов.

Они прежде всего не участвовали в гражданской войне, а пережили ее, находясь в Москве. У них не было того непосредственного запала борьбы, с которым оказалась за границей не только правая часть эмиграции, но, например, и значительная часть эсеров, также прямо приложивших руку к гражданской войне. Отсюда и

другой момент, с этим связанный. Он состоял в том, что Прокопович и Кускова хотели сохранить в эмиграции — хотели, но не говорю сохранили,— как они говорили, холодную голову, резко отделяя себя от всех форм так называемого эмигрантского «активизма», о котором речь впереди.

Вместе с тем эта чета не хотела изображать происходивший в России процесс в одних только, как было общепринято в эмиграции, отрицательных тонах, и она вела в этом смысле постоянную и острую полемику с широкими кругами правоверной эмиграции.

Кускова стала одним из деятельных сотрудников газеты «Последние новости», заняв там место на самом левом фланге.

Я знал Кускову не только как левоэмигрантскую публицистку, настойчиво отстаивающую свои позиции, но и как на редкость гостеприимную и приятную хозяйку «салона», где она умела быть как-то не совсем по-современному внимательна ко всем своим гостям. Но это радушие кончалось сразу же, как только возникала область идейных расхождений и несогласий. Супруги Прокоповичи были людьми в этом смысле старой, радикальной интеллигентской закваски, и для них острые политические расхождения в области тактики, а еще больше в области идеологии приводили также и к личному охлаждению к людям. Они готовы были спорить, они хотели убеждать, но когда Кускова видела, что из ее доводов ничего не выходит, что позиция оппонента, ее гостя, остается иной, совсем иной, чем ее, она от такого человека отходила, безнадежно махнув рукой. При этом лицо ее густо покрывалось красными пятнами от большого внутреннего напряжения, без которого она не могла вести политического спора.

В общем же, если взять эмигрантскую публицистику Кусковой, то можно, пожалуй, сказать, что она не меньше боролась с идеологией белой эмиграции, чем с большевистской идеологией. Настоящим же для нее праздником было всегда появление в ее квартирке людей, покинувших Советский Союз. Таким встречам придавала она очень большое значение, и в каждом человеке «оттуда» искала ответа на основные мучающие ее вопросы советской действительности, трудно мирясь с тем, что не каждый же мог вести разговор на желаемом ею уровне и удовлетворить ее любознательность.

Что же касается Прокоповича, то это человек совсем другого склада — необыкновенно ершистый, умевший быть часто и неприятным. Он был твердо уверен, что никто лучше его не знает законов экономики и социологии, и делал всегда безапелляционные заключения, часто сильно расходившиеся с действительностью, а иной раз и просто со здравым смыслом.

Вместе с тем это был человек, умевший много и упорно работать, и в этом смысле человек настойчивый и дисциплинированный. В Праге, опираясь на финансовую поддержку бенешских кругов, он создал Экономический кабинет, выпускавший ежемесячный

бюллетень и созывавший ежемесячные совещания. Вся работа Кабинета была посвящена одной теме — советской экономике, подробному анализу экономических факторов на различных этапах развития СССР, критике и прогнозам.

В Кабинете также часто велись горячие споры, в частности между Прокоповичем и непримиримым врагом всех без исключения начинаний советской власти — П. Б. Струве. Об этом человеке, который также немного известен и советским людям, изучавшим историю Коммунистической партии, надо будет сказать потом особо.

Прокопович поставил себе в Кабинете нелегкую и противоречивую задачу: будучи принципиальным противником большинства экономических мероприятий Советского Союза, он все же пытался, опираясь на публикуемый материал, давать, как ему казалось, беспристрастные отзывы об удачах и неудачах, достижениях и неуспехах. Этого хотел он сам, и ту же задачу, так сказать, двойную задачу — принципиального отрицания и трезвой оценки поставили ему и те чехословацкие деятели, которые поддерживали его Кабинет и пользовались его изысканиями.

В квартире Прокоповичей собирались по воскресеньям многие пражские эмигранты и приезжие гости, большей частью люди, причастные к политической работе эмиграции. Там велись очень горячие споры, не исключавшие взаимных обид. Спорили обо всем. О том, почему проиграло «белое движение», была ли неизбежной Февральская революция, потом Октябрьская, в чем основной смысл этой революции и есть ли перспективы перед эмиграцией в смысле борьбы с советской властью. Спорили даже и о том, есть ли бог или его нет.

Хозяева, старые атеисты, вступали в жестокие пререкания, в яростную полемику с некоторыми верующими эсерами и с лидером евразийцев, молодым тогда, исключительно одаренным человеком П. Н. Савицким, не устававшим заявлять, что он верующий, и строго церковно верующий человек.

Однажды Савицкий доказывал важность быстрого увеличения населения России для того, в частности, чтобы укрепить в будущем военную мощь страны, а Прокопович, шутя, его спросил: «Что же вы, Петр Николаевич, столько лет женаты, а все детей нет?» И вдруг Савицкий встал, начал быстро креститься со словами: «Не сподобил господь, не сподобил господь!»

Наступило общее замешательство, Кускова густо покраснела, а Савицкий вскоре поспешил домой. После его ухода Прокопович бегал по комнате, стучал себя выразительно по лбу и все время спрашивал: «Но, позвольте, при чем же тут господь? В первый раз слышу! Нет, он сумасшедший».

Бывали, как я сказал, у Прокоповичей и эсеры, с которыми хозяева жестоко ссорились, во всяком случае с очень многими, считая эсеров фантастами. А эсеры Прокоповичей считали уклончивыми примиренцами.

А были ли они в самом деле примиренцами, можно отчасти почувствовать из одного их рассказа, относящегося к покушению Фанни Каплан на В. И. Ленина. Рассказ вела очень живо и волнующе Кускова, и говорила она так:

— Представьте себе Москву тех дней. Чрезвычайная Комиссия ищет организаторов покушения, ищет людей, знавших о нем, о его подготовке, принимавших в нем участие. Верно или ошибочно, на многих устах было тогда имя старого нашего и приятеля и противника Савинкова. И вот мы сидим в нашем небольшом домике в постоянном волнении, ожидая возможного ареста. Ведь вы знаете, муж был министром Временного правительства и даже исполнял должность председателя совета министров в последние считанные часы существования этой власти. Словом, напряжение большое и у нас, и у наших знакомых, с которыми иногда сносимся все же по телефону. Особенно тревожны вечера. И вот в один из таких вечеров, уже около 11 часов, вдруг настойчивый звонок. Мы тогда сами открывали двери, не желая, чтобы прислуга знала о том, кто к нам приходит. Мой муж прошел в переднюю и, когда вернулся оттуда, был бледен, как полотно. И я,—продолжала Кускова, охваченная волнением воспоминаний,— поняла, что случилось что-то серьезное. Сергей Николаевич мне сказал, что в передней раздевается Савинков и сейчас войдет...

Кускова (дожившая до 90 лет и умершая не так давно в Швейцарии) была человеком нервным, очень впечатлительным и горячим, но вместе с тем совсем не робким, рассказывала же она дальше так:

— Услышала я это громкое имя и чувствую, что ноги меня не держат... Ну что же, говорю, пускай войдет. Вошел Савинков, любезно со мной поздоровался и говорит: «Екатерина Дмитриевна, в Москве очень неспокойно, и мне надобно у вас провести сегодняшнюю ночь. С рассветом я бы вышел».

— Что же было мне ему ответить? — вспоминала Кускова.— Покушению на Ленина я совсем, совсем не сочувствовала; этот путь я отвергала. Участвовал ли в нем Савинков, я не знала и знать не хотела. Но отказать ему в убежище означало для меня — зачеркнуть все мое политическое прошлое. Я ему сказала: хорошо, оставайтесь, будем сейчас ужинать.

Савинков сразу же предложил свою диспозицию: «Если будет звонок, пускай Сергей Николаевич пойдет открывать, и, если это пришли представители советских органов, пусть он закашляет. Я попытаюсь выскочить в окно и, может быть, скрыться, если дом не окружен. Вот только не сердитесь — оружие при мне, и, может быть, придется мне им воспользоваться.Если же Сергей Николаевич кашлять не будет, значит опасности нет, и мы будем с вами беседовать дальше».

С большим волнением говорила Кускова, нетерпеливо перебиваемая Прокоповичем, о всем последующем. Коротко говоря, сидели

они все как на угольях и заставляли себя вести разговор о чем-то совсем постороннем; был уже час ночи, когда вдруг раздался сильный, повелительный звонок. Сомнений быть не могло. Прокопович, ни на кого не глядя, отправился в переднюю. Савинков же, быстро опрокинув большую рюмку водки, вынул револьвер и подошел к окну.

— Остальное,— рассказывала Кускова,— все как в тумане. Даже и не помню хорошо. Только муж мой не кашлял и не возвращался, а Савинков не прыгал в окно и не стрелял.

Потом Прокопович вернулся в столовую и прерывающимся голосом, как утверждала его жена,— он это решительно отрицал— сообщил, что приходил знакомый профессор математики. Взволнованный напряженностью переживаемых Москвой ночей, он не выдержал одиночества и зашел к Прокоповичам «на огонек».

Мне кажется, что Прокоповичи все же не укладывались в обычные эмигрантские рамки. В чем-то и в какой-то степени они действительно стояли особняком. Вероятно, они были все-таки несколько ближе к пониманию советской действительности, чем основное ядро эмиграции.

Вспоминая свои посещения этих людей и мое, частое тогда несогласие с ними, я должен теперь сказать: не только последующие события, но и психологическая реакция на эти события многих эмигрантов показали — Прокоповичи умели быть прозорливее, умели дальше видеть, чем это удавалось нам. Они были свободны от того «самоудовлетворения» эмигрантской политической средой, печать которого лежала на многих из нас.

Под разными широтами

Разумеется, не одними же собраниями, резолюциями и партийной борьбой жили мы в эмиграции. Надо было, как только я приехал в Чехословакию, организовать свою личную жизнь. Я еще не был тогда женат и вынужден был устраиваться самостоятельно.

Как же мы, неимущие эмигранты, жили, каков был наш быт?

Сначала о комнате! Первая снятая комната мне хорошо памятна. Я тогда еще не знал чешского языка, и нужно было немало изобретательности, чтобы обо всем договориться с хозяйкой. И вот она-то меня и поставила в тупик: комната была большая, светлая, с хорошей мягкой мебелью, но сидеть на креслах хозяйка просила избегать — портится обивка и просиживаются пружины. Она тут же пожаловалась на моего предшественника, пренебрегавшего этой просьбой. С диваном тоже надо было обходиться осторожно и избегать обломовской привычки на нем полеживать. Ванной комнатой пользоваться было разрешено, но и тут ряд суровых ограничений. Признаться, я растерялся: я впервые видел комнату, мебелью которой рекомендуется не пользоваться.

Однако все кончилось благополучно, я пожил некоторое время в этих условиях непреклонного мещанского быта и намотал себе на ус некоторые его непривлекательные черты, с которыми потом встречался не один раз вплоть до времени, когда голова моя поседела.

В 1922 году я женился и уже на семейном положении нужно было вить свое гнездо, как и многим моим однолеткам — сотоварищам по эмиграции.

Отправился и я в большой поход за покупкой старой мебели. Вероятно, вот тогда-то и зародилась во мне страсть к старьевщикам, в которой сейчас признаюсь. За нее мне доставалось от близких, правда, думаю, несправедливо. Моя жена чуть не заплакала, когда я, вернувшись как-то из Парижа, показал ей с довольным видом пальто, сделанное в талию на манер тех, в которых изображают Онегина. Пальто было из очень хорошего материала и куплено на парижской толкучке, описанной в романах и известной по всей Европе под названием «Блошиного рынка».

Мебель я приобрел, и ее привезли в нашу новенькую чистенькую квартирку, но каково же было мое смущение и полная растерянность, когда утром из широкого удобного дивана, на котором вскоре должен был спать именитый гость, вдруг поползли клопы. Не один и не два, а в ужасающем обилии. В углу же соседней комнаты, прислонившись к купленному шкафу, плакала моя жена. Она была в полном отчаянии и тоже, как и я, не знала тогда, как борются с клопами.

Каждый беженец по-своему строил свою жизнь. Один — и много было таких среди пражской, парижской, белградской или софийской эмиграции — посматривал на календарь, прикидывая, в каком же месяце кончится это недоразумение — беженство — и он опять очутится дома. Такая установка сама по себе исключала заботу об антураже. Эти люди жили, пользуясь любым хламом, часто просто ящиками, из которых свой же брат беженец,— а чего русский человек не умеет? — за несколько десятков крон сооружал и постели, и буфеты, не говоря уже о письменных столах и туалетных столиках. Вот так, наполовину на обломках, жила, прежде всего, специфически интеллигентская часть эмиграции. Она даже как бы ставила себе в заслугу равнодушие к окружающей обстановке. Некоторые так и прожили на потемневших за долгие десятилетия ящиках, возле старых безногих буфетиков.

Но были среди нас и совсем другие, о них я уже рассказывал. Это те, что врожденно опытным глазом вглядывались в окружающее и быстро научились, сколотив деньгу, покупать себе все необходимое, говоря: «Нет, этого уже довольно, нужно жить, как все живут». Однако большая часть беженцев держалась вместе, создав своеобразное добровольное гетто.

Внешне особенно это было заметно по воскресеньям и праздничным дням, когда толпы русских устремлялись в Париже и

Софии, Праге и Белграде, Карлсбаде и Ницце в православные церкви. Среди эмигрантов было немало религиозных людей, но преобладающим было какое-то бытовое исповедничество: удовлетворение от сознания того, что сделано точно то же самое, что когда-то делали (а иногда и вовсе не делали) отцы и деды. Очень далекий от мысли шутить о серьезных вещах, я никогда не забуду многозначительной, но и не лишенной трагикомического отпечатка сцены, разыгравшейся, не скажу сейчас точно в каком году, на перроне главного пражского вокзала.

Я провожал возвращающегося в Париж Милюкова и сопровождавших его друзей — политических и личных, а у другого конца того же вагона второго класса стояла группа седых русских профессоров. Имена некоторых из них были недавно еще достоянием всей России. Ученые провожали уезжавшего также в Париж митрополита Евлогия, главу тамошней эмигрантской церкви. Оба провожаемые, люди светского воспитания, любезно здороваются, не слишком долюбливая друг друга, и скрываются в вагоне. Когда голова митрополита появилась в широко открытом окне вагона, профессора низко склонили головы и, к изумлению чехословацкой публики, спешившей к разным поездам, старческими, слабыми голосами, некоторые, вероятно, чуть ли не впервые, затянули «Ис полла эти деспота». Сцена эта останется в моей памяти до конца жизни. В такой демонстрации, вероятно, меньше всего было подлинно христианской веры, но было упорство, а также упрямство бытового исповедничества, вызов безбожию со стороны людей, когда-то известных своим свободомыслием, людей широкой философско-исторической образованности. А из соседнего большого окна, прощаясь с нами, посматривал на происходящую сцену с лукавой усмешкой в углах губ Милюков, которому многие из провожавших митрополита были когда-то близки, как его последователи по партии, товарищи по политической борьбе и по научным дискуссиям. Сейчас эти люди обменялись с ним только легким прикосновением пальцев к шляпе.

Я уже сказал, что окончил Русский юридический факультет в Праге, однако это совсем не значит, что мне пришлось заниматься юриспруденцией или даже что я мог ею заниматься. Прежде всего потому, что мы изучали право нашей родины, а жили далеко за ее пределами, притом право, на ее просторах давно уже отмененное. Большинство моих коллег по факультету, если они оставались в Чехословакии, приискивали себе какую-нибудь работу в государственных учреждениях и общественных организациях, занимая самые маленькие места, или же, если им это не удавалось, отправлялись искать счастья или в Париж — столбовая дорога нашей эмиграции, где они становились шоферами, рабочими на заводах, или уезжали в далекие, часто заокеанские страны. Иные из моих приятелей по факультету сделали даже некоторую карьеру во французских колониях Африки.

Один такой юрист, на его счастье хорошо владевший французским языком, вскоре прислал нам интересное описание своей жизни в тропиках под знойным африканским солнцем. Он был крепок и выдержал первые трудные годы акклиматизации.

Я прочел потом ряд его бойких фельетонов об Экваториальной Африке. Другой предприимчивый пражский юрист стал важной персоной в Бельгийском Конго.

Что же до меня, то я после окончания факультета был принят на работу в Русский зарубежный исторический архив, содержавшийся чехословацким министерством иностранных дел. Архив этот собирал документы, газеты и книги, относившиеся к истории России последних десятилетий. Прежде всего к истории русского революционного движения, первой мировой войны и, конечно, революций 1905 и 1917 годов. Обширный отдел занимали материалы по гражданской войне. Архив был как бы автономным русским учреждением и возглавлялся Ученым советом из русских историков-специалистов. Среди них были такие известные люди, как профессора Е. Ф. Шмурло, А. А. Кизеветтер, историк В. А. Мякотин— лидер существовавшей когда-то партии народных социалистов, самой правой из народнических.

Административная же и контрольная часть находилась в руках чешского историка, представителя министерства иностранных дел, специалиста по новейшей русской истории Яна Славика— огромного мужчины, необыкновенно экспансивного, темпераментного и раздражительного, совсем лишенного европейской выдержки. Но был это человек искренний и в целом благожелательный.

Во время минувшей войны в архиве были проведены некоторые организационные изменения, но в основном он просуществовал до освобождения страны Красной Армией, когда был вскоре подарен чехословацким правительством Академии наук СССР. Мне пришлось среди других работников архива участвовать также в передаче его приехавшей из Москвы комиссии, в состав которой входил крупный советский знаток истории гражданской войны академик И. И. Минц.

В своем документальном отделе архив сосредоточил большие ценности. В частности, среди военных документов — подробные дневники и записи начальника штаба Верховного главнокомандующего в первую мировую войну генерала М. В. Алексеева, архив Деникина, материалы Савинкова, документы очень многих известных политических деятелей.

И в наши дни, когда я прихожу в Праге на площадь перед Градом, я всегда всматриваюсь в барочный Тосканский дворец на противоположной стороне площади; туда я ходил в архив многие годы и многое там пережил.

Работа в архиве не занимала у меня слишком много времени и, надо сказать, не была в центре моих интересов, моей жизни. Ведь я долгие годы был корреспондентом самой большой эмигрант-

ской газеты, выходившей в Париже — «Последних новостей», был секретарем Объединения русских эмигрантских организаций в Чехословакии, а также постоянной двигательной пружиной Республиканско-демократической группы партии народной свободы (иначе милюковской), членом правления Союза писателей и журналистов и т. д. Так, до падения первой республики в 1938 году («вторая», существовавшая месяцы между «Мюнхеном» и вступлением германских войск в Прагу, уже не была самостоятельным государством) я находился как бы в самом центре общественной и политической работы русской эмиграции в Праге.

Это только формальная протокольная справка, а по существу личная моя жизнь в те годы была настолько тесно переплетена с общественно-политической жизнью эмиграции, что каждый этап ее переживался мною как часть личной моей судьбы.

В Русском архиве платили мало, хотя для того чтобы попасть сюда на работу, нужна была очень сильная рука — русская и чешская. Меня, например, устроил туда Милюков, замолвивший словечко перед президентом Масариком. Мое материальное благосостояние — весьма и весьма, надо сказать, условное — поддерживала, конечно, моя работа в «Последних новостях». Проникнуть в эту газету было еще намного труднее, чем в архив, а для живущих вне Парижа и не имевших имени почти невозможно. Меня туда ввел сам редактор этой газеты и он же терпеливо следил за первыми моими шагами на газетном поприще. Впрочем, настоящего газетного волка из меня так и не получилось.

Кто из пишущих людей не помнит первых своих напечатанных строк? Так и я не забыл мой первый обширный фельетон в газете, посвященный тогдашней Подкарпатской Руси, замечательному краю — ныне Закарпатской области Советской Украины. Я только что тогда женился, и мы отправились в Карпаты как бы в свадебное путешествие. Опять двинулись далеко на восток из самого центра Европы. Чехословацкая республика того времени, протянувшаяся узкой полосой на много сотен километров с запада на восток, слагалась всегда как бы из трех, неравных ни по размерам, ни по облику частей. То были: Чехия с Моравией и Силезией — подлинная средняя Европа с привычным ее укладом жизни, нравами и обычаями; далее Словакия — восточная часть страны, где вековые традиции запада уже явно ослабевали и вперед выступали восточные черты края.

Мы — русские — совершенно отчетливо ощущали это на первых же больших станциях Словакии, когда поезд уносил нас с запада на восток. Как-то по-иному люди здесь ходили, разговаривали, по-иному, гораздо беднее, выглядели толпы людей, ожидавших поездов. Когда же места на скамеечках были заняты, словачки с детьми размещались прямо на перроне с полной непринужденностью, чего в Чехии, а уж не говоря о Германии или Австрии, увидеть почти было нельзя. Там же звучало иной раз крепкое крылатое

словцо или комбинация словечек — совсем так, как на наших русских просторах звучала она да звучит иногда и теперь. А третьей «зоной» Чехословакии была именно та Подкарпатская Русь, в которую мы — молодожены — тогда и спешили, не очень зная, куда едем и что нас ждет.

За годы эмиграции мне пришлось объехать почти всю Европу, исключая Англию, Испанию и скандинавские страны, и я сам для себя разделил государства, которые увидел, на три категории, на три мира, каждый из которых был непохож на Россию, откуда я уехал. Это страны средней Европы, жившие, в общем, одними повседневными традициями и привычками. Балканы, где явно чувствовался восток, и, наконец, латинский запад — Франция и Италия.

Когда скорый поезд за немного часов переносил из германского Штутгарта или Кёльна в города северной Франции, а тем более в Париж, я всегда ощущал, что попадаю совсем в иной мир, с глубоко иными привычками его жителей.

Теперешняя Закарпатская область представляла собой тогда удивительный, глубоко своеобразный и в самом деле, вероятно, единственный в этом своеобразии уголок. Как будто по какому-то таинственному заклятию жизнь остановилась там в своем развитии несколько столетий назад.

Лесистые Карпаты удивительно красивы, особенно в осенние месяцы, когда листва лесов горит на солнце такой гаммой разнообразных красок, что от них трудно оторвать глаза.

Так было и тогда; мы ехали мимо относительно зажиточных карпатских равнинных сел, дальше в горы, на Верховину, куда теперь ездят в отпуск многие жители Москвы, Ленинграда, Киева... В те времена там ютились совсем убогие, жалкие деревушки, часто с курными избами; по утрам в прекрасное голубое небо из них валили клубы дыма. Селения с древними, изумительными и трогательными, построенными из векового леса церквушками, слава о которых шла широко. Там же убогие лавчонки, где полуголодные еврейские лавочники с неподражаемым упорством вели ничтожные обороты, торгуя спичками, гвоздями и разными, самыми необходимыми для домашнего обихода предметами, да и торгуя-то часто в кредит, с весьма проблематичной отдачей. В самом деле, за что было крестьянину тогдашней Верховины купить пачку спичек или новую пилу?

Вот в такую-то деревню на высоте 900 метров мы и попали. Чудесный дремучий лес с одной стороны и спускающиеся вниз к долине альпийские луга, усыпанные цветами. Деревня была очень хороша, но где же в ней приютиться? Любезный «нотар» (небольшая административная должность), единственный чех в этой деревушке, узнав, что мы из Праги и родом русские, послал нас к местному врачу — русской эмигрантке. Она-то и подыскала нам жилье.

Бедно, очень бедно жили закарпатцы, недаром тысячами уезжали они в Америку, ища спасения от безысходной нужды в тяжелом труде, ожидавшем их за океаном.

Нужно было глубокое безразличие к судьбе народа со стороны венгерской аристократии, которой принадлежали леса и поля Карпат, чтобы оставить этот прекрасный край на том уровне материального и культурного застоя, в котором он жил целые столетия.

Слева направо и справа налево

Среди эмигрантов, после того как они осели, начали создаваться новые политические группировки и течения. Бывшие же белые офицеры объединялись не в партии, а по своим, когда-то существовавшим полкам. Они презирали «старых политиканов», идеалом многих офицеров становился крепнувший тогда в Италии фашизм. Эти настроения потом завели многих в тупик; иногда в нем очень нехорошо пахло.

Не буду перечислять по порядку слева направо или справа налево новые политические группировки эмиграции, возникшие в начале двадцатых годов и позже. Зачем? Это было бы, вероятно, так же не нужно, во всяком случае для человека, не занятого специально историей антисоветской эмиграции, как считать на кладбище число крестов над давно безвестными могилами. Назову только некоторые из этих организаций.

Партия «Крестьянская Россия» создана была бывшими эсерами А. А. Аргуновым и С. С. Масловым, тогда еще относительно молодым. Они не ужились под эсеровской крышей. Впрочем, говорить об эсеровской партии, как единой в те годы, уже совсем не приходилось. Эсеры безнадежно разбрелись в разные стороны, далеко друг от друга. Чернов держался еще крепко за II Интернационал. Керенский знал только одну заботу — объяснение своих действий, или своего бездействия, в недавнем прошлом, когда он обитал в Зимнем дворце, и одну мечту — безнадежно запоздавшую борьбу с Октябрем. А наиболее правые эсеры из числа отошедших от прямой политической работы занялись изданием в эмиграции журнала «Современные записки». Эти люди уже тогда во многом обошли справа левых либералов.

«Крестьянская Россия» ориентировалась в своей программе прежде всего на собственнические тенденции среди крестьянства и на смертную борьбу с советским строем. Крестьян же в России, как известно, всегда было много, и лидер «крестьянской» партии Маслов соответственно себя и держал, представляя, как ему казалось, многомиллионное русское крестьянство. Программа этой партии предусматривала создание в России парламентарного республиканского строя западного типа.

«Крестьянская Россия» стремилась посылать в Россию людей для установления связи с тем крестьянством, от имени которого Маслов и его друзья выступали. Сам лидер был самоучкой, человеком способным, но крайне неуживчивым и временами просто очень грубым. Так это было в двадцатых годах. Перед войной Маслов уже заколебался в своих установках, в своей линии. Он начал занимать патриотическую позицию, а потом при нацистах, об этом я еще скажу, проявил и мужество.

Аргунов, формально возглавлявший партию, в течение долгих лет был верным эсеровским оруженосцем. Ему была по личному опыту знакома царская каторга. В полную противоположность Маслову он был сдержан, устойчив, но совершенно лишен какой-либо инициативы. Изжив эсерство, он изжил и себя.

Мысль о «крестьянской» партии показалась многим изгнанникам привлекательной и что-то обещающей. В организацию Маслова вступали в Праге, где был ее центр, и в некоторых других столицах — в Париже, Варшаве и в лимитрофных республиках — молодые эмигранты. Однако диктатура лидера с трудом переносилась ими, а главное, у многих из них было более трезвое представление о России. Они не очень стеснялись скрывать свои сомнения в действительной необходимости посылки «своих» людей к советским крестьянам, тем более, что «свои» один за другим оказывались как раз, наоборот, совсем «чужими».

Каков же был конец «Крестьянской России»? Аргунов умер, молодежь, которая успела не только возмужать, но и начать стареть, в большинстве своем покинула организацию. Сам Маслов пришел к тому, что сжег то, чему поклонялся, и в какой-то мере склонился к тому, что сжигал. Это о «Крестьянской России».

Эмигранты создали также ряд так называемых «пореволюционных» политических группировок. Самое это слово — «пореволюционный» — должно было означать, что тут уже не старый, вывезенный из России товар, вышедший из моды. Предполагалось, что это нечто такое, что исходит из самой Октябрьской революции, не обременено багажом прошлого, учитывает в первую очередь эту революцию, а затем и европейский опыт. Правда, если эмигрантские «пореволюционеры» в Западной Европе и усвоили что-нибудь из европейского опыта, то в основном только одно явление общественно-политической жизни: итальянский фашизм.

«Пореволюционных» организаций было несколько, из них я вспоминаю сейчас прежде всего одно время очень популярных, потом полузабытых евразийцев. Любопытно, что в последнее время иногда опять упоминают о них в западном мире, недавно писал о евразийцах и советский журнал «Вопросы истории».

Движение это кристаллизовалось в самом начале эмиграции, в двадцатых годах. Оно представляло собой как бы механическую смесь, а не органическое соединение весьма различных, противоречивых, частью бесспорных, частью сомнительных, а то и вовсе не

стоящих на ногах тезисов и утверждений. Здесь были славянофильские пережитки, отзвуки гражданской войны и первые уроки Октября. Евразийцев охотно называли последними представителями славянофильства. В этом движении, противопоставлявшем Россию-Евразию Западной Европе, элементы славянофильства бесспорны. Евразийцы питались идеями как основоположников славянофильства — Хомякова, Кириевского и К. Аксакова, так и их эпигонов, вплоть до Данилевского. Вместе с тем евразийство, складывавшееся в рядах антисоветской эмиграции, в специфических ее условиях, впитало также чувство острого раздражения от только что постигшей неудачи в гражданской войне и от полупрезрительного непонимания чужестранцев. Не случайно непримиримый противник евразийцев русский историк А. А. Кизеветтер сказал, что направление это развивалось или, во всяком случае, психологически определялось в прихожих тех учреждений, в которых в западных странах томились эмигранты, ожидая устройства своей судьбы.

Евразийство вызывало большой интерес даже у испытанных русских эмигрантских западников, всегда живо интересовавшихся своими антиподами.

В наши же дни в Западной Германии усиленно используют уже, казалось, позабытую евразийскую литературу, чтобы попытаться, ссылаясь на самих русских, противопоставить Россию Западу.

Анализ основ евразийства завел бы меня слишком далеко в сторону от личных воспоминаний. Скажу только, что в политической программе этого направления все же ясно чувствовался учет Октябрьской революции. Евразийцы не хотели ни восстановления классического капитализма, ни монархии, ни буржуазной республики. Был выдвинут лозунг идеократии. Правда, движение шло в основном под знаком отрицания социалистической революции, но и в этом вопросе настроения евразийцев были разными.

Со временем евразийское движение распалось на три группы. Одна во главе с князем Д. П. Святополк-Мирским признала Октябрь, примкнув к движению «смены вех» и «возвращенства». Сам Святополк-Мирский вернулся на родину еще в тридцатых годах, как это сделал известный «сменовеховец» Н. В. Устрялов и некоторые другие.

Средняя группа — и основная — осталась на эмигрантских позициях, и все же ее лидера П. Н. Савицкого правоверные эмигранты считали «большевизаном», склоняющимся к большевизму.

Сильный православноцерковный акцент многих евразийцев — прежде всего Савицкого — не мог, разумеется, приблизить это направление к родине. Правая группировка евразийцев склонялась к традиционным эмигрантским установкам. Многие из этих людей потом порвали вообще с евразийством.

Несколькими годами позже в Париже, да и в Праге зашумели младороссы. Появились даже национал-большевики; они, как я

понимаю, хотели «большевизма», освобожденного от марксизма и интернационализма и непосредственно братающегося с крайним русским национализмом.

Впрочем, новые группировки не ушли далеко от старых партий в том отношении, что революционная Россия оставалась им далекой или чуждой. Как бы они ни стремились перебросить мостик между советской общественной мыслью, действительностью и эмиграцией, им это так и не удалось.

А сейчас об одном только споре, об одном явлении, сыгравшем в эмиграции большую, временами трагическую роль как перед войной, так и, к великому сожалению, в годы мирового пожара. Это спор об «активизме», о прямой активной борьбе эмигрантов по возможности прямо на советской земле.

«Активизм» — стремление к острой, активной борьбе с советским строем всеми путями и средствами, с любыми «союзниками» — долгое время владел сознанием немалого числа рядовых эмигрантов и ряда их руководителей. Что же такое «активизм», если говорить о нем подробнее?

В основе его прежде всего было убеждение в том, что эмигранты обязаны посылать на родину отборных своих людей для того, чтобы там находить сочувствующих, создавать группы единомышленников, подрывать советские устои и наносить, если это окажется возможным, прямые удары советской власти.

Активисты-эмигранты были крайне строги и нетерпимы к несогласным с ними. Один из идеологов «активизма» Н. А. Цуриков, упрямый и самоуверенный человек, не признавал никаких колебаний в вопросе ненависти к революции. Он презрительно называл «халупниками» — такова была в первую мировую войну кличка солдат, старавшихся в наиболее тяжелую минуту спрятаться в какой-нибудь халупе,— всех тех, кто сомневался в целесообразности «активизма», кто уже считал прямо преступными некоторые его формы.

Сами же руководители «активистов» для того чтобы находить пути проникновения в советскую страну, не могли не опираться на различные иностранные разведки, которые и помогали переправлять их людей «туда». Эти же разведки, как известно, отнюдь не благотворительные организации. Они совсем не желали и не желают бескорыстно помогать «бедным эмигрантам» в их стремлении так или иначе проникнуть на родину. Подобные учреждения не могли и никогда не смогут не ставить «активистам» определенных условий, преследуя свои цели.

Что же из этого получалось? Эмигранты-активисты оказывались союзниками, а то и слугами противников родины; фатально становились ее врагами, к какой бы политической фразеологии они при этом ни прибегали.

И все же идеи эмигрантского «активизма» прочно угнездились в сознании немалых кругов эмиграции. В свое время они сыграли

свою страшную — прежде всего для эмиграции — роль, забывать которую было бы неправильно, неисторично и несвоевременно. Эти идеи отравили также психику части более молодых эмигрантов, именно их детищем явилась политическая организация, назвавшая себя Национально-трудовой союз нового поколения, которая взошла целиком на дрожжах эмигрантского «активизма» и заплатила за это дорогой ценой.

Эти «активисты» оказались в годы войны на службе нацистов. А после разгрома фашистской Германии у них нашлись новые покровители в лице разведок западных стран. Последыши «нацмальчиков», как называли старые эмигранты членов этой организации, переименовали ее после войны в Народно-трудовой союз (солидаристов) (НТС).

Участники этой организации неуклонно превращались и превратились так в простых исполнителей чужеземных заданий. Как это было в годы второй мировой войны, я рассказываю дальше.

Вышло совсем по той поговорке, которую Лев Толстой хотел поставить в заглавие своей знаменитой драмы «Власть тьмы, или Коготок увяз — всей птичке пропасть». Впрочем, и власти тьмы во взглядах и тактике «нацмальчиков» было достаточно.

Основным ресурсом эмигрантского «активизма» в Праге, Париже и других эмигрантских центрах, особенно в первые годы изгнания, были члены военных организаций, объединявших бывших офицеров и солдат белой армии. Прежде всего Общевоинский союз и Галлиполийское землячество, насчитывавшие в своих рядах тысячи людей. Это были как бы массовые организации, принципиально стоявшие на позициях «активизма». Правда, далеко не все члены этих объединений интересовались вопросами политики, а тем более были готовы к прямой борьбе. Большая часть членов Общевоинского союза и галлиполийцев вела обычную жизнь людей, которым прежде всего нужно было заработать средства на существование. Я близко знал многих членов этих организаций — они аккуратно платили свои членские взносы, и большинство из них считало, что этим исчерпаны их «гражданские обязанности» как бывших белых воинов.

Однако именно в этой-то среде в первые годы эмиграции, а отчасти и потом, проводился отбор людей, в какой-то мере готовых и пригодных к антисоветской деятельности. В свое время во главе всей этой деятельности стоял в Париже генерал Кутепов. Одним из политических идеологов «активизма» во всеэмигрантском масштабе в значительной мере был Струве, а в пражском — уже названный мной Цуриков, с которым мне приходилось часто и много сталкиваться и спорить на разных собраниях. Надо сказать правду, в годы войны он сильно отошел от крайнего «активизма» и не встал на путь сотрудничества с нацистами. Такого страшного

греха он на свою душу не взял и был даже на продолжительный срок арестован немцами, как бы в наказание за непоследовательность. И все же старая линия непримиримости заставила этого идеолога эмигрантских военных организаций и «активизма», покинув в 1945 году Прагу, уже в Западной Германии продолжать далее свою антисоветскую деятельность.

Спор об «активизме», его целесообразности или нецелесообразности, его обязательности или недопустимости был среди эмигрантов, безусловно, основным. Он с самого начала носил острый характер. На этой почве распался в Праге в конце двадцатых годов политический союз между «Крестьянской Россией» и кадетской группой Милюкова. Я уже сказал, что руководитель «Крестьянской России» Маслов долгие годы с большим постоянством и упорством придавал важное значение посылке людей в Россию и организации там групп и ячеек единомышленников. Я также рассказывал о том, что Милюков вскоре убедился в бесплодности этого пути, и именно из-за этого вопроса между ними произошел бурный разрыв, свидетелем которого мне пришлось быть. Маслов же еще продолжал свои попытки, опираясь на некоторые круги буржуазной аграрной партии, стоявшей тогда у руля управления Чехословакией.

Были использованы в то время, насколько я знаю, все возможности посылки людей в Советский Союз, связанные с разведывательными органами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Однако не нашлось бы такого увеличительного стекла, при помощи которого можно было бы увидеть какие-либо результаты этой деятельности.

Уже тогда, в конце двадцатых и начале тридцатых годов, только совсем слепые и совсем глухие к окружающей жизни люди могли не видеть полного провала всех попыток «активизма». При этом, в равной мере, исходили ли эти попытки от монархистов, от военных белых организаций или от более левых кругов эмиграции.

Посылавшиеся в Россию люди, кем бы они ни посылались — Кутеповым, за ним и его организациями была тут пальма первенства, милюковской организацией, эсерами, «Крестьянской Россией», «пореволюционными» политическими организациями эмиграции или же чисто монархическими кругами,— все эти эмиссары или ничего не могли создать в Советском Союзе, откуда возвращались изверившимися в правоте их пославших, или не возвращались вовсе, погибнув или же, наконец, переходили на сторону Советов.

Давно ни для кого не секрет, что органы советской государственной безопасности были отлично информированы об эмигрантском «активизме» и очень внимательно следили за всеми попытками в этом направлении. Иной раз происходило нечто подобное игре кошки с мышкой. В Москве знали наперед о многих поездках, а в

организации некоторых — дело прошлое — принимали непосредственное участие. В наши дни читатели романа-хроники Л. Никулина «Мертвая зыбь» могли еще раз убедиться в том, как мало было у эмиграции секретов от чекистов.

Нелегко было эмигрантским «активистам» узнать, что чекисты в сущности сами осуществляли «тайные» поездки в СССР лидера русских националистов В. В. Шульгина и в значительной мере тогда еще молодого лидера евразийцев П. Н. Савицкого.

Эмигрантский «активизм» во всех его оттенках и в этом отношении показал еще на заре эмиграции глубокое свое бессилие, обреченность, оставаясь слепым к той действительности, в которой жила родина. А слепые, как известно, натыкаются на предметы, которых не видят. Так и натыкались «активисты» на непонятные им факты общественной и социальной жизни родины после Октябрьской революции.

Время все же делало свое дело. Постепенно, но неуклонно некоторые, теперь представляющиеся уже элементарными истины стали входить в сознание людей, часто помимо их воли. Много тому было причин, и только на некоторых из них стоит сейчас остановиться. Первая и основная — неуспех, постоянный и полный неуспех «активистских» попыток борьбы с Советами, далее — полный провал предсказаний о скором и неизбежном крахе советского строя.

Я как будто и сейчас вижу перед собой этих умудренных знаниями и долгой жизнью ученых-экономистов, с полной уверенностью и безапелляционностью твердивших о неустранимом крахе большевизма. Все экономические и статистические данные в устах этих людей говорили об одном. Конец большевиков близок: «В этом году», «Весной», «Осенью»... Этим утверждениям верили сначала многие, потом уже не столь многие, дальше уже почти никто не верил. Затем усомнились и сами предсказатели. Все же эти ученые оракулы немало способствовали возникновению среди эмигрантов «чемоданной» психологии. Люди сидели как бы на уложенных и готовых к отправке чемоданах, а это очень беспокойная и очень неудобная позиция.

Экономисты-эмигранты, предсказывавшие скорый конец большевизма, были действительно образованными людьми, иногда очень учеными. Хотя бы тот же Струве с его постоянно неясной, необыкновенно затрудненной речью и грудой листочков в руках, разлетавшихся на трибуне при выступлениях в разные стороны, что всегда ставило его в тупик. Этот грузный, нескладный человек, в котором ученость причудливо сочеталась с беспомощностью, долгий, казалось, общественный опыт — с удивительной слепотой, уже окончательно обосновался в охранительном лагере, в лагере охранителей «исторических» традиций и лозунгов белой борьбы.

От бунтаря и социал-демократа его молодых лет ничего уже не оставалось. Его лебединая песня — «зарубежный съезд» эмиграции, показавший с полной ясностью, что король-то гол, даже самого Струве, кажется, смутил своей безжизненностью. А дальше шли другие авгуры с их ошибками и просчетами.

Политические страсти оставались все еще сильнее разума. Между тем ясные для каждого наблюдателя, желавшего быть хоть сколько-нибудь серьезным, советские достижения в экономике, политике, культуре все же подкапывали и подрывали устоявшиеся антисоветские установки, заставляли многих эмигрантов еще до войны отходить от старых позиций и внимательнее приглядываться к происходившим в России процессам.

Нельзя при этом забывать, что русские эмигранты, где бы они ни жили — в Париже, в Праге, в Соединенных Штатах или Шанхае, не находились в безвоздушном пространстве, между небом и землей. Им приходилось участвовать в повседневной жизни тех стран, в которых они осели. Им нужно было прежде всего бороться за существование, часто за очень бедное существование, нередко и за кусок хлеба. Эмигранты в силу ограничительных для иностранцев законов на рынке труда оказывались часто в худших условиях, чем трудящиеся стран, их приютивших.

На собственном опыте очень и очень многие эмигранты в разной степени, но все же узнали в свое время ужас безработицы и все значение борьбы за увеличение зарплаты, за социальное страхование, за платные отпуска, за право на забастовки... Бывая часто в Париже, я мог наблюдать из года в год растущую связь интересов трудовой эмиграции с интересами трудящихся Франции, жизнь которых стала этим эмигрантам совсем близкой.

А это, в свою очередь, заставляло многих по-новому понимать также русскую революцию и процессы, ей предшествовавшие. Эмигрант, став рабочим или шофером, если в нем оставались жизненные соки, по-новому начинал толковать ту борьбу, которую вели до революции русские рабочие и крестьяне. Если некоторые русские, о которых я еще буду говорить, иной раз полностью отворачивались от окружающей жизни, вспоминая лишь прошлое, то они становились исключением, трагическим символом. Живая действительность уводила, особенно людей более молодых, в сторону от этих миражей прошлого. Так было с эмигрантскими парижскими таксистами, с русскими эмигрантами, ставшими рабочими на заводах Рено и Ситроен. То же самое было с эмигрантами всевозможных специальностей, живших в Чехословакии и вообще во всех странах беженского рассеяния.

Старые политические и психологические установки постепенно и неуклонно крошились и рушились под напором окружающей жизни, и прежде всего в свете неопровержимых фактов советской действительности.

Окно в «большую Европу»

Мне пришлось увидеть Париж уже в первый год моей жизни в Праге. Потом я бывал в нем часто. Французскую столицу и вообще Францию я узнал в том возрасте, когда особенно сильно и незабываемо ярко вписываются в память «все впечатления бытия».

Франция и Париж 1922 года прежде всего поразили меня следами недавно отшумевшей войны. Нигде и никогда не встречал я столько женщин, одетых в траур.

Вторая мировая война была для многих стран, и прежде всего для России, сопряжена с еще неизмеримо большим числом жертв. Но то было время, когда женщины, потерявшие близких, несли неизбывное горе только в сердце. Траура не надевали, да часто и не могли надеть: три метра материи были им недоступны. Так или иначе, но Париж, одетый в черное, навсегда остался у меня в памяти. Это было первое, чисто внешнее впечатление.

Когда мне потом, в другой мой приезд, пришлось прожить под Парижем около года в изящном городке Сен-Жермен-ан-Ле, где, как известно, был заключен в 1919 году мирный договор с Австрией, я поселился в семье одной из таких носящих траур женщин, служившей кассиршей в большом ресторане. С великим трудом растила она после гибели на фронте мужа двух дочерей. Она во что бы то ни стало хотела вывести их в люди. Жильцы в ее вместительной квартире были люди разные, занятые, на целый день уезжавшие в Париж. Я был посвободнее, хозяйка работала обычно по вечерам, и днем мы вели иногда продолжительные беседы. Вот тут-то я узнал ближе круг представлений «маленькой» французской женщины из мещанской среды.

Она никак не могла понять, откуда же я, собственно говоря, приехал и что это за страна — Чехословакия? А ведь это было время, когда бенешовские круги особенно культивировали чехословацко-французскую дружбу и близость. Моя хозяйка о такой стране в школе не учила, хотя занималась прилежно. «Может быть, Австро-Венгрия?» — сказала она мне.

— Нет, мадам, это не Австро-Венгрия. Той уже нет. Это ее бывшая часть — ныне Чехословакия.

Рассказал ей о том, что окончательно погребена Австро-Венгерская империя как раз в ее родном Сен-Жермене. Но незнакомое название страны положительно не устраивало мою француженку. «Тогда, может быть, это часть Польши?» Я видел, что и о Польше она знает немного и без уверенности произносит это слово. Когда потом мы познакомились немного больше, стало ясно — настоящей страной она считает только одну, единственную в мире: «прекрасную, нежную Францию». Соседку Франции — Великобританию она уважала, однако побаивалась коварства Альбиона, хотя и не знала, в чем именно оно заключается.

— О! — восклицала моя собеседница, когда мы говорили с ней о политике,— они очень хитры и очень умны, эти англичане, они умеют обмануть кого хотят, но нашего отца победы мсье Клемансо они обмануть не сумели. Нет... нет!

Мадам Жиро была страстной поклонницей старого «тигра». У нее еще хранились письма ее покойного мужа с фронта.

— Он там пишет, мсье, как Клемансо был у них на позициях и, выходя на переднюю линию, пренебрегая снарядами и пулеметными очередями врага, оправлялся перед немецкими окопами; он умел показать грязным бошам, чего они стоят!

Мир европейских великих держав так и ограничивался для моей хозяйки названными двумя странами. Немцы очень страшны, но это «только грязные боши», которых французские солдаты загнали назад за Рейн. «Правду вы говорите, будто вы — русский? Я знаю о вашей огромной стране, но ведь это так далеко...» Я понимал, что для мадам Жиро Россия была не только далека, но и немного страшна. Не только моя хозяйка, но и ее более современные дочки не были твердо уверены, кого там больше на покрытых сугробами улицах Москвы — русских людей в длинных шубах и меховых шапках или грозных белых медведей, о которых они читали и которых в России очень много.

Кроме того, мне также объяснили, что там сейчас какие-то особенные люди — большевики... «чего же они хотят?» А главное: чего же ждать от них «милой, нежной Франции»?

Я видел много замечательных городов Европы, но ни один из них так не потряс меня, как Париж. В чем же тут дело? — спрашиваю себя, как спрашивают себя тысячи и сотни тысяч людей, побывавших в этом городе. Ответ не так прост, вернее — он очень сложен.

Что же так покоряет? Великолепная перспектива Елисейских полей? Величие Пляс-Конкорд или несметные, подобные эрмитажным, богатства Лувра? Действительно, это незабываемо, когда по прославленным Елисейским полям в предвечерние часы несется поток машин, а вдали на Пляс-Этуаль высится Триумфальная арка, а дальше — величественные проспекты Булонского леса и Авеню де ля Гранд Арме... Может быть, Париж неотразим прелестью Больших бульваров с их шумной, многоязычной толпой; или, может быть, завлекательностью Латинского квартала с прелестным Люксембургским садом и живописью Люксембургского музея? Или это кафе Монпарнаса, снискавшие себе в поколениях мировую славу, или это, наконец, коварный ночной Париж, поглотивший столько людских судеб, несметных богатств, сильных молодых талантов, честолюбивых мужских голов и податливых женских тел?

Может быть, неотразимо мрачное величие Собора Парижской богоматери или изящество Сакре-Кёр на вершине Монмартра?

Или это гробница великого полководца? Или неувядающая слава первых коммунаров? Право, не знаю. Вероятно, все вместе взятое и что-то еще совсем другое, что и составляет непреходящую прелесть Парижа, для которой не страшны ни годы, ни любые страсти, бушующие в этом человеческом море.

Да, конечно, в Париже говорит свое слово французское «савуар вивр» (уменье жить). Конечно, это народ Франции создал особую атмосферу легкости и мужества, учтивой приветливости и безразличия, вызывающей кокетливости и стыдливой сдержанности, трудолюбия и веры в спасительность отдыха, любви к утонченной пище, ко всякой вообще чувственной утонченности и преданности духовным подвигам.

И все-таки это совсем не все... Париж прекрасен не только осенившим его французским гением, но и тем интернациональным началом, которое делает его подлинно мировым. Париж щедр: каждому открывает свои прелести и ни от кого ничего не хочет. Он принимает всех, всех немного понимает, решительно ни о ком не заботится и никого не осуждает. На его улицах бродят голодные люди, в его общественных местах и ресторанах могут появляться женщины в роскошных туалетах, небывалым образом одетые или почти раздетые, и мало какой истинный парижанин повернет при этом голову. В городских залах или на бульварах проповедовались всевозможные учения, любая философия, любая мода. Париж слушает, внимательно и вместе скептически, зная меру вещам.

Есть и другой Париж, город сотен тысяч горячих, часто патетически взволнованных трудовых народных масс, Париж митингов, забастовок, демонстраций, баррикад. Это город труда и борьбы за социальную справедливость. Город великих революционных традиций, это Париж, который в предвоенные годы не допустил во Франции захвата власти французскими фашистами, а в годы унижений, во вторую мировую войну, вскормил движение Сопротивления. Париж, который давно неустанно борется за подлинную демократию.

Мне пришлось бывать в этом городе, и не один раз, в довольно трудные его минуты. Я помню Париж «народного фронта», когда правительство Франции возглавлял умеренный социалист Леон Блюм. Это не был народный трибун, как далекий его предшественник Жорес, но это был изысканный оратор, тонкий, вероятно, слишком тонкий аргументатор. Мне пришлось его слышать и в Палате депутатов, и на уличных митингах прямо перед взволнованными толпами.

В той же Палате депутатов я наслушался французского красноречия, которое в самом деле производит немалое впечатление.

Вот на трибуну мелкими, как бы неверными шагами, согнувшись под бременем лет и долгой государственной и политической деятельности, поднимается Аристид Бриан, совсем как будто хилый. Привычным жестом он привлекает к себе внимание, и па-

лата затихает. Речь Бриана льется блистательным потоком, аргументы, отступления, параллели, зовущие к разуму и сердцу, чередуются одна за другой. Бриан — типичный французский оратор. Он не признает бумажек. Он сам наперед знает, хотя внешне это и неуловимо, когда придут вдохновенные экспромты, когда и почему именно он немного затуманит свою основную мысль, где и когда ее оборвет; он знает, когда будет лиричен, когда обопрется на опыт прошлого, когда скептичен, насмешлив или ласково искателен. Очередная овация... и утомленный старец, откинув волосы, прежними неверными шажками направляется к своему креслу. Он не удивлен очередной победой. Эта была не из самых сложных. Он помнит другие словесные битвы, потруднее.

Слышал я коммунистического деятеля Марселя Кашена, умевшего своей убежденностью, страстностью и логикой захватывать сердца даже своих противников. Слышал правого лидера Тардьё; наслушался рассказов о том, как старшее поколение, уже отошедшее в прошлое, скрещивало шпаги на трибуне Палаты депутатов.

Я бывал в Париже у многих русских эмигрантов, в квартирах ряда эмигрантских общественных и политических руководителей и у парижских русских таксистов, рабочих и официантов русских ресторанов.

Там я увидел во многом другой быт эмиграции, чем тот, которым жили русские в Праге. Скажу еще, что в молодости, собирая от имени ОРЭСО средства на эмигрантскую учащуюся молодежь, мне и моим сотоварищам приходилось стучаться также в двери бывших русских капиталистов, промышленников и коммерческих тузов, известных всей России. Помню нашу беседу с С. Н. Третьяковым, министром Временного правительства. Он тогда решительно отказал в помощи. Куда там, и сам «в нужде». Сказано это было красноречиво и убедительно, а на другой день, когда мы поехали посмотреть на Версаль, нас там при подъезде к дворцу чуть не подшиб роскошный автомобиль, из которого вышел «нуждающийся» бывший промышленник с элегантной нарядной дамой и, холодно ответив на наше приветствие, скрылся в парке.

Как-то я приехал в Париж вскоре после смерти долголетней спутницы Милюкова, его жены Анны Сергеевны, очень ему преданной. Я знал из писем и газетных заметок, что Милюков, вступивший в глубокую старость, очень тяжело перенес эту смерть, и готовился сказать то, что в этих случаях принято и что всегда сказать как-то трудно. В Париже я остановился по приглашению Милюкова в его пустой старой квартире на рю Лериш, которую он оставил. После смерти жены он переехал в новую, на бульваре Монпарнас. Квартира, в которую я въехал и которую знал раньше, была в старом, заброшенном доме, и почти все ее комнаты были сплошь заставлены полками с книгами. Тогда у Милюкова собралась в Париже огромная библиотека, превышающая десять

тысяч томов, не говоря о многочисленных комплектах газет на разных языках.

Вся квартира представляла собой типичное жилище русских интеллигентов, мало заботившихся о том, в каких условиях и в какой обстановке они живут. Устроившись в одной из комнат, я связался по телефону с Монпарнасом и был приглашен Милюковым обедать. Когда я поднялся по лестнице нарядного дома, в котором он поселился, и позвонил, хозяин сам открыл мне дверь, и только что я приготовился произнести приготовленную мною фразу, как он своим твердым, спокойным тоном, предупреждая мои слова, сказал: «Вы знаете, я женился и сейчас познакомлю вас с моей женой». Лицо мое расплылось в какую-то глупую, жалкую улыбку. Я чувствовал себя деревенским парнем, приехавшим в большой столичный город. Милюков тогда только оформил долгую связь, насчитывающую десятилетия. Это была русская женщина, незаурядная музыкантша, совсем по-иному понимавшая жизнь. Уступая ее вкусу, Милюков по-другому, «по-буржуазному» оформил свой антураж, сам оставаясь, как и прежде, вне внешних условностей.

Противники Милюкова много острили и негодовали по поводу этого «бестактного» брака, но он, как всегда, мало считался с «общественным мнением», поступая по-своему.

Милюков в эмиграции, помимо своей политической, газетной и научной работы, а также своего редакторства в газете «Последние новости», был занят также добыванием средств. Он писал для Британской энциклопедии, в частности раздел «Россия», получая высокий гонорар, и делился некоторыми разделами своей работы с крупными русскими зарубежными историками, близкими ему по духу. Сотрудничал и в других изданиях, выступал с лекциями, посвященными истории России, в разных странах, особенно в Соединенных Штатах Америки.

Скажу попутно, что в Праге постепенно по желанию Милюкова сложился у нас такой обычай: доклад по текущему политическому моменту во время приездов его в чехословацкую столицу делал я, а заключительное слово после прений и выступлений оппонентов произносил Милюков. Некоторые считали это не совсем удобным и обычным, и помню даже ядовитое замечание лидера «Крестьянской России» Маслова, который так и начал: «Я не знаю, с кем же мне сейчас спорить, с докладчиком, который уже больше не будет говорить, или с автором заключительного слова, который еще говорить не начал». Так или иначе, но благодаря участию Милюкова такие собрания привлекали очень много посетителей и проходили в напряженной и интересной обстановке. Понятно, люди шли, чтобы послушать это заключительное слово — выступление главы кадетов. Моя роль заключалась в таких случаях только в «затравке».

В Париже мне тоже приходилось при участии Милюкова выступать с уже закрытыми политическими докладами в библиотеке

Республиканско-демократического объединения. Помню такое собрание в 1937 году в преддверии войны.

Напротив этой библиотеки находилось общежитие, которым заведывала Кузьмина-Караваева-Скобцова, ставшая потом легендарной героиней Сопротивления. Тогда же я с ней познакомился по такому забавному поводу. Совсем не зная, что напротив русское общежитие, я увидел в одном из окон дома невероятно большую и довольно оригинальную соломенную шляпу, в которой сразу же признал головной убор одной моей пражской знакомой. Вспомнив, что хозяйка шляпы сейчас в Париже, я решил пойти по следу и так наткнулся на общежитие и на замечательную его руководительницу, уделившую мне несколько минут. Я сразу почувствовал необыкновенность Кузьминой-Караваевой, окруженной любовью и редким авторитетом.

И еще о русском Париже. В противоположность Праге лишь немногие русские эмигранты могли там заняться интеллектуальным трудом. Даже русские писатели со всероссийским именем во французской столице еле сводили концы с концами; прославленные актеры, известные певцы и балерины боролись за скудный заработок, иной раз за обед и ужин себе и близким. За грошовую оплату пели в русских парижских ресторанах Александр Вертинский и Плевицкая.

Я оставлю в стороне десяток-другой аристократов, имевших средства за границей, и несколько десятков богачей—они не характерны. Вся же остальная масса эмигрантов облеклась в рабочие комбинезоны, надела шоферские береты, и так, в этом обличье люди и прожили до конца своей жизни.

Русский таксист иногда зарабатывал в Париже неплохо. В его маленькой квартирке могло быть чисто и хорошо убрано. Его жена не обязательно служила в русском ресторане или в открытой светскими петербургскими дамами изысканной парикмахерской, а его юная дочь не обязательно была манекенщицей. Иной раз она посещала лицей, потом высшую школу, а ее мать, ожидая мужа к позднему французскому обеду — надо же было приспособиться к новой жизни,—пекла настоящие русские блины и готовила украинский борщ. Как-то жена моего приятеля А. А. Александрова, близкого к газете «Последние новости» и ее редактору, жаловалась: «Со сметаной у нас плохо. Тут совсем нет такой, к какой я привыкла. Во всем французы, что касается пищи, знают толк, а вот со сметаной не то».

Эта парижская русская жизнь отличалась от пражской тем, что русские в Париже или Лионе жили в большей степени, чем в Праге, как бы в двух планах.

Жизнью рабочих или таксистов, и эта жизнь, вначале воспринимавшаяся, как кратковременное и неизбежное зло, постепенно засасывала: у нее были свои заботы, волнения, горести и радости. А кроме того, многие хотели активно участвовать — одни в политической, другие в общественной или литературно-художествен-

ной творческой жизни эмиграции. Эти люди, если их влекла политика, складывали в углу своей комнаты пачки эмигрантских и советских газет, испещренных красным и синим карандашом с пометками и нотабенами. Они все надеялись где-то и как-то, на каких-то страницах сказать какое-то свое слово!

Во Франции в противоположность Праге было мало или почти не было русских эмигрантов, занимавших должности инженеров, агрономов или врачей, выучившихся уже за границей, или рядовых государственных чиновников. Разве только в колониях.

Часто, приезжая в Париж, я приходил и в редакцию «Последних новостей». Прежде всего заходил к заместителю редактора, большому русскому барину, обходительнейшему и любезнейшему из всех обходительных либералов, которых я видел и знал. Это был москвич И. П. Демидов, худой, болезненный, с красивыми нежными глазами, умевший с каждым и сразу принять непринужденный, товарищеский, как бы откровенный, хотя никакой откровенности при этом не было, дружеский тон.

Демидов не очень любил, а может быть, и не слишком умел писать длинные, «под Милюкова», передовые статьи. Кроме того, он вообще не любил затруднять себя лишний раз. Он не хотел, да и не мог изо дня в день прочитывать кипы иностранных, советских и эмигрантских газет и не очень стеснялся, когда оказывался неосведомленным в каком-нибудь крупном очередном событии дня. «Он у нас усадебный человек, дворянской повадки,— говорил о нем не без яда Милюков,— заставить его по-настоящему работать нельзя». Зато Демидов умел обойтись с каждым: и с рядовыми эмигрантами, принесшими статью, о которой Демидов заранее знал, что она напечатана не будет, и с знаменитым русским писателем, негодующим, что большой его фельетон до сих пор не напечатан и он уже неделю сидит без денег и даже вино посылают ему в долг из соседнего бистро. Демидов с грациозной и ласковой улыбкой отводил удары и левых и правых, давая понять, что он всех понимает, что со всеми рад бы жить в дружбе,но что поделаешь, взгляды расходятся. «А кроме того,— он делал при этом загадочное лицо,— вы ведь знаете нашего шефа, с ним не пошутишь и его не уговоришь, как меня».

И правда: Демидова огорчала острая позиция его руководителя. Он хотел бы помягче обращаться с более правой эмиграцией, среди которой у него было много личных связей, но возражать не решался, не хотел и не смел. О событиях же на родине, о революции в целом Демидов распространяться не любил. Мне кажется, что в основном его настроения были близки к настроениям Маклакова, о которых я уже здесь вспоминал. Это был тот же пессимизм — убежденность в глубоком разрыве, в наличии рва, который засыпать нельзя. Недаром Демидов любил украинскую поговорку: «не тратьте, куме силы, опускайтесь на дно»... Так, я думаю, он понимал про себя положение эмиграции.

Если Демидов ленился писать передовые, то и особой надобности в его писаниях, в сущности говоря, не было. Каждый день в определенный предвечерний час в редакцию «Последних новостей» приходил человек какой-то странной внешности. Все на нем сидело вкривь и вкось — и пенсне на длинном носу, и шляпа, которую он забывал снять, а когда снимал, то забывал, куда ее положил, шутники-сотрудники немедленно ее прятали. И пиджак был как-то не впору, слишком длинен и широк для этого узкого, слабого тела, и речь была нервной, как будто внешне даже нескладной, расхлестанной, но на самом деле этот человек все твердо знал, что нужно было знать и помнить.

Ни одна строка, ни в одной газете на многих языках мира, если она могла быть ему полезной, не ускользала от его внимания. Когда он все это читал, никто не знал. Знания, информация, сведения от вопросов текущей политики до общественных наук и учений — все это, как губкой, всасывалось А. М. Кулишером, основным автором передовых. Помимо всего прочего, он обладал талантом писать длинную передовую так, что никто не мог бы отличить ее от передовой Милюкова. На этом он главным образом и держался. Кулишер точно, во всех тонкостях знал и понимал ход размышлений, отталкиваний и симпатий кадетского лидера. Следил за всеми изгибами его сложной политической мысли и шаг за шагом следовал за ними.

Совсем другим был директор газеты Н. К. Волков. Сибиряк родом, деловой, лишенный ненужных «изломов», он твердо держал в своих крепких маленьких руках бразды правления. Он знал счет и рублям, и копейкам, и идеям. Целой вереницей толпились вокруг его маленького кабинетика и близкие, и ближайшие, и более далекие сотрудники газеты, добиваясь одного: франков, франков и франков. Франков за то, что принято и еще не напечатано, за то, что напечатано в номере, еще не утратившем запаха краски, наконец, за то, что несправедливо и незаконно, по мнению автора, забраковано. Франков в аванс за будущий, более успешный труд. Волков был строг и к себе и к другим. Он был последней инстанцией в денежных и административных делах; если сказал «нет», надежда была потеряна.

Потом, когда пришла война и немцы приблизились к Парижу, Волков вместе с Милюковым выехал из него, и они полускрывались в одном из провинциальных городков на юге Франции. Там Волков, насколько знаю, оставался при Милюкове, не желавшем покинуть Европу, хотя его усиленно звали в Соединенные Штаты, где у него было много влиятельных политических друзей.

...Для нас же, русских в Праге, поездки в Париж бывали всегда большой радостью— это было как бы окно в более широкую жизнь других европейских стран и в иную, правда, более суровую жизнь наших собратьев по эмиграции.

О житье-бытье

Наш беженский быт представлял собой, особенно в первые годы после оставления родных мест,— да и сейчас частично представляет — забавное сочетание старых традиций и привычек дореволюционной России, как бы семейного добра, вывезенного за границу, и навыков самого новейшего времени. Самого новейшего потому, что эмигрант должен быть очень поворотлив, чтобы не отстать от темпа жизни. Эти новые навыки были переняты в зарубежье как-то чересчур поспешно, будто бы на время, как бы напрокат. Но они были совершенно необходимы и неизбежны для жизни в новых условиях.

Недавно я сам наблюдал такую сцену. Эмигрантские семьи любили и любят часто и сейчас устраивать свадьбы молодежи с соблюдением всех старинных традиций. Тут и церковный обряд с участием многочисленного духовенства, и белая фата невесты — знак невинности, и посыпание молодых овсом...

Словом, как при бабушках в старой русской традиционной глуши. Но молодые-то живут в послевоенные годы, когда мужской молодежи чужда сдержанность, а девушки не слишком походят на тургеневских героинь.

И вот на такой традиционной свадьбе, когда всем было известно, что молодожены уже давно взаимно пользуются радостями жизни, священник, совершавший обряд бракосочетания, не удержался от лукавой насмешки, пожелав молодым «жить дальше так же хорошо и дружно, как они жили до сих пор». Родители были очень шокированы, молодые смущены, а все остальные, как бывает в таких случаях, радостно улыбались.

Дело, конечно, не в этом пустячном примере, а в том, что он действительно типичен в смысле комбинации совсем старого и совсем нового. Этими крайностями, противоречивой смесью навыков, привычек и традиций и жила эмиграция долгие годы, жила в своем большинстве бытом мелким, лишенным того хорошего, что есть в быту каждой страны и в любых условиях, того, что не сразу, не легко и часто очень неохотно показывают чужому, равнодушному взору иностранца.

В том же Париже тех лет, о которых я сейчас вспоминаю, каждый мог купить себе билет в «Мулен-Руж» или взять под руку пестро одетую женщину, медленно прогуливающуюся вокруг «Фоли-Бержер». Но зато как трудно было проникнуть в французскую семью-твердыню с ее неукоснительными, хотя, правда, и очень своеобразными законами.

Русский же эмигрант — парижский шофер, в прошлом какой-нибудь гвардейский полковник, а то и немалый военачальник, двигавший дивизиями или даже корпусами, не проникая в этот быт закрытой для него и чуждой ему среды, судил о нем по тому, что открывалось из окошечка его машины, когда он дежурил у

дорогих гостиниц, откуда поздно вечером или ночью выходили богатые иностранцы и приказывали везти себя к женщинам. Полковник у руля уже знал, в чем дело. Он твердо помнил нужные адреса; он уже хорошо учитывал, кого куда доставить, и хотя чертыхался, но утром, сдавая машину в гараж, не забывал заехать в злачное место за процентами, которые ему очень честно выплачивала администрация в зависимости от оставленных гостями сотен, а подчас и тысяч франков.

Для того чтобы дать пищу своей душе, полковник отворачивался от окружающей жизни, воспринимал из нее только то необходимое, что ему нужно было для существования, и жил прошлым. Для него опять звучали детские голоса в его семье, в которой он рос маленьким избалованным любимцем, мальчиком непоседливым и трудным; или опять шумели знамена полков, с которыми он уходил в 1914 году к западным границам своей родины; или возникали суровые картины боев гражданской войны на российских полях.

А сама эта родина во всей ее реальности отходила от него все дальше и дальше; ее подлинные очертания заменяли призраки прошлого или надуманные у опостылевшего руля фантазии о будущем. Место здоровой любви к родине, которая подсказывала бы путь к сближению, заняла боль незакрывающейся раны. А такая рана часто не только кровоточит, но и гноится. И полковник за рулем своей машины в часы томительного ожидания очередного пассажира переставал различать любовь и ненависть и совершал поступки, за которые ему было больно, если бы он в самом деле до конца оставался «в здравом уме и твердой памяти».

В Москве, через сорок лет после того как русский эмигрантский полковник впервые сел на место шофера в парижское такси, приятель моих детских лет, известный советский генерал, в молодости знаменитый летчик, рассказал мне такой случай. Он возвращался через Париж из Америки, куда совершил вместе со своими товарищами один из первых, прославивших советскую авиацию перелетов через океан. В Америке и в других странах советских летчиков горячо чествовали, а в Париже таксист, услышав русскую речь, обернулся к седокам и спросил их на чистом русском языке, кто они такие. Получив же разъяснение, что они советские летчики, о которых он, может быть, читал в газетах, таксист-эмигрант остановил машину и предложил им ее оставить, так как он «большевиков не возит».

Я живо представил себе раздражение и взволнованность полковника у руля и его, так сказать, сумрачную радость, если таковая вообще возможна, по поводу того, что он оставался до конца «принципиальным» и не запятнал своих белогвардейских риз.

Так это было с теми, кто внутренне жил одним только прошлым. Но я уже упоминал и тех беженцев, кто, ведя новую для них трудовую жизнь в приютивших их странах, начинал постепенно

проникаться настроениями и интересами сотоварищей по работе и профессии. Это означало уже очень, очень многое.

А теперь, раз я говорю о быте, скажу и о людях, занятых в эмиграции не прямой политикой, а прежде всего бытовыми вопросами, материальным благоустройством беженцев. Сам я тоже принимал активное участие в такой работе.

Основными общественными организациями русской эмиграции в Чехословакии были Объединение русских эмигрантских организаций и пражский Земгор, также широко известный в Чехословакии. Земгор получал обширную финансовую помощь от чехословацкого правительства в период первой республики и находился в руках эсеров.

Формально это были организации неполитические, но, конечно, только формально. Каждый уже приходил туда со своими представлениями, так сказать, со своим обиходом общественных отношений. Помню, например, как меня и поразило и расстроило, что, сев за стол правления Объединения, представитель военных организаций — древний генерал — начал свою речь обращением: «Ваши сиятельства и ваши превосходительства». Будучи членом правления и секретарем Объединения, я тут же заметил генералу, что присутствуют не только «сиятельства» и «превосходительства». Но генерал решил быть ехидным — он только горестно и как бы изумленно развел руками... Вот до чего дожили!..

Передо мной записи о работе этих эмигрантских организаций. Однако, листая полуистлевшие страницы, я нахожу в них столько совсем ненужного, что, может быть, лучше совсем отложить их в сторону. И если рассказывать, то заново, в свете уже сегодняшнего опыта, точнее, по выражению древних римлян, «с точки зрения вечности».

Общественные деятели так называемой «деловой складки» занялись бытовым устройством эмигрантских масс. И в самом деле, народу понаехало как-никак много и что-то с ним нужно было делать. Разумеется, это относится в первую очередь к первым годам эмиграции. А затем возникали юридические вопросы; «апатриды» тоже хотели иметь виды на жительство, право на работу, хотели пересекать границы государств.

Если вспоминать Прагу, то нельзя не назвать нашего председателя Объединения, одновременно также главу Союза русских академических организаций за границей А. С. Ломшакова, в прошлом профессора Петроградского политехнического института. Он был как бы старшим в чехословацкой эмиграции, особенно сразу же по приезде, главным образом благодаря связям, которые ему удалось установить в первую очередь в правых чехословацких кругах.

Ломшаков не отличался ни выдающимся красноречием, ни тонкостью мысли, особенно когда вопросы уходили от практиче-

ских потребностей каждодневной жизни куда-то в более высокие сферы. Он даже оказывался в таких случаях беспомощным, и его легко перегоняли многие, более искушенные деятели.

Но в практических вопросах у Ломшакова было большое природное чутье, безошибочная смекалка, большая воля и настойчивость.

Он отлично понимал, что «белое движение» давно и навсегда кончено и постепенно давал это также понять окружающей его реакционной среде, правда, в очень осторожной форме. Благодаря же своим организаторским способностям и деловой хватке он сумел обеспечить получение высшего образования многим молодым людям, оказавшимся после поражения белой армии за рубежом родины. Ломшаков пристраивал к делу и профессоров, и доцентов, и инженеров, и священников, и просто русских людей, ставших иногда случайно беженцами и совершенно не знавших, что же им теперь предпринять.

Возглавляя в первые годы эмиграции Комитет по иждивению русских студентов-эмигрантов, равно как и всю зарубежную русскую профессуру, Ломшаков терпеливо часами высиживал в приемной студенческого общежития, принимал посетителей, рассматривал заявления, пристраивал в высшие учебные заведения молодых людей.

Случались и курьезы. Ломшаков был в те годы крепким, черноволосым мужчиной, с сочным басом и немного простонародным сибирским говорком. Однажды сидит он за своим столом и цепкими глазами приглядывается к посетителям. Подходит молодая дама, нарядная, изящная, красивая, что-то слышавшая об иждивении для студентов, но не совсем разобравшаяся, в чем тут дело и как все это называется. Подходит к Ломшакову со словами: «Господин профессор, очень прошу вас, возьмите меня на содержание». Ломшаков был мало склонен к живому юмору, и он в полной растерянности, с изумлением и сильно покраснев уставился на посетительницу. Зато окружающие хохотали до слез.

Дело завершилось благополучно, и милая женщина не только окончила «восьмое чудо света» — русский юридический факультет в Праге, но потом и еще одно чехословацкое высшее учебное заведение.

Ломшаков же, оказавшись в эмиграции уже не молодым человеком, пережил в Чехословакии и расцвет так называемой «эмигрантской акции», и ее упадок, пережил войну и освобождение страны Красной Армией. Он пережил события 1948 года, когда страна, приютившая его, вступила на путь строительства социализма, и многое другое, сопровождавшее все эти события. Умер он 90-летним старцем, сохранившим до последних дней живой интерес к жизни и способность разумно к ней относиться.

Многие люди, которым он в свое время помог, вернулись на родину, став советскими гражданами, и работают сейчас дома, среди них преобладают инженеры.

Жил Ломшаков в так называемом «профессорском доме» на окраине Праги. Много русских интеллигентов, по преимуществу профессоров, теснилось в маленьких квартирках этого дома. Его построили в двадцатых годах русские эмигранты-профессора при широкой, подсказанной правительством поддержке со стороны кооперативных строительных обществ.

В доме этом жили люди пожилые, в прошлом известные, медленно соскальзывавшие вниз. От высот науки к сутолоке повседневной эмигрантской жизни, от непоколебимого русского здоровья, которым они пользовались, к старческим немощам, от широкой жизни большими семьями к неизбежному уделу многих — одинокой старости.

Люди эти были тесно связаны друг с другом, держались, хотя и ссорясь, друг за друга, образуя в общем как бы одну среду, живущую волнениями и интересами совсем другими, чем интересы обитателей соседних кварталов.

В этом своем доме видные в прошлом русские академические работники понемногу старели, хирели и, наконец, умирали, часто без всякой надежды, не только когда-либо увидеть родную страну, но и найти с ней внутренний контакт. Сами пражские русские острословы прозвали этот профессорский дом «братской могилой». А в ней, в этой «могиле», в самом деле обитали люди, в прошлом имевшие громкие имена.

На другом конце Праги русские эмигранты построили второй свой дом. Он был поскромнее, поменьше, но весьма живописен по составу его обитателей. Здесь можно было увидеть и донских генералов, включая атаманов «Всевеликого войска Донского», и директоров провинциальных русских гимназий, и боевых военачальников, не сумевших за долгие годы заграничной жизни отвыкнуть от неуместно произносимого слишком крепкого словца, и богомольных старушек, строго соблюдающих посты и праздники, и безнадежно потерявших голос, известных когда-то в России певцов, огорченных непониманием современной публики. Словом, кого только в этом доме не было...

А те эмигранты, которые приступили к постройке кооперативного дома несколько позже, уже подкопив для того кое-какие средства, построили и совсем комфортабельный большой дом на одной из главных артерий Праги, невдалеке от теперешней высотной гостиницы «Интернационал». Здесь также жили многие известные ранее русские люди, в частности, как я уже говорил, лидер партии эсеров В. М. Чернов. Там же нашли себе приют писатель Е. Н. Чириков и профессор А. А. Кизеветтер.

Жители дома могли видеть, как по утрам этот высоко талантливый лектор и оратор — многим русским эмигрантам живо памятны его лекции о прошлом их страны, о деятельности Петра I и об эпохе Екатерины II — выходит из своего дома бодрым, стремительным, но не совсем верным шагом на своих уже старческих но-

гах. Кизеветтер торопится к трамваю, на лекцию, собрание, в библиотеку, или с маленьким складным стулом под мышкой в большой пражский парк — Стромовку, где он и располагается в тени, обложенный книгами и рукописями.

Иногда он задумчиво, а то и очень темпераментно беседует сам с собой, прохаживаясь по аллеям парка. В другой же раз, спеша по улицам Праги, тихонько напевает какие-то довольно бравурные песенки. Маленький, старый, с большой, уже побелевшей бородой, с живыми неспокойными глазами и с неистощимым красноречием, щедро отмеренным ему судьбой.

Из этого же дома медленно спускался по лестнице, останавливаясь и осторожно переводя дыхание, высокий, больной сердцем, тоже седобородый человек, с изящными манерами, с утомленным и немного скорбным лицом.

Это тоже большой оратор, но не политический, не академический, а прежде всего судейский: в прошлом сенатор и профессор привилегированных высших учебных заведений старого Петербурга по кафедре гражданского права С. В. Завадский. Был он также серьезным знатоком и любителем мировой и русской литературы. Этот человек был страстным поклонником Пушкина. Лекции Завадского о Пушкине сохранились у меня в памяти на долгие годы.

Говорили, что при строительстве нашего дома были допущены какие-то злоупотребления, почему эмигрантская среда и прозвала это здание домом «У трех жуликов».

Нет, юмор потерян не был.

Немало было также эмигрантских семей, которые в силу скудости средств или занятости не знали, куда им пристроить рождающихся младенцев; в те годы система детских садов далеко не так была распространена в Чехословакии, как в теперешнее время.

И вот этими-то заботами об эмигрантских детях занялась, в частности, А. В. Жекулина. Родившись в богатой дворянской семье, она вышла замуж совсем молоденькой девушкой, рано овдовела, причем, умирая, муж оставил свою молодую жену с очень большим выводком детей без всяких средств, пустив по ветру все свое имущество.

В этих трудных условиях Жекулина проявила незаурядные способности. Она открыла в Киеве частную гимназию, ставшую для нее источником дохода и завоевавшую широкую известность. Жекулина стала в старой России видным работником Союза земств и городов и уже там выдвинулась своим трезвым, широким холодным умом, своей практической сноровкой и большим умением обращаться с людьми. Такой приехала она за границу.

Мне пришлось много встречаться с Жекулиной, и я всегда удивлялся ее острому уму, уменью в весьма преклонные годы быстро,

почти мгновенно, ориентироваться в меняющихся условиях и принимать хитроумные решения.

Однако эта полная, пожилая женщина с большой круглой головой становилась наивной и совсем не глубокой, как только разговор переходил на более отвлеченную область. Впрочем, она, видимо, и сама ощущала эту свою слабость и редко вступала в идеологический спор. Только большие карие глаза ее, когда она слышала беседу о «высоких материях», весело и насмешливо перебегали с одного спорщика на другого, как бы желая сказать: «посмотрим, кто кого в дураках оставит».

Со свойственной ей трезвостью Жекулина решительно и очень остро осуждала все формы антисоветского «активизма», отрицала все виды идеологии продолжающегося «кубанского похода», расходясь в этом со многими друзьями.

«Мы еще пойдем к ним на поклон»,— говаривала она, имея в виду деятелей Советской России. Как-то она немного жалобно и вместе с тем уверенно мне сказала, что «они (то есть все те же советские руководители) сделали за эти годы многим больше, чем это могли бы сделать наши милые лежебоки».

В отрыве от родины

Не одной политикой жили эмигранты. Не только вопросами отношения к советской власти занято было их сердце. Они, как и все другие люди, худо ли, хорошо ли устраивали свою судьбу, работали, читали книги, в том числе написанные часто их же писателями-эмигрантами, любили, веселились и горевали.

Когда-то один эмигрантский литературный критик — это был хорошо мне известный знаток русской литературы, секретарь Чехословацкого общества по изучению Ф. М. Достоевского А. Л. Бем— поставил вопрос: почему так вышло, что молодые эмигрантские писатели-реалисты остались как бы без тем? Во всяком случае без той основной темы, которая могла бы стать стержнем большого художественного произведения.

Бем утверждал, что это происходит в значительной мере как раз потому, что быт эмиграции всегда жидок, мелок и лишен корней, лишен как бы духовного тыла, и писателю-эмигранту предоставляются на выбор либо темы дореволюционного времени, либо описание жизни иных времен и других стран.

Если присмотреться к судьбе писателей-эмигрантов, окажется, что так это и было.

Некоторых из них я знал ближе, других не раз видел и слышал; многие из них оставили в душе сильный след.

Не так давно в советской стране вышел еще один сборник избранных произведений умершего в эмиграции И. А. Бунина с замечательным предисловием советского писателя К. Г. Паустов-

ского. В этом предисловии Бунину выражено максимальное признание и уважение. О бунинских ошибках и заблуждениях, о бунинской любви и ненависти автор предисловия написал с большим пониманием и с предельной мягкостью. А годом раньше я сам приобрел в Ленинграде другое советское издание сочинений Бунина, вызвавшее у читателей большой интерес.

В самом деле, я думаю, что буду только справедлив, если скажу: советская сторона оказалась более понимающей и проникновенной, чем был сам Бунин в том споре, который долгие годы разделял современную Россию и эмиграцию. А для кого-то разделяет и сейчас.

Бунин, долгие десятилетия живя за границей, постоянно и безысходно тосковал по России. Он не находил пути к той французской писательской среде, дорога к которой была для него в сущности всегда открытой, а после присуждения ему Нобелевской премии открыта даже широко.

Ни с иностранными писателями, ни с интеллигентской средой Франции, где он жил, Бунин тесных связей не имел, с трудом заставляя себя поддерживать только самые необходимые официальные отношения. Не любил он жить подолгу и в самом Париже. Он предпочитал один, в кругу только самых близких людей, жить в деревне, а мысль его всегда была обращена прежде всего к старой России.

На одном эмигрантском собрании в Париже, на котором я был и участники которого с волнением часто о нем вспоминали, Бунин формулировал свое отношение к русской революции словами, очень несправедливыми, горькими и, как это часто бывает, когда чувство и страсть оказываются сильнее разума, совсем не глубокими.

Предельно непримиримые и предельно слепые слова произносились иногда Буниным в первые годы эмиграции, когда ненависть была сильнее самой любви, всегда жившей в сердце этого большого, но глубоко заблуждавшегося художника.

Что-то от этой непримиримости оставалось до самого конца жизни знаменитого писателя, но только «что-то»... Он уже начал признавать, особенно после войны, и достижения советской литературы, в начале эмиграции им начисто отрицаемой, выделяя при этом ряд имен, и громадные общие успехи своей родины.

В годы же войны Бунин был непримирим к гитлеризму.

Многие русские эмигранты слышали Бунина и в Париже, где он выступал часто, и в Праге, которую он иногда навещал, и этот необыкновенный мастер слова всегда легко и безошибочно покорял слушателей. Мне не пришлось слышать более искусного рассказчика. Достаточно было нескольких минут, чтобы в обширном зале, заполненном аудиторией во много сотен человек, забывалось окружающее и слушатель, кем бы он ни был, переносился в тот мир, о котором говорил стоящий на трибуне Бунин. Он не только говорил, он при этом удивительно тонко играл.

Особенно мне запомнился его пражский доклад о Л. Н. Толстом и толстовстве. Это было проникновенно, правдиво и глубоко. Когда же после доклада я прошел в одну из задних комнат, где устраивался интимный ужин в честь Бунина, я почти не узнал только что слышанного удивительного художника.

Передо мной был старый, красивый, сухой человек со сдержанной, как бы высокомерной улыбкой, с холодной, немного презрительной манерой, с пустой и неинтересной речью о вкусных кушаньях, о качестве различных водок, о женских прелестях.

Таким сидел Бунин на маленьком ужине, устроенном в его честь. А когда по оплошности наивных устроителей его соседкой оказалась не очень красивая, не очень молодая и совсем не изощренная женщина, никак не подготовленная к разговору со своим соседом, то он, окинув ее быстрым понимающим взглядом, принял такой недовольный и капризный вид, что мне стало страшно за исход их, по счастью, не слишком оживленной беседы.

Когда же кто-то из присутствующих чехов спросил парижского гостя, кого именно из французских писателей-современников он ставит выше всех, Бунин сразу же, без колебания, ответил: «Конечно, Мориака». Для тех, кто знал немного Бунина, я думаю, этот ответ не был сколько-нибудь неожиданным.

Эмигранты почитали Бунина, любили его и гордились им, особенно после мирового его признания в Стокгольме. Я тоже всегда с волнением обращался к нему, любил если не все, то многие его произведения.

Среда дворянского оскудения, к которой так часто обращался Бунин, разорившаяся помещичья усадьба с ее часто никчемными, а порой и порочными обитателями, была мне знакома с детских лет. В ней я вырос на поколение позже тех людей, среди которых рос Бунин и которых он описывает.

И все же в этом писателе, так мне понятном и близком, я всегда ощущал какой-то роковой изъян.

При всем огромном таланте этого художника, при всем блеске его языка, когда я читаю Бунина, я ни на минуту не забываю, что сижу на стуле или лежу на диване и читаю прекрасную книгу искушенного лауреата. Когда же я обращаюсь к его непосредственным предшественникам в смысле литературной преемственности — Толстому, даже Тургеневу, то я уже не листаю увлекательную книгу, я просто живу среди близких мне людей, о которых она рассказывает. В самом деле, какой-то последней силы художника Бунин как будто лишен. Вот почему описательная сторона, блистательно выполненная, неповторимо искусная, все же преобладает у него над непосредственным художественным воплощением. В этом его глубокое отличие от любимого учителя — Толстого, перед которым он, человек непокорный и гордый, не страдавший излишней скромностью, преклонялся до конца и безраздельно. Эти слова не толь-

ко признания, а именно преклонения, слышал я от Бунина и в Праге, и в Париже.

Лично мне кажется, что момент известного бессилия,— как раз в точке наивысшего напряжения творчества,— которое я, может быть, ошибочно ощущаю в Бунине, не случаен. Может быть, этот крупнейший писатель, художник, ушедший в прошлое дворянской усадьбы, а отчасти крестьянской судьбы старой России, этим своим, каким-то словно органическим недостатком последней силы, необходимой для того, чтобы по-настоящему ударить по сердцам, символизирует ту социальную среду, тот слой и класс людей, из которого он вышел. Тот круг людей, который он, верно, любил и которому он посвятил столько замечательных, неповторимых страниц.

Это был художник уходящей и теперь уже давно ушедшей России в противоположность своему другу-врагу А. М. Горькому. Может быть, отсюда и получилось то, как будто странное положение, что Бунин — мастер, формально и не уступавший Горькому, все же лишен был той действенной силы, которой в таком изобилии обладал автор «Детства», «Дела Артамоновых» и многих других произведений. В Горьком, в его творчестве жизнь била ключом, а большая часть произведений Бунина, в том числе «Жизнь Арсеньева», все же, прежде всего, торжественная панихида.

Впрочем эти страницы пишутся не литературным критиком. Вспоминая русских писателей, живших среди нас, хочу прежде всего говорить о том впечатлении, которое они произвели на меня и на окружающих. Думая о Бунине, вспоминая о нем, естественно, хотелось прежде всего рассказать о его выступлениях в Праге и в Париже, которые я так живо помню.

Мне крепко врезался в память тот блеск какой-то сухой страстности, которая, как мне кажется, проеобладала не только в лице Бунина, но, может быть, и вообще в его характере, во всяком случае, во вторую половину его жизни.

Отсюда та большая любовь и та слепая часто ненависть, о которых справедливо вспоминают все откровенно пишущие о Бунине. Отсюда эта постоянная бунинская тема любви и смерти, отсюда же и последний его сборник, выпущенный в глубокой старости, «Темные аллеи», вызвавший за границей такие горячие споры. Одни говорили, что эта книга, во многих рассказах которой страстное чувство к женщине, к женскому телу заслоняет или почти заслоняет все другое, что эта книга и ее основная тема в такой форме поданная — не тема русского писателя, что Бунин здесь скорее талантливый последователь некоторых направлений французской литературы. А другие эмигрантские критики утверждали, что за всю свою долгую жизнь они не читали более сильной и совершенной прозы. Но и в этой книге, как и во всем творчестве Бунина, смерть и тлен на многих и многих страницах!

В день присуждения Бунину Нобелевской премии один хороший его знакомый, широко известный русский человек, весело улыбаясь, сказал мне в Праге: «Читали телеграммы? Иван Алексеевич получил миллион! Интересно, хватит ли это ему, при его замашках, годика на два?» И в самом деле, Бунину не надолго хватило премии.

Если Бунин был гордостью эмиграции, если она или ее часть пользовались его именем в своем стремлении противопоставить писателей эмиграции советским художникам слова, то гораздо меньший след, как я думаю, оставили сотоварищи Бунина по парижской жизни Куприн и Бальмонт.

Куприн, которого я помню в Париже грузным, с полупотухшим взглядом человеком, обычно грустным, часто мрачным, начал, так же как и Бунин, с полного отрицания русской революции. Однако он, еще менее склонный приспособиться к чуждым условиям, довольно скоро понял, что для него нет существования и тем более нет творчества вне родины.

Куприн, сначала осуждавший возвращение в Советскую Россию А. Н. Толстого, был счастлив возможности последовать его примеру еще перед второй мировой войной. Люди, видевшие его в Париже, а его там любили, не могли сразу не почувствовать, что этот широко одаренный писатель не только душевно, но и физически задыхается на чужой стороне, бьется в безысходности.

В свое время в России хорошо был известен поэт К. Д. Бальмонт, художник очень разнообразных, глубоких и широких интересов, много писавший в эмиграции. Бальмонт знал несколько иностранных языков и обладал большой эрудицией. Он посетил многие страны и посвятил немало сил переводу поэзии славянских народов на русский язык.

С Бальмонтом, столь горячо любимым мною в юношеские годы, познакомился я в Париже, в редакции газеты «Последние новости». Увы, на берегах Сены это был временами уже почти страшный, изможденный старик с полубезумными глазами. Он пил и пил много. Его конец в психиатрической лечебнице Парижа был совсем трагичным, а перед этим концом — годы упадка и тяжелой бедности, иногда почти нищеты.

Если так кончил в эмиграции свою жизнь Бальмонт, чьи стихи в начале столетия любили многие и многие соотечественники, то совсем иначе прожил в Праге свою старость, затянувшуюся до 90 лет, один русский писатель, прежде всего известный тем, что никто другой, в том числе даже Боборыкин, не опубликовал такого количества страниц.

В. И. Немирович-Данченко мог насчитать на книжной полке более 200 томов своих произведений, приближаясь к мировому рекорду, а может быть, и достигнув его. Тут для присуждения пальмы первенства пришлось бы точно подсчитать страницы, написанные им и А. Дюма.

Жители чехословацкой столицы, и особенно ее живописного квартала Винограды, хорошо знали своеобразный облик Немировича, к которому относились с большим почтением. Здесь и глубокая старость, и широкая известность, и безупречные манеры старого джентльмена, и молодецки расправленные бакенбарды, и строгое пенсне на крупном носу, и хорошее знание меню в дорогих пражских ресторанах. Здесь, наконец, и умение в 85 лет хорошо поужинать с постоянной полужалобой, что утка, хотя и хорошо приготовлена, но порция маловата, и любовь Василия Ивановича к женскому обществу, в отношении которого он всегда был подчеркнуто вежлив, изыскан, совсем по-старомодному галантен.

А на пражских эмигрантских собраниях его представительная фигура часто украшала стол президиума, и он умел произносить также в последние годы жизни, на исходе девятого десятка, приличествующие случаю речи, никого слишком не обижая и никогда не заостряя своего отношения к родине.

Он хорошо помнил о своем знаменитом брате в Москве — Владимире Ивановиче и, говоря о нем, не прямо, а все же постоянно давал понять, что путь, избранный братом, ему самому внутренне ближе пути, выпавшего на его собственную долю.

Так говорил он и мне в своей пражской квартире, тоскуя в ней о том, что не может путешествовать. «То ли дело, бывало, в Петербурге. Проснусь утром, дождь идет, осень, писать не хочется. Пошлю секретаря с паспортом формальности выполнить, а вечером я уже в поезде, еду на юг Франции, в Ниццу или часто в Испанию».

Среди бесчисленных томов его произведений этой стране посвящено немало страниц. В какой-то мере он ее открыл русскому читателю, а что Немирович-Данченко в противоположность русской писательской традиции шел, так сказать, не вглубь, а вширь, то, вероятно, и такие писатели нужны, и, может быть, не совсем почтительное отношение к нему в старой России было и незаслуженным.

Сам же Василий Иванович никогда, мне кажется, не преувеличивал своего значения в русской литературе. Он считал себя, и это я лично не раз от него слышал, посредственным романистом, добросовестным и неутомимым журналистом и хорошим военным корреспондентом. Эту свою работу он особенно ценил.

Здоровьем же он обладал действительно необыкновенным. Он мне рассказывал, например, как человеком уже совсем немолодым приехал на немецкий курорт Наугейм, где лечат сердечные болезни.

— Ну,— вспоминал Василий Иванович,— приехал я на курорт, и как человек дисциплинированный, отправился сразу к врачу. Немецкий врач, тоже человек порядка, осмотрел меня и прописал ванну каждый день: первый день три минуты, потом четыре, и так до десяти, а потом опять вниз до трех. А у меня,— продол-

жал Немирович,— своя старая привычка: я утром сижу в горячей ванне минут сорок и читаю прессу. Конечно, я в Наугейме этой привычке не изменил, так и сидел в «сердечной» ванне по сорок минут, читая русские, немецкие и французские газеты. А окончив лечение, отправился опять перед отъездом к моему доктору. Тот прослушал меня и остался доволен. Я ему и говорю: «А я, доктор, вас не послушался и сидел в ванне по сорок минут». — И представьте, что он мне ответил: «Знаю, я только вам сказал, как полагается лечиться, а вы так устроены, что вам можно в любой ванне и по два часа сидеть, с вами ничего не случится».

Последний раз я видел Василия Ивановича в пражской городской больнице, где его навещал; до последних дней он сохранил свою подтянутую, любезную манеру и даже пытался встать с кресла, приветствуя посетителей, зло смеялся над своим старческим бессилием и болезнями.

Он был «русским европейцем», если можно так выразиться, и как таковой легче нес разрыв с родиной, чем люди типа Куприна или даже Бунина. Он не растравлял своих ран, не занимался постоянно самоанализом, но тоже глубоко тосковал по России и глубоким стариком никогда не воодушевлялся так, как вспоминая самый дорогой ему и близкий город — Петербург.

В первые годы эмиграции русскую писательскую среду представлял в Праге наряду с Немировичем-Данченко популярный когда-то в России писатель, реалист с сильным натуралистическим уклоном — Е. Н. Чириков.

Если Василий Иванович был прежде всего «европеец» и «джентльмен», то Чириков привез на берега пражской Влтавы воздух средней Волги, откуда он был родом. В этом на первый взгляд нарочито простоватом человеке, немного лукавом, всегда остроумном и живом была удивительная, чисто русская уютность.

Он был очень любим окружающими прежде всего за эти его качества, за его простоту и какую-то особенную «народность». Обрел он ее не в старом Петербурге, в котором жил уже известным писателем, а в Казани и других волжских городах, где Чириков начинал бедным студентом из обедневшей дворянской семьи.

Последний крупный роман Чирикова «Зверь из бездны», повествующий о гражданской войне, был широко известен в эмиграции и читался всегда с интересом. Написан он был с позиций писателя, захотевшего стать эмигрантом. Эту свою антиреволюционную линию Чириков продолжал — правда, не слишком последовательно, политиком он ни в какой мере не был — и в своих писаниях за границей.

Чириков не дожил до тех лет, когда перед нашей родиной возникла опасность нашествия нацистов. Но, зная его стихийную, органическую любовь к России, я уверен, что, проживи он на шесть-семь лет больше, число последовательных патриотов в рядах эмиграции, вне сомнения, было бы им пополнено.

Чирикова нельзя представить себе в лагере врагов России. Он ни в какой мере не был догматиком, но революцию не любил, и сильно не любил. У него, правда, это не была глубоко продуманная линия, а скорее импульсивное душевное движение автора «Зверя из бездны».

Чириков любил «зеленого змия» и не упускал случая опрокинуть несколько рюмочек. Но водка была для Чирикова только прологом, вступлением к товарищеской пирушке на студенческий манер.

На русских эмигрантских вечерах часто появлялась его невысокая коренастая фигура в темно-сером пиджаке, со светлым галстуком большой бабочкой, какие носили в старой России начала столетия земские врачи и сельские учителя. Чириков любил, подвыпив, вскочить на стол и под шумные аплодисменты молодежи произнести горячую речь о чем-то очень хорошем, но не совсем точно уловимом.

Когда-то этот человек тронул меня, подойдя ко мне вскоре после моей женитьбы, а женился я совсем молодым, с необыкновенно ласковой и вместе с тем интимно-игривой улыбкой со словами: «Поздравляю, голубчик, а вы-то, счастливец, наверно, сейчас все Америки открываете».

Он был преданным, верным семьянином, а в жизни, как и в своих романах,больше всего поклонялся юным девушкам в темных или светлых гимназических передничках. Описывая этих девушек, Чириков не жалел страниц и горячих слов.

Как писатель с уклоном к натурализму, хотя бы и в лучшей его форме, Чириков не смог надолго пережить свое время. Такие произведения, как повести и рассказы Чирикова, быстро стареют и ветшают. Новая жизнь не находит в них большой пищи для ума и сердца. И все же, зайдя недавно в магазин «Советской книги» в Праге, я увидел там на полке новинок сборник рассказов раннего Чирикова.

Бунин, Чириков и другие известные русские писатели, о которых здесь говорилось, принадлежали к старшему писательскому поколению, к тем, кто вывез в эмиграцию уже всероссийскую известность.

Русские, еще оставшиеся в Праге, помнят, вероятно, на кафедре одной университетской аудитории некрасивого пожилого человека с высохшим лицом, на котором было написано что-то напряженное, болезненное. Это в «День русской культуры», а такие из года в год устраивались эмигрантами, читает доклад о путях русской литературы известный писатель, ставший эмигрантом,— И. С. Шмелев. Этого человека, опубликовавшего за границей целый ряд произведений, характеризовала долгие годы его зарубежной жизни большая непримиримость. Даже многие правоверные эмигранты, приверженцы традиционных установок, не могли не считать ее преувеличенной.

Чем-то экзальтированным, чем-то нездорово возбужденным веяло и от общей философии героев Шмелева, и от их — и это не на последнем месте — повышенной неуемной, идущей не от сильной плоти, а от раздраженного мозга, подчеркнутой эротики. Что же до автора этих вещей, то в Праге, когда я его слышал, меня неприятно поразила какая-то ограниченная, какая-то искусственно-постная, чуждая подлинной религиозности, надуманная церковность этого страстного любителя жизни, умевшего далеко заглянуть, во всю силу особых свойств своего таланта и письма, в ее темные глубины.

Таким я видел Шмелева на трибуне пражского собрания, человека и писателя, казалось, очень несчастного и безжалостного.

И каким светлым лучом осветились любимые Шмелевым сумерки, когда вскоре после его доклада я услышал на парижском литературном собрании такого, как бы озаренного нежарким северным солнцем писателя, может быть, и лишенного силы Шмелева и даже, наверно, лишенного, каким представлялся мне тогда постоянный сотрудник многих зарубежных русских изданий Борис Зайцев. Основная тема этого писателя — старая Россия. Но эту Россию он знал хорошо, помнил крепко и при описании жизни в ней с ноги не сбивался.

Привелось мне встретиться также с маленьким, напоминающим жучка, интереснейшим резонером, которого в споре с ним обойти и объехать почти невозможно, несмотря на мирно сложенные маленькие ручки. Это Алексей Ремизов, писатель с большим именем, ждавший в Париже очередного боя часов истории.

В этом, в конце концов, случайном перечне— ведь я вспоминаю только тех, кого лично больше или меньше знал,— нет одного имени, которое обязательно должно быть приведено, если говорить о писателях эмиграции. М. А. Алданова (Ландау) нельзя обойти, так как именно в эмиграции написана бóльшая часть его произведений. Он должен быть назван еще и потому, что его исторические романы проникнуты специфически западнической политической идеологией, необыкновенно чуждой современной России.

В произведениях этого писателя всегда слышен холодный скепсис и глубокое сомнение в том, что из человеческого сообщества можно сделать нечто в самом деле путное.

А вместе с тем этот широко образованный писатель умел чувствовать описываемую им эпоху. Образы Екатерины II, окружающих ее государственных людей и фаворитов, как и образ Наполеона и его маршалов, сделаны искусным мастером, вдохнувшим в описываемых им людей жизнь, заставившим их произносить живые, убедительные слова. Искушенный историк и архивист Алданов умел хорошо припрятать собственную ученость от читателей своих художественно-исторических повестей.

Он умел также дать художественную характеристику государственных деятелей современного ему мира, расставив знаки так,

как то диктовалось его политическими убеждениями, его мировоззрением. При этом сам он все время оставался как бы в стороне, как бы нейтральным наблюдателем. О ком только он ни писал: Ллойд Джордж, Черчилль, Сталин, Пилсудский, Муссолини...

Я же помню Алданова в редакции «Последних новостей». Он всегда отлично владел собой и как-то автоматически заставлял людей подтягиваться, быть как бы начеку в смысле их умственных и душевных возможностей. Бывают такие люди.

Свою же жизнь Алданов прожил бескомпромиссным противником советского строя. Скептик здесь становился догматиком. С одной стороны, им владела идейная неуступчивость, а с другой — он был лишен непосредственного ощущения живой ткани современной России. В этом, то есть в основном и решающем она ему как бы оставалась чужда.

Я пока вспоминал русских зарубежных писателей старшего поколения, но были и другие. Здесь уже говорилось о том, что роковой для творческого работника отрыв от родины и скудость эмигрантского быта, своеобразные его особенности лишили молодых писателей эмиграции возможности дорасти до того уровня, который соответствовал бы их способностям и дарованиям. Много загубленных судеб и имен встает сейчас в моей памяти, когда я пишу эти страницы.

Быт эмиграции не давал и не мог дать молодым талантам глубокой темы для реалистического романа или очерка. Отрывочные воспоминания о покинутой родине были недостаточны, чтобы по этой канве создать настоящее художественное произведение. Как при этом прежде всего не назвать имя яркого писателя молодого поколения эмиграции Владимира Сирина, так и оставшегося, в конце концов, всю свою жизнь без настоящей большой темы. Когда Сирин писал иногда небольшие произведения, рассказывающие о старой России, нельзя было не почувствовать, что он был слишком молод, уходя из нее, чтобы знать прежнюю русскую жизнь изнутри. Когда же он писал романы и повести, действие которых происходило в Германии или в других странах Европы, или вообще где-то, становилось очевидным, что жизнь этих стран для него все же чужая или получужая. Сейчас, уже на старости лет, этот выдающийся автор написал какой-то странный роман о полупатологической любовной связи между совсем юной девочкой-подростком и пожилым мужчиной, отживающим свою жизнь. Книга эта вызвала большой шум в США, где вышла на английском языке. Затем этот роман был переведен на некоторые европейские языки, а потом и экранизирован.

Не думаю, чтобы это произведение, эта вычурная и больная эротика постаревшего писателя вывели его из тех творческих тупиков, которых, как я понимаю, так много было в его жизни.

Я же помню Сирина в Праге и в Париже худощавым и немного упадочным молодым человеком, с безупречным светским воспитанием — школа Оксфордского университета, владеющим рядом европейских языков и обладавшим с юных лет широкими связями. Сирин — старший сын известного русского политического деятеля, о котором я говорил, В. Д. Набокова, убитого в первые годы эмиграции в Берлине крайними русскими монархистами при покушении их на Милюкова.

Уже тогда в остром, как бы тревожном взгляде его серых, затемненных ресницами глаз, была та внутренняя тревога, тот трудно скрываемый душевный разлад, с которым, как мне кажется, и прожил жизнь этот в самом деле очень талантливый представитель молодой когда-то писательской эмигрантской среды.

Париж. Одна из маленьких комнат редакции «Последних новостей», шумной, как и все газетные редакции, тревожной и нервной. В первую очередь это так в вечерние часы, когда номер должен быть готов и когда по всем закоулкам, обходя свои владения, пробегал технический редактор газеты А. А. Поляков с трубкой в зубах и в маленьком французском берете на голом черепе. В этой комнатке можно было увидеть молодую, очень красивую женщину, такую, каких трудно скоро забыть. Заговорив же с ней, в самом деле невозможно было не развесить уши. Уж очень бойко, складно и интересно умела говорить эта молодая женщина, на которую и на улице, и в любом большом общественном зале сразу вокруг невольно обращали внимание.

Это тоже эмигрантская писательница молодого поколения. После ряда блестящих фельетонов и очерков об эмигрантах она выпустила широко нашумевший в эмиграции роман-биографию, посвященный жизни — прежде всего жизни, а также и творчеству великого русского композитора П. И. Чайковского. Н. Г. Берберова нашла чуткие и вместе с тем смелые слова, рассказывая о жизни великого композитора.

Берберова, бывшая в то время женой эмигрантского критика и поэта Владислава Ходасевича, также показала, что не ограничивает себя эмигрантской жизнью; она проявила себя и в историческом романе с серьезной и сложной психологической канвой.

А в соседней редакционной комнате у самых дверей, на небольшом полусломанном стуле и без всякого стола перед ним, сидел высокий молодой человек с копной светлых, зачесанных назад волос, с немного строгими, светлыми голубыми глазами. В годы его молодости они имели обольстительное свойство совершенно менять свое выражение и становиться необыкновенно ласковыми и теплыми, беспомощно просительными и растерянными, когда они были обращены к женщинам, в том числе и к тем, которые совершенно не интересовали обладателя этих глаз.

Я говорю о поэте, а потом по преимуществу прозаике, тоже принадлежавшем тогда к писательской молодежи — Антонине

Ладинском. В «Последних новостях» он публиковал иногда свои стихи и прозу; по должности же, занимаемой в газете, он был одним из трех рассыльных, разносивших спешную газетную почту.

Он считался новой звездой, восходившей на эмигрантском писательском небосклоне, и приобрел вскоре известность своим романом «Пятнадцатый легион», в котором он ушел, так же как и Берберова, далеко от эмигрантских будней. Он ушел от эмиграции еще много дальше Берберовой, углубившись в походы римских легионов с их твердой поступью и непобедимым каре. Я помню его также в Праге, где он у меня некоторое время жил, увлекаясь пражским барокко. Потом на другом конце тогдашней Чехословацкой республики, на карпатской «верховине», его прельщали вросшие в землю вековые, остроконечные униатские церквушки.

В 1961 году, когда счастье мне улыбнулось и я прожил некоторое время в Москве, я узнал, что неподалеку от гостиницы «Украина» живет писатель Ладинский, вернувшийся на родину и осевший в Москве, после ряда бурных происшествий и переживаний в годы войны, когда он активно боролся с нацистами.

На мой звонок мне открыл дверь и ввел в тесную комнату, заставленную книгами, старый седой человек. Я узнал в нем Ладинского только потому, что знал, к кому иду.

Он рассказал мне о всем пережитом, показал новые работы, написанные им уже в СССР, прочел некоторые стихи. Он ждал тогда приема в Союз советских писателей.

Когда начинаешь вспоминать старых зарубежных русских писателей и молодое эмигрантское поколение или, вернее, поколения, один за другим встают образы, один возле другого толпятся люди, которых когда-то я знал, некоторых довольно близко. Тогда в эмигрантских центрах, в частности в Праге и в Париже, этих людей было много. Теперь же там, где я живу,— никого или почти никого. Пустота, окружающая постаревших людей, сама по себе естественна и неизбежна. Но та специфическая пустота, в которой доживают свою жизнь бывшие эмигранты,— я говорю бывшие, потому что многие себя таковыми уже не чувствуют и не хотят чувствовать,— действительно почти абсолютна.

Вспоминаю замечательную русскую поэтессу, жившую в Чехии, потом в Париже,— Марину Цветаеву. На редкость безрадостно сложилась жизнь этой, по мнению всех вдумчивых и авторитетных людей, необыкновенно одаренной женщины. Она была женой моего близкого пражского приятеля С. Я. Эфрона, высокого истощенного человека, с подчеркнуто эффектной, интеллигентной внешностью, с мягкими, как бы безвольными движениями. Уже на заре эмиграции он числился человеком прогрессивным, а потом в Париже стал совсем советским человеком.

Марина же Цветаева в начале эмиграции еще упорствовала, еще читала и печатала иногда некоторые свои стихи, говорящие о пре-

данности белой армии, так она была настроена тогда. Вскоре это увлечение прошло начисто. Оба они, и Цветаева, и Эфрон, были люди непрактичные и не умели даже в минимальной степени организовать быт. Жили они под Прагой в душной, неряшливой комнатке, в сущности в настоящей бедности, иногда почти нищете.

В той же Праге кончал тогда, в конце двадцатых годов, русский юридический факультет молодой человек, весьма обходительный и ловкий — К. Родзевич, умевший произносить на эмигрантских собраниях шаблонно-сладкие, но недурно склеенные речи. На разного рода юбилеях он был неизменным оратором, правда, когда не выступали первые номера. Он близко подошел к семье Эфронов и на многие годы стал близким ее другом.

На литературных вечерах, устраивавшихся под Прагой, в городке Збраслав, Марина Цветаева впервые прочла также отрывки из своих воспоминаний, представляющих, по общему тогда признанию, исключительные по блеску страницы русской мемуарной прозы. Женщина она была тогда молодая, но вся какая-то нескладная. Глаза ее смотрели всегда так, что видно было, как нетрудно им разгадать нового человека. Нрава она была нелегкого, прежде всего для самой себя.

Цветаева с семьей, а потом и Родзевич уехали в Париж, и я потерял было их след, пока не прочел в журнале «Современные записки» первые страницы воспоминаний поэтессы. В литературной жизни эмиграции это было большое событие, откликнулись на них и на родине. Потом я узнал, что Эфрон и Родзевич приняли участие в испанской войне на стороне демократии, так же как и способный молодой поэт эмиграции А. Эйснер.

А затем газеты сообщили, что Марина Цветаева с мужем и детьми вернулась на родину.

На тех же литературных вечерах, о которых я только что говорил, можно было в первые годы эмиграции часто встретить черноволосого, складного молодого человека, с немного натянутой насильственной улыбкой и тяжелым, на редкость несговорчивым характером.

А когда я теперь тороплюсь из своего дома в центр Праги, то нередко встречаю пожилого человека со смуглым лицом, с полуседой головой, с быстрым и как бы вопрошающим и недоверчивым взглядом темных глаз. Одет он, как очень многие здешние русские: все, как нужно, но не совсем так, как у окружающих. Это поэт Вячеслав Лебедев спешит к трамвайной остановке: он едет на окраину города навестить жену, уже много лет находящуюся в доме умалишенных. Лебедев не только поэт, но и инженер. Крепко любит он поэзию и верит в свои силы. Немало хороших стихов он написал, но в большие, признанные поэты так и не вышел.

В первые годы эмиграции спутником молодых лет Лебедева был поэт Алексей Эйснер, тоже начинавший свой творческий путь в Праге. Эйснер верил в то время в какое-то соревнование русских

и «Европы» за первенство и притом в соревнование, переходящее в столкновение. Он это и выразил тогда в запоминающихся словах:

«Прелаты толстые, молитесь мадонне розовой своей,
Спешите, русские солдаты уже седлают лошадей»...

Да, разные настроения жили среди молодых эмигрантских писателей и поэтов в первые годы зарубежной жизни, и труден был путь каждого из них, куда бы ни послала его судьба и личные его склонности. Сейчас Эйснер — бывший участник испанской войны на стороне республики — пишет воспоминания об этой войне, о Болгарии и других странах и печатает их в советских журналах. Живет он в Москве, где нашел себе пристанище после долгих лет суровых испытаний.

Но были среди зарубежных русских людей такие незадачливые молодые поэты и прозаики, которых слава или просто известность обошла стороной. А люди были талантливые. Русские старожилы Праги, вероятно, еще помнят маленькую, как говорили прежде, субтильную привлекательную женщину с гладко на пробор расчесанными черными волосами, с приветливой и застенчивой улыбкой, застенчивой и вместе какой-то скрыто озорной, заставлявшей вспоминать поговорку о том, что как раз в тихом-то омуте и водятся черти. Это поэтесса Алла Головина, которой пророчили очень большой успех. Ее взлелеял в Праге самоотверженно служивший молодым дарованиям маленький хромой человечек, критик и литературовед А. Л. Бем.

У Головиной был поэтический талант — это знали все, но не было того напора творческого дарования, который побеждает трудности, берет большие барьеры. Этого именно напора Головиной в какой-то мере недоставало для того, чтобы наперекор всем препятствиям все же проникнуть на литературный Парнас.

Алла Головина только один из примеров того, как трудно было даже при наличии больших способностей стать за границей поэтом по роду занятий. Это было для молодых людей почти невозможно; кстати, вовсе не одним только эмигрантам это было почти недоступно. Совсем нелегко складывались и теперь складываются материальные условия жизни молодых поэтов и писателей, работников всех видов искусства на Западе. Эти люди не смели и сейчас не смеют даже мечтать о той помощи, которая оказывается в социалистических странах молодым творческим работникам литературы и всех видов искусств.

Нелегко сложилась судьба Аллы Головиной как поэтессы; не большего успеха достиг и другой способный поэт и литератор — Сергей Рафальский, который в первые годы эмиграции обещал многое. Из Праги Рафальский перебрался в Париж, где испокон веков сходились люди разных национальностей и культур, служащие искусству и желающие завоевать себе признание. А Париж строг и часто жесток к этим людям! Так и Рафальский, если

бы он не повел обычную трудовую жизнь с постоянной борьбой за кусок хлеба, скоро погиб бы от чахотки в какой-нибудь третьеклассной парижской больнице. Переключившись же на работу ради заработка, он остался в литературе лишь более или менее случайным гостем.

На целое поколение моложе Рафальского пражская русская поэтесса Ольга Крейчи. Пишет она стихи и по-русски, и на чешском языке. Она также обладала и обладает сейчас большим дарованием, а стать признанной, известной читателю поэтессой ей так и не удалось.

Можно было бы долго, очень долго вспоминать русскую писательскую среду эмиграции. Но к чему затянутое перечисление имен и судеб? Скудный быт эмиграции, искусственность духовной атмосферы, в которой она жила, были бедны теми питательными соками, которые дают силу писателям, множат их энергию.

Судьба столкнула меня в эмиграции также с большими деятелями русского искусства. На мою долю выпало великое счастье увидеть двух людей, стоящих вне обычных рамок работников искусства, как бы талантливы эти работники ни были, на каком бы высоком уровне они ни творили. Эти два художника стояли вне рамок, потому что были гениальны.

Я имею в виду славную русскую балерину Анну Павлову и Ф. И. Шаляпина.

Сначала весть о приезде Павловой в Прагу — а было это давно — не очень меня взволновала. Я совсем мало знал и знаю балет и не ждал чего-то захватывающего. Когда я вслед за огромными толпами зрителей вошел в самый большой пражский зал и занял свое место, во мне преобладало любопытство. Увижу знаменитую, первую в мире танцовщицу, мою соотечественницу.

А вышло так, что на концерте Павловой, где она исполняла «Умирающего лебедя» Сен-Санса и отрывки из балета «Жизель», а также показывала своих учеников, я был так потрясен, что воспоминание об этом вечере живет в моей памяти по сегодняшний день и будет жить до конца жизни.

Павловой было под пятьдесят лет, через год или два она умерла. В тот столь памятный вечер верные ее поклонники очень волновались: все такая ли она?.. Единственная, как говорили они, и ни с кем не сравнимая.

Рядом со мной сидел на концерте один немолодой, преуспевающий русский инженер. Этот практичный, уверенный в себе, холеный человек волновался, как гимназист, краснел, мучился, вглядываясь в движения танцовщицы, каждое из которых он хорошо помнил. Этот сосед схватил меня за руку и вдруг зашептал, как безумный: «Поверьте, я готов застрелиться, если только годы ее коснулись». Но Павлова преодолевала их легко, и глаза моего соседа были полны слез восторга, ему оставалось только присоединиться к тем овациям, к тем непривычным в Праге

воплям, которыми приветствовала верхушка пражского общества знаменитую русскую балерину.

А мне, профану в этом виде искусства, профану, который не может произнести ни одного профессионального слова, стало тогда понятным, что классический балет при гениальном исполнении может жить полной жизнью и так же питать души, как и великое литературное произведение или гениальная передача драматургического шедевра.

Образ, данный Паловой в «Умирающем лебеде», живет в моей душе и сознании, как живут до конца дней страницы «Войны и мира», «Братьев Карамазовых», «Тихого Дона». Так в Праге пережил я выступление Анны Павловой, а вот А. Н. Вертинский написал в своей книге воспоминаний несколько по-иному. Ну что же, каждый воспринимает искусство и самую жизнь по-своему.

А теперь о другой незабываемой жизненной встрече — Ф. И. Шаляпин.

Сейчас, когда в Москве вышел прекрасный двухтомный сборник, посвященный великому артисту, сборник, в котором столько людей, с таким проникновенным умением и с такой любовью рассказывают о великом певце и артисте, что может еще добавить рядовой посетитель его концертов, случайный участник встреч и бесед с ним?

Но не сказать о Шаляпине просто нельзя, если вспоминать деятелей русской сцены, оказавшихся за пределами родной страны.

Этот человек, может быть, как никто другой, в силу громадности своего масштаба олицетворял трагедию отрыва от родины. У него эта трагедия усугублялась еще тем, что это прежде всего был отрыв добровольный — никто не мешал ему остаться в СССР, он имел также возможность вернуться. А затем, этот отрыв не исходил из каких-либо глубоко непримиримых и неустранимых идеологических расхождений. И хотя многое в русской революции и в большевизме было Шаляпину чуждо, все же расхождение не было таким глубоким, как, скажем, та бездна, которая возникла между революцией и тем же Буниным; она лишь очень постепенно заростала, закрывалась, да так и не заросла и не закрылась до конца.

Шаляпин прежде всего истинный служитель искусства, человек настолько глубоко русский, что добровольное изгнание, на которое он себя обрек, внутренне непрерывно терзало его. Все люди, сколько-нибудь знавшие Шаляпина, хорошо это понимали, они видели и наблюдали, как тоска по родине точит изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год его сердце.

Никакой дождь долларов, сыпавшихся на него во всех странах мира, и никакие овации, охватывавшие залы всех стран мира, в которые входил этот артист, не меняли смысла этой трагедии, сопровождавшей его жизнь за границей. В последний раз я видел Шаляпина за год до его смерти.

В одной старинной, но фешенебельной пражской гостинице, где Шаляпин постоянно останавливался в апартаменте № 5, он принимал часа за два до своего концерта представителей пражской прессы. Над входом в этот номер золотыми буквами была выведена по-чешски надпись: «В этих комнатах живет, приезжая в Прагу, Федор Шаляпин». Когда, немного опоздав, я вошел в салон, Шаляпин уже был окружен тесным кольцом пражских журналистов и корреспондентов иностранной печати с блокнотами в руках.

Посреди комнаты в мягком низеньком кресле, по-старчески вытянув ноги, сидел высокий, могучий старик с как бы обветренным лицом и светлыми глазами, белки которых были нездорово красны. Весь облик его говорил о человеке крайне утомленном и очень нездоровом. Так оно в самом деле и было. Вскоре Шаляпин умер.

Принимая журналистов, знаменитый певец говорил шаблонные фразы: о своей радости по поводу посещения «Золотой Праги», о том, как он подумывает оставить сцену и концертную эстраду с тем, чтобы остатки своих дней посвятить обучению молодых талантов, поселившись где-нибудь, где любят и ценят свободное искусство, например «в вашей милой, уютной стране».

Журналисты прилежно записывали шаляпинские слова, а он посматривал вокруг с вялой полуулыбкой, как старый больной лев в клетке зоологического сада привычным равнодушным взглядом осматривает толпящихся у решетки посетителей, терпеливо ожидая конца надоедливой процедуры. Шаляпин говорил о том, что охотно купил бы в Чехии домик и, может быть, даже поселился в нем доживать свои дни.

Когда же корреспонденты разошлись и в комнате осталось несколько русских литераторов и личных знакомых Шаляпина, он немного оживился, непринужденно и вместе с тем как-то коварно улыбнулся и вдруг с подкупающим прямодушием заявил, обращаясь к нам: «Знаете, я действительно хочу купить еще один новый домик, но не здесь, конечно, а там, в тирольских Альпах. Поеду в Австрию, посмотрю. Может, из вас кто-нибудь что знает?» Однако никто из присутствующих не слышал о продаже в тирольских Альпах какого-либо «домика».

Через час я вошел в самый большой пражский концертный зал «Люцерна» на Вацлавской площади, до последнего места заполненный нетерпеливо ожидавшими Шаляпина почитателями. В ложах бенуара — президент республики, глава правительства, министры, послы, депутаты парламента, дипломаты, лучшие писатели страны, актеры — словом, вся та избранная публика, которую Шаляпин всегда собирал на свои концерты во всем мире, в каждой посещавшейся им стране. Помнится, мне, только что видевшему этого полубольного старика, этого угасающего льва, стало страшно. Я испугался, сможет ли великий артист пре-

одолеть придвинувшуюся к нему немощь. К тому же он должен был петь в зале, крайне неблагоприятном в акустическом отношении.

И вот из-за занавеса вышел на эстраду Шаляпин: буря аплодисментов, перешедшая в овацию, все встали. Я же не узнал недавнего нашего хозяина пятого апартамента в отеле «Модра гвезда».

Легкой походкой, как будто еле касаясь пола, высоко закинув голову, прямой, сдержанный, изящный и вместе могучий, вышел Шаляпин и стал у рояля, слегка облокотившись на него. Это не был певец, который держит ноты в руках и собирается показать почтенной публике свои таланты, мощь и красоту своего голоса. Это был чудесный принц из волшебной сказки, пришедший одарить радостью и волнением тысячи людей, затаивших дух и не сводящих с него глаз. Этот волшебник, еще не начав петь, одним выражением лица, неуловимыми, но и неповторимыми движениями уже вводил людей в тему той песни, которая потом раздавалась.

Что бы то ни было: «Два гренадера», когда у людей сжималось горло и выступали слезы, или «Блоха» — без этих двух романсов Шаляпин, кажется, никогда не выступал, или «Эй, ухнем», или «Вдоль по Питерской» — каждая из этих песен становилась событием. Люди начинали неистовствовать. И это в Праге или в чопорном, как будто холодном, Лондоне, где публика обычно и скупее на овации, чем, например, в Вене,— там Шаляпина в прямом смысле слова часто носили на руках.

Ослабел ли голос? Это волновало людей до его выступления. На самом же концерте об этом начисто забывали, забывали именно потому, что находились под обаянием для многих единственной и, может быть, неповторимой в жизни встречи — встречи с гением.

Для русских эмигрантов концерты Шаляпина были особенной радостью. Они уходили с них не только взволнованные,но и потрясенные, некоторые заплаканные и истерзанные.

Это — Шаляпин, великий артист и певец.

А вот в той же Праге другой Шаляпин — человек. Я пользуюсь тут рассказом известного за границей тенора Каренина, долгие годы дружившего с Шаляпиным.

— Пришли мы с Федором Ивановичем,— рассказывал мне Каренин,— в маленький винный погребок в старой Праге. Он ведь не любил парадных ресторанов. Сел за стол, задумался и вдруг, вынув перо, начал рисовать какой-то пражский собор на белой скатерти стола. Хозяйка погребка прошла раз-другой мимо, а потом и говорит мне: «Что это господин здесь рисует, ведь он мне скатерть губит».— Шаляпин встрепенулся: «О чем она спрашивает?» — Что было мне делать? Так и так, говорю, Федор Иванович, хозяйка сердится. «А сколько скатерть стоит?»— Перевел это хозяйке, отвечает: «Десять крон». «Скажи ей, буду уходить, заплачу».— Шаляпин продолжал задумчиво рисовать, но

заволновались другие посетители кабачка. Слышу, кто-то шепчет владелице кабачка, что это знаменитый певец, во всем мире известный, и скатерть потом можно в раму вделать и повесить на стене как редкое украшение и память. Хозяйка опять к нам: «Простите, говорит, я не знала, кто ко мне пришел. Пускай господин Шаляпин рисует, я буду счастлива иметь эту скатерть».— Опять перевел. «Нет,— говорит,— я ей так не дам; пятьдесят крон за скатерть, тогда оставлю, а то домой возьму».— Хозяйка, конечно, согласна, и Шаляпин заказывает на сто крон вина.

Другой случай, уже похуже, свидетелем которого мне пришлось быть самому. Шаляпина чествует в Праге «эмигрантская общественность». Ужин нарочито небольшой, совсем закрытый, только для избранных — человек на сорок-пятьдесят. Зная нелюбовь Шаляпина к большим, изысканным ресторанам, чествование происходит в небольшом винном погребке «Куманово», в тесном и душноватом отдельном зале.

Шаляпин пришел усталый и не в духе. Когда он тяжело опустился в кресле возле председателя Союза русских писателей и журналистов Н. И. Астрова, я увидел, что с другой стороны председателя сидит молодой, очень красивый тогда певец-баритон Мельников, сделавший потом немалую карьеру в Италии и других странах. Мельников, по-видимому, не учел многого, когда обратился к Шаляпину со словами, произнесенными громким, веселым голосом: «Я, Федор Иванович, когда пою «Двух гренадеров», всегда думаю о вас и всегда стараюсь петь, как вы». И вдруг Шаляпин медленно поднял голову и, повернувшись к Мельникову, произнес негромко, казалось бы, но тем его басом, который наверно, был слышен во всех комнатах и чуланчиках погребка, резкое, даже грубое слово. Наступила ужасная тишина.

Я сидел в стороне от главных действующих лиц и никакого отношения к ним не имел, но мне казалось, что я проваливаюсь куда-то вместе со стулом. Наверное, прямо в преисподнюю.

Астров залился краской и минуту в какой-то беспомощности только мигал глазами. Потом все же выдавил из себя слова приветствия, и люди подняли головы, склонившиеся над приборами. Мельников был бледен и молчал.

Но тот же Шаляпин мог быть со своими товарищами по сцене, русскими певцами-эмигрантами и ласково шутлив, хотя не без лукавства при этом.

Опять рассказ Каренина. Он выступает в Софии вместе с Шаляпиным, не помню точно в какой именно опере. Шаляпин перед спектаклем потянул Каренина в ресторан, чтобы «освежиться и отрешиться от всякой мерзости». А когда они начали освежаться, Каренин испугался, что много выпил и не сможет петь.

— Я,— рассказывал Каренин,— отказываюсь: «Не могу больше, Федор Иванович, боюсь». А тот мне: «Пей на мою ответ-

ственность». Я ему говорю: «Но петь-то мне, Федор Иванович!»— «Петь тебе, ответственность моя». И, представьте, слово сдержал!

Идет опера, поет Каренин свою арию, поет Шаляпин. Антракт. Овации переполненного театра. Стоя, перегнувшись из ложи в зал, аплодирует болгарский царь Борис, его министры. Шаляпин и Каренин выходят, раскланиваются; в разгаре оваций Шаляпин тихонько выталкивает вперед Каренина и быстро скрывается за занавесом.

— Я,— вспоминал Каренин,— не знал, что мне сердиться или радоваться? Не помню, как раскланялся, и скорей за занавес вслед за Шаляпиным, а он меня ждет, хохочет и провозглашает: «Говорил же я тебе — на мою ответственность!».

Может быть, я сделал нехорошо, рассказывая о случае в Праге, когда великий артист проявил напрасную и ненужную грубость. Могут сказать: зачем нам знать о его слабостях? Мне трудно с этим согласиться.

К Шаляпину, которого я люблю и почитаю, как редко к кому другому могут быть отнесены великие строки Пушкина: «... и меж детей ничтожных мира быть может всех ничтожней он».

Но Шаляпин был великий «поэт», и его «ничтожество» кончалось сразу же и полностью, как только он призывался к «священной жертве». Ряд его столкновений с окружающими относится как раз к тем минутам, когда он уже приносил свою жертву, а его сотоварищи по сцене были слишком далеки от того, чего он от них хотел.

Шаляпин, как никто иной, умел, когда «божественный глагол» касался его чуткого слуха, тосковать в «забавах мира» и чуждаться «людской молвы»...

Шаляпин и Павлова стояли как бы особняком в смысле их роли, значения и места среди служителей сцены, оказавшихся за границей. Но не будем забывать, что и других видных мастеров искусства было там немало.

Балерины, балетмейстеры — тот же Сергей Лифарь, вписавший свое имя в историю балета Франции, знаменитые петербургские танцовщицы прошлых времен — Ольга Преображенская и Матильда Кшесинская, обе дожившие до девяностолетнего возраста; более молодая Тамара Карсавина — представительница следующего поколения, известная прима-балерина пражского Национального театра Елизавета Никольская и многие, многие другие.

Обильно были представлены драматические артисты. В двадцатых годах некоторые актеры Московского Художественного театра перешли на положение эмигрантов. Станиславский, Качалов, Москвин, Книппер-Чехова и другие, самые первые актеры прославленного театра, не порвали с родиной. Германова, Михаил Чехов, Павлов, Массалитинов, Греч и некоторые другие решили свою судьбу иначе.

Первые актеры Московского Художественного театра, жившие на родине, продолжали до конца своих дней у себя дома большую творческую работу. Окруженные общим признанием и любовью, они много дали своей стране.

Актеры же славного театра, ставшие эмигрантами, несмотря на все усилия, свидетелем которых я был, создать русский театр, несмотря на большое дарование отдельных участников этой группы — достаточно назвать Павлова и Германову, постепенно увядали в борьбе за неосуществимую задачу утвердить на чужой стороне постоянный русский драматический театр. Этого не удалось сделать крупнейшим эмигрантским актерам ни в Праге, ни в Париже, ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне, ни в Берлине.

Михаил Чехов, начавший было работать в Голливуде, после ряда лет напряженной борьбы тоже частично сложил оружие и, как рассказывали, занялся птицеводством на своей ферме в Америке. Актер же этот был дарования исключительного, и слава его, останься он на родине, была бы, конечно, блистательной.

Павлов, другой высокоодаренный актер, выступавший за границей с традиционным репертуаром МХАТа, также не сумел своим выдающимся талантом побороть трясину долгого, мучительного эмигрантского безвременья. Его Фома Фомич Опискин из «Села Степанчикова», Лука из «На дне» и, наконец, Подколесин из «Женитьбы» живо мне памятны.

Павлов гастролировал вместе с другими крупными актерами по разным странам Европы и Америки, имел большой успех, как и его товарищи по сцене, и все же всегда и неуклонно оказывался вновь и вновь не у дела, у разбитого корыта. То же случилось и с его женой, прекрасной актрисой Греч, тонкой и умной женщиной и с другими, широко известными раньше на родине драматическими артистами, в частности с Рощиной-Инсаровой. Невесело было видеть всех этих людей. Нет, дарование их не потускнело — оно оставалось прежним, хотя и не углублялось и не расцветало дальше. И все же из пятилетия в пятилетие уменьшалось число их зрителей, гасла известность, беднел тот антураж, среди которого они привыкли жить.

С этой группой работников русского театра мне пришлось ближе встретиться после освобождения Праги Красной Армией. Они тогда приехали из Парижа, привезли старую программу и советские пьесы. Успех был велик. Устраивались интимные банкеты и частные встречи; помню многих из них у меня на квартире за скромным ужином вскладчину.

На вечерах, которые устраивались по случаю приезда из Парижа русских актеров, участвовали иногда некоторые советские киноактеры и режиссеры, работавшие в то время в Праге. Перед Павловым лично и его сотоварищами открывалась как будто перспектива возвращения на родину и большой там работы. Павлов был совсем уже не молод, но талант его еще цвел в полную силу.

Однако и он, и Греч не воспользовались открывшейся возможностью, замкнулись далее в свою эмигрантскую скорлупу, безрадостно и во всех отношениях тяжело доживая жизнь за рубежом родины.

Некоторые актеры в итоге долгих странствий по свету после второй мировой войны прочно осели в Праге и других городах Чехословакии. Они все еще не расставались с надеждой в новых политических условиях, когда безмерно увеличилось значение русской культуры, создать постоянный русский театр. Но ведь страна говорит на другом языке. Естественно, что для работы постоянного русского драматического театра условий не было.

Мне пришлось на глухой пражской улице посещать иногда одну тесную, плохо убранную, но не лишенную уюта квартирку, в которой одна русская женщина опекала последние годы, месяцы и дни жизни талантливого драматического актера Ю. П. Загребальского. Он угасал очень тяжело, далеко от театра, от публики, от аплодисментов, от горячих взглядов поклонниц. В жизни оставались для него только воспоминания (рассказывал он необыкновенно интересно, даже художественно), да еще все тот же неразлучимый с ним «зеленый змий».

Судьба этого русского актера, конец которого так мне памятен, стала для меня как бы символом тех путей, которые выпали на долю очень многих русских служителей сцены, оказавшихся по собственному желанию или в силу роковой случайности оторванными от источника живой воды — от родины.

Многие из них усиленно работали, немалого достигали, выявляли новые таланты из рядов эмиграции, давали радость, пропагандировали русский театр, сами знакомились и других знакомили с новым советским репертуаром, и все же как незначительно это было по сравнению с тем, что те же люди подарили бы своей стране, живя дома. Не много привел я тут имен, обошел некоторые очень известные, знаменитые. Но я вспоминаю только тех, кого лично знал, кто жив в моем сердце.

Вообще надо сказать, что в эмиграции полностью оправдались слова о том, что там, где собираются трое русских, возникает драматический театр, а четыре русские девушки — уже готовый ансамбль пляски. Так и в Праге долгие годы работала с большим успехом русская драматическая группа, вначале состоявшая только из любителей. Потом в ее работу включились профессиональные актеры. Эта группа сумела ознакомить русских эмигрантов также с советским репертуаром.

С живым, горячим интересом спешили мы на первые советские пьесы, поставленные этой группой. Она ставила «Квадратуру круга» и «Чужого ребенка», пьесы эти завоевали огромный успех и приковали внимание эмигрантов к советскому репертуару. Большой успех имели спектакли «Платон Кречет» и «Чудак».

Одновременно на московских сценах и за рубежом силами эмиграции в Праге, а также в Париже ставились «Дни Турбиных». За границей эту пьесу смотрели бывшие белые офицеры, их жены, подруги и дети. Это была острая встреча и привела она к тому, что каждый спектакль, ставили ли пьесу большие актеры или только любители, сопровождался овациями, многие зрители уходили заплаканными.

Шли также и пьесы, написанные эмигрантами и на эмигрантские темы: «Линия Брунгильды» Алданова, «Событие» Сирина, «Мадам» Берберовой.

Я рассказывал об актерах-эмигрантах, так и не нашедших пути в родную страну, но были и другие, преодолевшие потом отрыв от родины. Они вернулись домой: в Ленинград, Москву, Ташкент и другие города.

Перед грозой

Тему о неизбежной, скорой и страшной войне первым, пожалуй, поставил на общественное обсуждение зарубежных русских людей бывший московский промышленник и военный министр Временного правительства первого состава А. И. Гучков.

— Германия занята одним — готовится к войне, и это делает войну неизбежной,— твердил тихим, скрипучим голосом упрямый старичок в маленьком, душном и грязноватом помещении клуба «Крестьянская Россия» в Праге. В тоне его — при всей скромности, незначительности и даже неприглядности внешнего облика — звучала абсолютная уверенность в своей правоте.

— Для подготовки войны,— говорил Гучков,— и допущен в политической жизни Германии Гитлер. Однако Генеральный штаб все больше становится вершителем судеб страны.

Гучков был твердо уверен, что немецкие генералы используют в своих целях Гитлера, а не он их. В этом он заблуждался. Вообще все «старшее поколение» эмиграции, все ее лидеры, заблуждались на тот же манер. Они не могли представить себе, что бывший ефрейтор в самом деле может стать диктатором Германии. Вера же в силу и предусмотрительность немецких военных заправил была у Гучкова велика. Он был также убежден в огромной, почти непобедимой немецкой мощи. А вот тезис, выставленный им в самом начале гитлеровского периода Германии об абсолютной неизбежности и близости войны, вызвавший тогда удивление и возражение, оказался верным. Гучков только считал при этом, что Германия юнкеров и капитанов промышленности все же до конца останется хозяином положения: когда мавр сделает свое дело во внутренней борьбе партийных сил, подлинные властители страны к решающему моменту освободятся от Гитлера.

Гучков был стар, физически слаб, вскоре он уже окончательно выбыл из строя. Но когда ему в тот памятный вечер начали возражать, говорить о том, что он преувеличивает напряженность положения, Гучков решительно стоял на своем. Он говорил о полном непонимании положения теми, кто убаюкивает себя надеждой на сохранение мира, сказал о недопустимом «провинциализме» таких утверждений.

— Дело не в том, будет война или не будет,— твердо заявил он,— этой дилеммы уже нет! — фактически война уже заняла на политической карте мира свое роковое место. Нет также никаких сомнений в том, что в новом неизбежном мировом конфликте основными и главными противниками будут Советский Союз и Германия.

Этим тезисом и кончался прозорливый анализ Гучкова. На встававший же во весь рост центральный и решающий для антисоветской эмиграции вопрос, с кем она, со своей родиной против внешнего врага, или с этим врагом, который, борясь с Россией, будет бороться и с советской властью, Гучков прямого ответа тогда не давал. «Нельзя эмиграции,— повторял только Гучков,— проспать исторические события, нужно идти в ногу с ними и понимать неизбежность и масштабы предстоящего»...

Гучков умел внушить свои тревоги слушателям; мы расходи́лись глубоко взволнованными. Что же теперь в самом деле будет! Неужели он прав?

Когда вскоре приехал в Прагу Милюков, он, возвращаясь вечером от президента Масарика, был необычно взволнован. «Знаете, что сказал мне Масарик? — услышал я от Милюкова.— Он твердит, что не только небо все больше и больше затягивается грозовыми тучами, но что просвета уже в сущности больше нет». А кончил чехословацкий президент словами, что пришло время ему умирать, что не хотел бы он дожить до катастрофы, которая ждет его страну.

Милюков, выступая в этот приезд в Праге, в центр своего анализа международного положения тоже поставил проблему войны и мира. Он не был так категоричен, как Гучков, но в целом был близок к нему. Тогда же он заявил, что в случае войны эмиграция должна безоговорочно быть на стороне своей родины. Послышались острые возражения. Не помню точно, на этом собрании или на другом, в следующий приезд Милюкова, но часть пражских младороссов, тогда еще не усвоивших патриотических установок своего парижского руководства, готовила большой публичный скандал. Пришлось принять меры: предупредить чехословацкую полицию. В то время тезис о патриотической позиции в случае войны еще нелегко проникал во многие эмигрантские головы. Помню патетический возглас младоросского вожака полковника Чапчикова: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Часть зала ему аплодировала. А Чапчиков сжимал кулаки и наступал...

Так начался и развивался спор, расколовший эмиграцию на глубоко непримиримые части.

Да! Тема возможной войны владела сознанием эмиграции с 1933 года и к началу второго мирового столкновения она уже совершенно ясно формулировала свое отношение к войне, резко разойдясь на три основные группы. Я также — в меру своих сил — принимал активное участие в происходивших тогда горячих спорах. Окончательное расхождение протекало болезненно, сопровождалось долгой борьбой и у многих тяжелыми внутренними колебаниями. Эмигрантская литература была наводнена высказываниями по этому основному вопросу и можно было бы долго рассказывать о длинном ряде взволнованных диспутов в Праге, Париже, Берлине и Нью-Йорке все о том же: быть войне или не быть, и если быть (к этому выводу постепенно приходило большинство), то как же к ней отнестись?

Параллельно с определением отношения к войне уточнялось отношение к установившемуся в Германии строю, к нацизму. Увы! Отравленные семена этого преступного «учения» были заброшены и в эмигрантскую среду. Правда, отвратительная болезнь поразила только какой-то небольшой процент эмиграции, но все же поразила. Сильным было и непонимание опасности гитлеризма; я уже сказал о позиции Гучкова. А вот другой эмигрантский лидер — ни более, ни менее, как Струве. С высоты своей учености и своего, казалось, большого политического и общественного опыта он и на этот раз оказался на редкость неудачным пророком. Струве пространно анализировал в печати положение в Германии, и что же у него получалось: Гинденбург, Шлейхер и Папен — это «фигуры», это люди реальной власти. Гитлера же он считал лишь «фигуркой», которую в серьезный расчет не берут и брать не следует. Как эта безумная «фигурка» расправилась не только со своими прямыми противниками, но и с условными попутчиками, «фигурами», давно всем известно.

Итак, эмигранты разделились тогда на три группы. В одной из них рассуждали примерно так: неприятно, что немцы пойдут на Россию и будут побеждать. Но что же делать?! Это единственный путь освободиться от большевиков. Немцы помогут также установить в России ту власть, которая ей нужна. Потом уже видно будет, как освободиться от немцев. Кто-то должен же платить за разбитые революцией горшки. Население в свое время поддержало большевиков, и теперь ему придется претерпеть крупные неприятности. Крайнюю позицию в этом направлении занял, например, старый казачий генерал — писатель П. Н. Краснов. Я не берусь сказать, для меня это тоже отчасти психологическая загадка, что заставило этого очень опытного и, казалось, неглупого человека взяться за такое — помимо всего прочего — безнадежное дело, как создание в оккупированных районах Дона «частей», которые шли бы с немцами. При этом и создавались-

то они в то время, когда поражение Германии было явно предрешено. Генерал даже сам отправился на Дон, вырядившись в немецкую форму. И это русский военачальник, донской атаман! Не приходится удивляться, что после войны он сложил в Москве голову.

Характерной и трагичной оказалась судьба более молодой эмигрантской организации, в рядах которой не было крупных в прошлом деятелей и видных политических людей вообще — Национально-трудового союза нового поколения, о котором я подробно уже рассказал.

Эти эпигоны старой эмиграции чем дальше, тем крепче держались все за тот же порочный «активизм». Их руководители создали себе к началу войны на редкость фантастическое представление. В реальность его, если не все члены организации, то во всяком случае многие, как это ни странно, прочно уверовали. А между тем по своей нелепости оно носило в самом деле маниакальный характер. Двум силам — Советскому Союзу и третьему рейху — «нацмальчики» противопоставляли свою организацию и считали, что, сотрудничая с немцами и используя их, они сумеют нанести удар советскому строю, а потом — об этом забот было уже меньше — защитить и родину. Эти, тогда уже не слишком молодые люди игнорировали все другие эмигрантские организации, они ни с кем не хотели «терять времени» и «разрабатывали» свой строй фантастических представлений, с которым и готовились выступить на авансцену истории. Я нисколько не искажаю удивительной в своей нереальности позиции этой организации.

Получилось же все совсем, совсем не так. Когда действительно нагрянула война, они выполняли во временно оккупированных частях советской страны роль не только переводчиков, но и разного рода активных помощников страшных гитлеровских военно-политических учреждений и органов. Об этом еще недавно, в начале 1962 года, мне пришлось прочесть брошюру одного из активных в прошлом работников НТС Д. В. Брунста, рассказавшего о совершенных этой организацией преступлениях.

Вожакам НТС остается кстати вспомнить ответ Талейрана на одно возмущенное замечание по важному поводу: — «Ведь это же преступление».— «Нет, это хуже, чем преступление,— возразил Талейран,— это политическая ошибка»... Однако, какими словами тут ни пользоваться, суть дела не меняется.

Более опытные и осторожные противники СССР, руководители большинства воинских организаций бывшей белой армии, старались не слишком себя ангажировать, но все же разделяли основное положение о желательности военного поражения Советского Союза, считая, что это должно привести к падению строя.

Другая часть эмиграции, состоящая из очень разных элементов, была, вероятно, ярче других представлена в предвоенные годы Деникиным, совершенно разошедшимся с воинскими орга-

низациями. Он желал Красной Армии, чтобы, отразив немецкое нашествие, она нанесла поражение германской армии, а затем ликвидировала большевизм.

С этим Деникин и выступал в Париже и Праге. Мне пришлось писать в газету «Последние новости» отчет о его пражском выступлении и попасть из-за этого в порядочный переплет. Я изложил позицию Деникина так, как он ее формулировал, а редактор газеты вычеркнул абзац о двойной задаче, оставив одну: защиты родины.

Деникин был очень рассержен. Он жил тогда временно в Праге в квартирке С. В. Паниной и, позвав меня к себе, обрушился с упреками: «Что же вы из меня милюковца делаете? Я же не то говорил, что вы пишете». Мне пришлось искать объяснения возникшему «недоразумению». Я обещал написать Милюкову; тот внес в газету поправку так, как того хотел Деникин.

При моем скором посещении Парижа я услышал от Милюкова раздраженный отзыв об этом столкновении с Деникиным. Он сказал: «Я хотел вытащить его из трясины, в которой он завяз с этой смешной и бессмысленной двойной задачей». Милюков вообще не был склонен сколько-либо высоко оценивать политические таланты главнокомандующих южной белой армией — как Деникина, так и Корнилова, не говоря уже о Врангеле. Он вспоминал в беседах по этому поводу восточную загадку о том, кто же сильнее — армия ослов, предводимая львом, или армия львов, предводимая ослом? И без уточнения было ясно, что и кого он при этом имел в виду.

В тогдашний мой приезд в Париж я был приглашен также к Деникину. Тот как бы жаловался на Милюкова, предполагая, конечно, что я передам содержание происходящей беседы. Деникин считал, что Милюков требует от него бо́льшего «примиренчества», чем это возможно ему, бывшему главнокомандующему белой армией.

В бедной и тесной квартирке Деникина я увидел на письменном столе браунинг, с которым генерал не расставался ни на час. Этот неслучайный револьвер как бы символизировал отношение Деникина к окружающему миру и событиям.

Близко, но как бы с иного конца к такому же пониманию и отношению к надвигающейся войне приходили и многие люди совсем других эмигрантских кругов. Так были, в частности, настроены многие эсеры. Близок к этой позиции двойной задачи был и Керенский.

Третья группа эмигрантов, представлявшая в предвоенные годы в численном отношении меньшинство эмиграции,—потом соотношение резко изменилось — говорила совсем иначе. Она это делала устами Милюкова, евразийцев и разных других «пореволюционных» группировок, в том числе и бо́льшей части младороссов; словом, она состояла из людей, в других вопросах ничего

общего между собой не имевших. Представители этой третьей группы утверждали, что в случае войны никакой борьбы с советской властью для эмиграции быть не может — эта власть будет защищать родину и никакой двойной задачи желать Красной Армии нельзя.

Я вспомнил сейчас подробнее об этих трех позициях потому, что они в своем развернутом виде до конца обнаружили психологические и политические установки руководителей и их сторонников.

Самым же главным при этом было постепенное, но неуклонное изживание, а потом и крушение специфически эмигрантской политической психологии, которая еще в начале тридцатых годов казалась такой устойчивой. К концу войны этот процесс в основном уже завершился. Кто не знает теперь, что годы войны и великая победа привели к возвращению на родину большого числа эмигрантов, в том числе в прошлом иногда и совсем непримиримых.

Патриотическая позиция значительной части эмиграции — великое для нее счастье. Не будь людей, которые в годы войны бескомпромиссно встали на сторону родины, не жалея своей жизни, пути в Россию были бы для эмигрантов наглухо закрыты. Более того, их не только не пустили бы на родину, но также отвергли бы и соотечественники.

Тем же, кто стоял за союз с нацистами, пришлось во время войны испытать до конца бесславную судьбу предателей родной страны.

... Как мне не вспомнить маленький ресторанчик на красивой пражской Старо-Местской площади, прямо против башни городской ратуши с ее знаменитыми старинными часами.

Сколько любопытствующих иностранцев перебывало у этих часов, поджидая интересную минуту, когда во время их боя выходят двенадцать апостолов. Мне же пришлось увидеть эту историческую площадь с памятником Яну Гусу в тревожные часы, охваченную огнем пожара после обстрела немецкой батареей 7 мая 1945 года.

На этой площади, в старом ресторанчике собирались с 1936 года эмигранты, стремящиеся в случае войны быть на стороне своей родины. И это, несмотря на разницу в отношении к советской власти со стороны отдельных участников встреч. Я целиком принадлежал к сторонникам патриотических установок и, думаю, не пропустил ни одной из этих встреч.

Собирался тогда как бы штаб представителей патриотически настроенных эмигрантов в Праге под председательством одного из самых сложных и, надо сказать, противоречивых людей, которых мне когда-либо пришлось встречать, особенно в общественно-политической среде. Это бывший евразийский лидер П. Н. Савицкий.

Вспоминая об этих собраниях, можно было бы рассказать, как изо дня в день умирала старая эмигрантская непримиримость. Умирала тяжело, в мучениях.

Более сорока лет знаю я Савицкого, видел и слышал его, беседовал с ним при самых разных обстоятельствах, в самых разных, иногда очень сложных условиях, а все же не разгадал до конца всех сомнений его души, ее разноречий.

Так или иначе, но руководитель евразийской группы активно включился в патриотическое движение среди русской эмиграции и в известной мере вел это движение до войны. Он даже пытался вместе с некоторыми другими людьми продолжать работу и после прихода немцев и начала войны. Правда, он находился в трудном, чтобы не сказать двусмысленном в условиях оккупации положении директора существовавшей в Праге многие годы русской гимназии. Положение это вынуждало Савицкого к внешнему сотрудничеству с немцами. А вместе с тем помню один знаменательный вечер в этой гимназии в самом начале второй мировой войны. Гимназический хор, выйдя на эстраду, вдруг с горячим подъемом грянул: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром...» Я был на этом вечере и, как многие другие, был охвачен глубоким волнением. Раздались бешеные аплодисменты. Савицкий сидел в первом ряду и любезно беседовал с представителем немецких властей. Войны с Россией тогда еще не было, но близость и неизбежность ее всеми ощущались. Многие русские в публике громко плакали.

Я часто встречался с Савицким в годы войны. Он неизменно верил в победу Красной Армии и горячо ее желал.

Одним из постоянных участников наших предвоенных совещаний в Праге был также мой старый приятель и сотоварищ по политической работе В. А. Харламов, бывший председатель Большого Донского круга, известный когда-то казачий деятель и член Государственной думы четырех созывов. Состоя в милюковской группе, он также примкнул к части эмиграции, желавшей быть патриотической в случае войны. Однако раздвоение в нем было сильно.Он как бы принуждал себя идти за своим старым лидером. Так это было в предвоенное время. Когда же вспыхнула война, он еще дальше отошел в сторону, приглядываясь к победам Берлина и, может быть, и даже наверное, подсознательно подсчитывая километры, отделяющие его от донских степей.

В Чехословакии жило очень много видных деятелей, а также руководителей казачьих войск старой России, особенно донских, кубанских и терских казаков. По улицам чехословацкой столицы они ходили, конечно, без лампасов и не гарцовали на резвых скакунах. Но они привезли в Западную Европу свои особые навыки, привычки, симпатии.

Политически эти люди жестоко между собой враждовали. Они расходились в очень многом: одни были крайними монархистами,

другие объявляли себя демократами и даже социалистами. Но главное расхождение было в отношении к России как к целому. Среди богатых и зажиточных в прошлом казаков, а таких в эмиграции было особенно много, распространялось представление о том, что будь они подальше от Москвы, посвободнее от нее как русского центра, они обошлись бы без большевизма, а следовательно не должны были бы стать эмигрантами. Некоторые из них, надо прямо сказать, не без лукавого участия иностранцев отрицали даже самую принадлежность казачества, в том числе донского, к русскому народу и извергали на Россию ушаты грязи. Некоторые «поповы», «стариковы», «быкодоровы», «колосовы» и носители других подобных фамилий вдруг, к всеобщему недоумению и изумлению, оказывались совсем не русскими. На многочисленных публичных выступлениях они на чистейшем русском языке, да другого они отродясь и не знали, объясняли, что Дон и Кубань совсем не Россия и что только «большевистское насилие» держит эти области в ее составе.

Впрочем, эти крайние самостийники были среди казачества меньшинством. Когда приблизилась возможность войны, а потом самая война, эти люди заняли крайнюю позицию и некоторые из них далеко пошли по одному пути с врагами своей родины.

Рядовые же донцы и кубанцы, не причастные к политике, люди весьма практичные и цепкие, времени в эмиграции попусту не теряли. Большинство из них вскоре довольно прочно обосновалось за границей. Многие выбрали себе подруг жизни из местных жительниц; жены помогли им сойти с той мели, на которой они оказались вдалеке от своих степей, и выйти в более широкие и перспективные воды.

С приближением же войны эти казаки хотя и не стали на путь сотрудничества с немцами, но и в ряды зарубежных патриотов вступило только меньшинство из них. Об этих людях я еще скажу. Остальные как бы выжидали, куда повернется ход событий. Вот почему и Харламов на совещаниях в ресторанчике Старо-Местской площади стоял на правом фланге. Перед приходом Красной Армии Харламов уехал на запад и кончил жизнь совсем далеко от Дона, где-то на берегах Амазонки, кончил нелепо трагически, попав в одном из городов Бразилии под колеса автомобиля.

Был он типичным «интеллигентом из народа», только казачьего корня. Носил, как писатель Чириков, старомодные, провинциальные галстуки, которые завязывал большой белой бабочкой, был застенчив, хотя вся его жизнь прошла возле политических и общественных трибун.

Если сейчас я вспоминаю душноватую комнату ресторана на Старо-Местской площади и наши беседы, то прежде всего для того, чтобы подчеркнуть при этом неукоснительный путь отступления и отхода от догматов, в которые многие из нас когда-то твердо верили. Это не был легкий процесс, поэтому и оборонче-

ские встречи не всегда проходили гладко. По одному, в обстановке надвигающегося военного конфликта, понимали патриотическую линию эмиграции люди кадетского или эсеровского толка, несколько по другому — евразийцы или позже пришедшие посетители наших встреч, пражские младороссы.

Первые раскаты военной грозы на советских границах подтвердили, что оборонческие встречи русских эмигрантов в Праге и во всех местах их рассеяния были не случайны и в идейном смысле не напрасны. Вместе с тем эти раскаты сразу же определили позиции людей, устранили последние колебания и обозначили среди русских зарубежных людей уже только два лагеря: тех, кто был с родиной, и тех, кто прямо и не прямо был с ее врагами. Я не устану повторять, что эти вторые были, по счастью, всегда в меньшинстве.

Не надо думать, что в одном только маленьком ресторанчике, где сходились два-три десятка человек, были представлены все эмигранты, живущие в Праге и разделяющие патриотические позиции.

Во всей толще эмиграции перед войной шло глубокое брожение. Шла по всей линии, как принято говорить, переоценка ценностей. Она охватывала самые разные круги эмиграции, проникала в наиболее консервативные ее ряды. Этот процесс, сам по себе здоровый и естественный, как и все, что от политических миражей и абстракций ведет к реальной действительности, приобрел бурный характер с наступлением войны.

В предвоенные годы горячие споры шли не только между теми, кто ставил на иностранцев, и патриотами, но и между русскими и разными «самостийниками». Между ними и нами лежала в сущности всегда целая бездна. В первые годы эмиграции при всей своей глубине она иногда прикрывалась общими бытовыми заботами, возникал параллелизм действий. С годами его уже не было или почти не было.

Мне совершенно случайно пришлось узнать за границей сравнительно близко некоторых видных украинских эмигрантов-националистов.

В. Н. Леонтович, украинский писатель, в прошлом помещик, богатый человек, министр земледелия эфемерного гетманского правительства в Киеве. Человек очень мягкий, очень ласковый, очень внимательный к людям. Казалось бы, чего же лучше? От него веяло редким уютом. Он охотно дружил с русскими. Но достаточно было от общей беседы перейти к политической или, не дай бог, поставить национальный вопрос, как сразу же открывалась пропасть. Леонтович ненавидел, как он говорил, «российское великодержавие», его мечтой была и оставалась до смерти «самостийная» Украина. Он считал, что нет такого пути, по которому нельзя было бы идти для утверждения «самостийности» под желто-голубым флагом. По счастью, он не дожил до войны, но

если б это было так, боюсь, что он искал бы опоры своим надеждам в гитлеровских дивизиях, вторгшихся на его родину и принесших ей столько горя.

А вот другой украинский деятель помоложе — А. Я. Шульгин, министр иностранных дел петлюровского правительства. Он отличался серьезной образованностью и немалой личной привлекательностью благодаря удивительной даже среди украинцев, больших мастеров по этой части, личной обходительности, мягкости и лукавой приветливости.

Он жил в Париже, часто бывал в Праге, и мне пришлось много раз встречаться с ним. Трудно было найти другого человека, более готового оказать услугу, подать совет, особенно если это не было связано с какими-либо затруднениями. Однако и он сразу же менял тон, когда речь заходила о судьбах Украины. Он был абсолютным и непримиримым противником ее единства с Россией, и для него еще гораздо больше, чем для Леонтовича, никакие пути не были заказаны. Я помню, как он непримиримо критиковал «сменовеховство» русской эмиграции, критиковал, делая вид, что он не понимает патриотических побуждений русских, а видит только измену антибольшевизму; в своей украинской среде он также не признавал примиренцев.

А его соперник в рядах украинских политиков — Д. И. Дорошенко, тоже бывший министр иностранных дел, но только не петлюровского правительства, а гетманского, умел не меньше Шульгина — а может быть, и побольше — обволакивать людей сладким сиропом ласковых речей. Он и русским умел дать понять, что выступает не против них и даже не против связей с Россией, он только хотел бы прежде всего освободить Украину от большевиков и думает, что сделать это легче, чем освободить всю Россию. Вот почему он и не хотел бы, не считал бы нужным, как он говорил, связывать судьбы украинской эмиграции с судьбами русской.

Как и других «гетманцев»-германофилов Дорошенко ждали потом тяжкие разочарования.

Когда гитлеровцы ворвались на его родину, Дорошенко, приезжая из Берлина, где он жил, в Прагу, говорил близким знакомым: «Что можем мы сообща делать с немцами? Ведь на Украине украинцы могут быть только писарями — тексты диктуют немцы».

Быть же при немцах писарем он не хотел.

Так на примере не только наиболее реакционной части русской эмиграции, но также и этих людей, в конце концов не хуже русских владевших русской речью, особенно отчетливо видно, как глубоко расходились представители антисоветской эмиграции еще в предвоенные годы, в ее канун и в ходе войны.

Тяжела поступь истории; нелегко быть перед ней в ответе.

Минуты роковые

Многие в полном смысле слова исторические минуты до сегодняшнего дня свежи в моей памяти и очень часто, слыша споры о различных явлениях окружающей жизни, я обращаюсь, ища для себя ответа, именно к этому, в конце концов не столь далекому прошлому.

Год 1938, сентябрь. Кризис вокруг судеб Чехословакии достиг высшего напряжения. Уже несколько дней, как мало кто находит в себе силы спокойно заснуть в Праге.

Гитлер требует ключей к сердцу страны: горных и предгорных пограничных районов. Со дня на день, с часу на час ждут нападения нацистской армии. В генеральном штабе Чехословакии, среди ее высшего генералитета — как ползут о том слухи — нет полного единства. К русским эмигрантам проникла весть, что самую решительную позицию о необходимости борьбы во что бы то ни стало и до конца занял русский по происхождению генерал Войцеховский. Его задача — непосредственная оборона подступов к Праге.

Запад явно колеблется и с каждым днем дает все более и более уклончивые и двусмысленные ответы. В этой, до предела насыщенной напряженностью обстановке, когда «шпага» генерала фон Клейста была уже занесена над чешскими пограничными горами, президент Бенеш объявил всеобщую мобилизацию.

Тогда, это я видел собственными глазами, пережил всеми моими нервами, чешский народ проявил огромный патриотизм, решительность, готовность к жертве. И молодые и старые с большим подъемом шли на мобилизационные пункты, а танки и украшенные цветами грузовики, наполненные солдатами, смело и прямо неслись к немецким границам. Чехи решили драться, драться в условиях крайне тяжких, притом без той уверенности в западных союзниках, на которой была основана вся политика тогдашней Чехословацкой республики.

В то время я жил в доме, населенном русскими эмигрантами, и у нас было особенно шумно. Любят русские люди, очень любят переживать драматические минуты сообща, так сказать, скопом. Так было и тогда: в то время как чехи, молчаливо стиснув зубы, спешили разойтись по своим углам, чтобы в одиночку или только в кругу самых близких пережить надвинувшиеся испытания, русские собирались по квартирам группами, хлопали дверьми, взволнованно и страстно обсуждали события.

Напротив меня жил сын писателя Чирикова. Он обучался в Париже, любил Францию, верил тогда в нее и, услышав о мобилизации, бросился к радиоприемнику, позвав меня, чтобы сообща услышать вести из Парижа.

«Наверное, и там мобилизация,— волновался он,— французы знают, что им делать, я в это верю». Он, наконец, поймал Париж

и весь как-то вдруг поник. Нет, оттуда не звучали горделивые и страстные призывы Марсельезы, неустрашимые когда-то французские батальоны не спешили к вокзалам. Приятный, слабый голос умело выводил шантанную песенку о том, что по неизвестной точно, но все же обоснованно предполагаемой причине мадам где-то забыла свои панталоны. Я до сих пор помню выражение растерянности, мало того, горя, стыда и гнева на лице моего приятеля — русского поклонника Франции.

А потом пришел «Мюнхен» и всё, сопровождающее его, что справедливо называется капитуляцией Запада перед Гитлером и что всем хорошо известно.

Порыв чешского народа был разбит его тогдашней правящей верхушкой. Новая страшная «Белая гора» (поражение чехов под Прагой в 1620 году), но уже без боя. Мне пришлось провести в кафе пражского отеля «Сплендид» часы, когда чехословацкий президент объявил народу о решенной капитуляции, утешив его тем, вернее пытаясь утешить тем, что у него, Бенеша, есть свой собственный план действий. Люди вокруг меня были мрачны, молчаливы. Они понимали, что открывается новая страница в истории их родины, страница очень горькая.

Сентябрьские события 1938 года с большой силой отразились на настроенности чешского народа. В некоторых кругах они создали настроение надломленности. Здесь верх постепенно брали элементы, традиционно знакомые с немецкой указкой; в этой среде особенно боялись «большевистской опасности», поэтому некоторые не без скрытого удовлетворения расценивали ход событий. Так, всего на несколько месяцев утвердилась так называемая «вторая республика», осклабившаяся в тревожной и полуугодливой улыбке в сторону Берлина.

Спору нет, сентябрьские дни сохранили чешскому народу много жизней, много зданий, много материальных ценностей. Но они же влили во многие души страшный яд капитулянтства.

Вместе с тем эти трагические дни были как бы экзаменом на патриотическую зрелость чешского народа, и этот экзамен был выдержан с отличием. За последовавшую катастрофу народные массы ответственности не несут.

Сопротивление же бессовестному и наглому врагу ширилось чем дальше, тем больше в среде смелых чешских патриотов; большая роль принадлежала при этом чехословацкой компартии, ее жертвы всем известны.

По-разному выглядели и вели себя жители Праги. Были откровенные капитулянты, привычным, услужливым жестом приветствовавшие представителей «херренфолька», были сжавшие зубы и в мрачной тоске ждавшие исхода событий обыватели, много было и непримиримых борцов, сложивших вскоре головы под ножом гитлеровских палачей.

События нарастали со дня на день. Как-то я получил из редакции «Последних новостей» указание о необходимости поездки в пограничные районы, чтобы ближе ознакомиться с настроениями судетских немцев и написать об этом в газету. Я решил поехать прежде всего в близко мне знакомый курорт Мариенбад, вблизи которого происходило драматическое совещание лорда Рэнсимена с нацистскими главарями.

Я знал Мариенбад очень хорошо, часто там лечился или отдыхал, разгуливая по окрестным паркам, лесам и лужайкам этого очаровательного уголка, одного из самых прекрасных, какие я видел в жизни. Кстати, года полтора назад об этих местах в Марианске-Лазнях в советской прессе напечатала прекрасный очерк Мариэтта Шагинян, очень ярко передав красоту и уют этого изумительного местечка.

Приехав в Мариенбад, я сразу же отправился в большой немецкий ресторан (они тогда там все были немецкие), расположившийся на опушке горного леса с прекрасным видом на много километров; столики были расставлены среди вековых деревьев, и не успел я немного передохнуть, как сразу же, с точностью тогдашнего немецкого обслуживания, ко мне подошел старший официант. Приняв заказ и почувствовав в моем немецком языке иностранный акцент, он спросил меня, чех ли я, и, получив отрицательный ответ, разразился целым потоком бранных слов по адресу чехов. Он говорил об ужасном терроре, под которым изнывают бедные судетские немцы, о несправедливостях и чуть ли не жестокостях, которые творят чехи над немцами. Я хорошо знал, что если и был террор, то вовсе не чехов над немцами, а судетских немцев над несчастными немногими чехами в государственных учреждениях Мариенбада.

На почте служившие там чешские девушки уже не решались говорить с посетителями на своем родном языке. А это был первый государственный язык страны. Немцы вели себя предельно вызывающе. На главной улице Мариенбада красовался огромный портрет Гитлера. Только фюрер не был похож на себя. Вместо грубого и страшного лица этого фанатика на посетителей Мариенбада смотрели черты, удивительно облагороженные искусным художником: это был северный вождь, мужественный, сдержанный и бесстрашный. Вместо ужасных, по многим свидетельствам, сумасшедших глаз фюрера, смотрели спокойные, уверенные, правда, жесткие голубые глаза рейхсканцлера, у ног которого лежали прекрасно выписанные две борзые собаки.

Я вспомнил этот портрет, дерзкое поведение немцев в поездах, на вокзалах, в гостиницах и здесь в ресторане под чудесной волшебной елью. «Вы говорите террор,— сказал я обер-кельнеру,— но позвольте, это нешуточное слово! Вы же не знаете, кто я такой, а смело говорите мне о чешском терроре и несуществующих чеш-

ских насилиях над вами. А может быть, я как раз прислан чешской полицией?»

Обер-кельнер с недоумением на меня посмотрел, но совсем не испугался, да я и знал, что он не испугается, и не собирался его пугать. Я только хотел немного справедливости, хотел некоторые вещи хотя бы отчасти поставить на свои места. Он вздернул плечом и, сухо поклонившись, ушел, правда, сразу же подав мне заказанное блюдо.

Кстати, в это мое посещение курорта произошла занятная и в каком-то отношении как бы символическая встреча.

С давних пор курорт Марианске-Лазне славится своей русской православной церковью; ее инкрустированный иконостас получил в 1899 году мировую известность после присуждения ему золотой медали на всемирной выставке в Ницце. Вся эта небольшая, очень нарядная и радостная церковка удивительно красива и изящна. Всегда в ней толпились туристы, толпятся они и сейчас.

Пошел я в церковку в день приезда. Богослужение закончилось, и я собирался уже выйти, как увидел очень ладного, аккуратно, вернее, тщательно одетого в черное старого человека, одного из тех, о ком говорят «сама корректность». Он очень прилежно молился. «Военный,— подумал я,— а вот на русского, несмотря на православные кресты, которыми он себя осеняет, не похож».

Выйдя, я сел на скамье перед церковью, и вскоре ко мне подсел этот старичок, оказавшийся русским. Свое имя он пробурчал почему-то невнятно. Потом дал понять, что он бывший генерал, теперь эмигрант и получает по каким-то родственным связям (как видно аристократическим) денежную помощь из Австрии. Он богомолен, скромен, педантичен и, как я понял из беседы, всецело под башмаком у жены. Генерал прямо признался, что все их жизненные проблемы решает она. О, он только боится ей не угодить, своей старушке.

Узнав, что я сотрудничаю в милюковской газете, генерал как-то горестно и кисло усмехнулся, но тут же любезно добавил, что повсюду есть «хорошие люди». Он настойчиво отклонил в нашей беседе тему о международной обстановке,что тогда меня особенно интересовало, но все же заметил: «В вашей газете пишут против немцев, но не забывайте, среди них тоже есть хорошие люди и потом... они против большевиков. Может быть, это единственная сила», — кончил он с какой-то печалью в голосе.

Человек этот меня заинтересовал, что-то было в нем не совсем обычное, и вечером я спросил о генерале у русских, живущих постоянно на курорте. «Да это же фон Риман! Как вы его не знаете... кровавый Риман, как его называли когда-то в России, усмиритель революции 1905 года в Прибалтике». Мне объяснили, что генерал в загоне у жены в такой мере, что когда они приходят

в гости, она заявляет: «Вот и я пришла». Генерал же при ней только какое-то полуодушевленное дополнение.

Я недаром почувствовал, что мой случайный у церкви собеседник «не просто так»,.. что-то в нем запомнилось крепко. Вот только трудно все-таки было предположить, что человек этот, как говорится, не моргнув глазом, проливал кровь, много крови. Впрочем, он, вероятно, считал, что всего лишь выполняет приказ; все тот же изуверский приказ — патронов не жалеть. А Риман хотел быть точным и исполнительным и патронов, как известно, совсем, совсем не жалел...

Встреча эта была символичной, она произошла в дни, когда власть над большей частью Европы переходила к тем, кто действительно никаких патронов совсем не жалел, далеко затмив маленького «наивного» Римана.

Таким остался в моей памяти тогдашний Мариенбад с распоясавшимися сторонниками Генлейна, лидера судетских немцев, с терроризированным чешским меньшинством, которому пражские власти предписывали осторожность, осторожность и осторожность. Особенно осторожной предписано было быть чешской полиции, которой запретили применять оружие даже при серьезной провокации.

Как снежный ком вырастали новые требования немцев, новые искусственные осложнения. Не замедлили и неизбежные последствия основной капитуляции в сентябре 1938 года. Через полгода— 15 марта 1939 года — германские солдаты, ни разу не разрядив ружей, появились на проспектах и площадях Праги, а с балкона пражского Кремля — Града Гитлер произнес жителям создаваемого «протектората» свою безвкусную хвастливую речь. Вот тогда-то, в эти роковые дни, а также и в последовавшие, капитуляция и дала свои ядовитые всходы.

Впрочем, лично мне было в то время вовсе не до исторических или социологических размышлений. Я был очень озабочен тем, чтобы поскорее убраться из Праги. Очень уж мне не хотелось оставаться под немецким сапогом, да и был я долгие годы сотрудником газеты «Последние новости», органа, хотя и буржуазного и эмигрантского, но все же занимавшего ясную антигитлеровскую позицию. Словом, нужно было уносить ноги, и я был к этому подготовлен.

В моем бумажнике уже давно лежало извещение о визе для меня, жены и дочери на выезд во Францию. Оставалось, не теряя ни минуты, обратиться во французское консульство. Я сделал бы это раньше, но Милюков, который сообщал мне о высылке виз, писал, что я не должен забывать, что Европу охватил, как он выразился, «изрядный сквозняк» и что совершенно неизвестна будущность моя во Франции, как и всех их, живущих в Париже русских эмигрантов. «Не знаю,— писал он,—не выдует ли и нас отсюда. Посчитайтесь с этими моими словами».

Я действительно с ними полностью посчитался, и хотя атмосфера так называемой «второй республики» совсем мне не нравилась, но я сидел в ней до последней минуты.

Я отправился в консульство рано утром 15 марта. По улицам города в строгом порядке уже продвигались тогда, не торопясь и совершенно молча, отряды армии Гитлера. Их провожали косые, испуганные, настороженные взгляды пражан, а из труб ряда государственных зданий валил густой дым. Там, да и не только там, а также во многих и многих тысячах частных квартир жгли всю ночь ставшие нежелательными, даже опасными документы и бумаги.

Тогда и я расстался с моим архивом. Жаль, может быть, поторопился; но я не хотел испытывать судьбу. Имена Милюкова, от которого было очень много писем, Кусковой, Демидова, Волкова, Астрова, товарищей по Республиканско-демократическому объединению в Париже, как и немногие письма Деникина,— все это говорило о среде, которую гитлеровцы справедливо считали враждебной.

Перед французским же консульством, расположенным в самой живописной и поэтической части Праги, на исторической Малой Стране, я увидел уже целую очередь. Пришли люди, которые хотели или должны были уехать в тот же самый день, не слишком испытывая судьбу.

А в консульстве, хотя и не пели легкомысленных песенок, но с делом тоже не очень торопились. Очередь, среди которой было много германских эмигрантов, в частности евреев, для которых задержка была крайне опасна, нервничала, волновалась. Лица были покрыты красными пятнами от трудно сдерживаемого беспокойства. Помню, один стоявший в хвосте еврей из Берлина громко возмущался французским непорядком. «Успокойтесь,— внушительно сказал ему стоявший рядом седовласый интеллигент,— радуйтесь французскому непорядку, через час или два вы уже почувствуете немецкий порядок». Мы все так и притихли. Я часто потом вспоминал эту реплику.

А со мной тогда случилось нечто действительно весьма неприятное. Служащий консульства поставил на мой паспорт визы с датой 15 марта 1939 года, консул же не подписал этих виз, так как наши нансеновские паспорта не были продлены на соответствующий срок. «Бегите скорее в чешскую полицию, продлите паспорт и обратно к нам, вы еще успеете сегодня уехать, ведь поезд уходит в 11 часов».

Я побежал через Карлов мост, но напрасно торопился. У входа в здание полиции спокойным, мерным шагом уже прогуливался рослый эсэсовец, у дверей стояло двое других. Я понял, что безнадежно опоздал, паспорта с французскими визами жгли мой карман.

Уж слишком было ясно: один из тех, кто не успел улизнуть! Но немцы на первых порах разыгрывали из себя в Праге «добрых

дядей», и мне все же удалось потом пробраться в ту же чешскую полицию и обратиться к одному знакомому служащему, прося помочь. Он это сделал и очень смело. Увидев паспорта с проклятыми визами и сокрушенно покачав головой, шепнул: «Дайте их сюда и уходите поскорей, тут сидят немцы, приходите попозже, что-нибудь придумаем». Когда я к нему вернулся, мой благодетель сунул мне в руку новенькие книжечки, на которых уже не было предательских виз.

Так началась наша жизнь под немцами. Об этих годах, прожитых в оккупированной Чехословакии, нужно будет еще вспомнить. А сейчас прежде всего об одном дне, крепко мне памятном.

Вероятно, для всех русских людей моего поколения и смежных восходящих и нисходящих поколений незабываемым до конца жизни останется день 22 июня 1941 года. Как же эту, в полном смысле слова историческую дату пережили мы, русские эмигранты, в Праге, как пережили нападение гитлеровской Германии на нашу родину? Тут нужно не только рассказывать, но и ответ держать.

Уже за несколько дней до роковой даты поползли и непрерывно ширились темные, страшные слухи. Мы знали, что из Югославии через Прагу спешат германские эшелоны на восток, на вагонах крупные надписи, сделанные мелом: «Наш путь на Восток». Об этой многозначительной страшной надписи шепотком рассказывали друг другу чехословацкие железнодорожные служащие, и весть о ней с удивительной быстротой распространилась по затихшему городу. Все люди, способные хотя бы немного разбираться в событиях, понимали, что близится новый, решающий этап мировой трагедии.

И когда 22 июня рано утром меня разбудила жена, вбежавшая в мою комнату вся в слезах с возгласом: «Немцы напали на Россию», я не был поражен неожиданностью.

Окружающие меня эмигранты переживали это сообщение с большим волнением. Я не ошибусь и не буду лгать, утверждая, что большинство их тогда прежде всего было глубоко встревожено судьбой родины и теми испытаниями, которые ее ждали. Но в первые же часы войны гитлеровского рейха с Советским Союзом я услышал и иные нотки. Потом они одно время стали заметно крепнуть. Увидел я и раздвоенных людей: уж очень сильна была у них надежда, что советская власть не выдержит испытания. В тот же день, 22 июня, один русский инженер, человек весьма практичный и далекий от личного идеализма, вдруг сказал мне: «А ведь стыдно, Дмитрий Иванович, очень стыдно, что будем мы тут под немцами жить, когда наше место на русском фронте, где сейчас защищают нашу родину другие люди».

В обеденные часы этого незабываемого дня я побывал в квартире моих друзей, принадлежащих к совсем другой среде, чем окружающая меня,— к австрийско-еврейскому обществу. Там нена-

видели Гитлера и верили, что он сломит себе шею на войне с Россией.

Когда после обеда, взволнованный всеми известиями, я прилег отдохнуть, в мою комнату опять вошла жена со словами: «Вставай, к тебе немцы пришли». И тут же я был окружен тремя молодыми людьми — двое в форме СС, один в штатском. Мне довольно любезно было сказано: «Не бойтесь, это гестапо». Нельзя сказать, чтобы эти слова меня хотя бы сколько-нибудь успокоили, но рассуждать было некогда.

Меня отвезли в главное здание гестапо в центр города. Молодые люди были вежливы, даже любезны до того момента, как за мной закрылась большая железная дверь бывшего банка, в здании которого расположилась германская политическая полиция. А как только эта дверь захлопнулась, сопровождавших меня эсэсовцев уже нельзя было узнать: один из них выбил у меня изо рта папиросу, другой сбил с головы шляпу, а третий дал пинка с диким воплем: «Беги».

Я тогда еще не знал, что в гитлеровских тюрьмах заключенным полагается только бегать, а не ходить. Потом пришли часы стояния носом к стенке: кончик носа должен прикасаться к стене, но только чуть-чуть, чтобы не страдала краска; арийцы стояли на двух ногах, евреи — на одной. Люди не знали на первых порах всех этих правил, путали, и их за это свирепо били. Не буду здесь рассказывать о всей системе издевательства, которой дышали стены нацистского застенка. Да и видел я лишь ничтожную часть того, что там происходило.

Скажу только, что это в самом деле была целая система, смысл которой заключался в продуманном желании унизить достоинство человека и максимально его запугать. Никогда не забуду одного старого еврея, удивительно мужественного человека, оказавшегося со мной в одной камере. После града обрушившихся на нас оскорблений он негромко, но внятно на родном ему немецком языке сказал: «Только, пожалуйста, не волнуйтесь, не считайте их людьми, помните, такие не могут вас обидеть».

Это было произнесено с большой силой, и эти слова я часто заставлял себя вспоминать в месяцы моего пребывания в тюрьме. Когда несколькими днями позже мы в той же камере услышали вопли избиваемой в коридоре молодой еврейской женщины, он также с железной уверенностью в голосе зашептал: «Ничего, даже если он сейчас ее убьет. Его все равно найдут, где бы он ни прятался, расправа с ним будет произведена по полному счету». Он говорил об известном мучителе в пражской гитлеровской тюрьме, носившем прозвище «Тарзан». Не знаю, действительно ли с ним рассчитались после войны или он получает в Западной Германии кругленькую пенсию.

В нашей камере благодаря присутствию эмигрантов из Германии преобладала немецкая речь. Достаточно было этого маленького

уголка, чтобы понять все безумие гитлеровской политики. Нацисты с необыкновенным упорством множили число своих врагов.

Русские, арестованные в Праге в первый день войны с Германией, были задержаны в предупредительном порядке, с расчетом припугнуть эмиграцию и заставить ее сидеть смирно.

В первый же день заключенным нашей камеры — все мы были «новенькие» — пришлось ползать по бесконечным коридорам тюрьмы на локтях и пальцах ног. Почему? Оказывается, мы плохо сложили одеяла. Я полз первым, как старший по камере. Тех, кто помогал себе коленями, били тяжелыми тюремными ключами. Били и за то, что старший по камере, рапортуя о ее составе, не мог заставить себя произнести оскорбительные о евреях слова. Били и за неумелые гимнастические упражнения, за медлительность приседаний, а главное для острастки и унижения. Но нас, русских, не допрашивали и месяца через три выпустили. Тогда к поведению эмигрантов органы гестапо уже пригляделись.

Я был выпущен с запретом заниматься политической и журналистской деятельностью, состоять в эмигрантских организациях и т. д.

Мне не пришлось пережить и малой доли того, что пережили сотни тысяч людей, оказавшихся в лапах гитлеровцев, но я вышел из тюрьмы все же сильно помятым. Вышел, однако, с полной уверенностью в том, что люди, заведшие одновременно столь бесчеловечные и столь бессмысленные порядки, никогда не смогут стать победителями в происходящей мировой схватке.

И я был глубоко опечален и расстроен, когда, выйдя из тюрьмы, узнал, что немцы услышали от некоторых эмигрантов в Праге ряд верноподданнических заявлений и что некоторые зарубежные русские, а также целые организации, как, например, Национально-трудовой союз нового поколения (я сейчас сознательно обхожу молчанием организацию русских нацистов, потому что состояла она исключительно из подонков, никогда не игравших в эмиграции какой-либо роли), выразили готовность работать в оккупированных частях Советского Союза.

Это было очень больно слышать, и это было непонятно. Ведь казалось ясным, что, помимо живого патриотического чувства, помимо всего другого, каждый человек, способный сколько-нибудь смотреть вперед, не может не понять, что раз немцы споткнулись у стен Москвы и Ленинграда, судьба их предрешена. Спор мог идти только о времени, о числе жертв и ни о чем другом. Часто вспоминал я тогда одно место из книги известного немецкого философа правого толка Освальда Шпенглера, написавшего в двадцатых годах широко нашумевшую книгу «Закат Европы», а перед приходом Гитлера к власти — брошюру с трагическим названием «Европа перед крахом».

Немецкий ученый, кабинетный человек, никогда не видевший полей сражений, написал, что для Германии война с Россией была бы безумием, ибо фронт Ленинград — Москва — средняя Волга (какое точное предвидение) — только начало большой войны с Россией. А между тем, предупреждал своих сограждан Шпенглер, на этом протяженном фронте затеряется не только германская армия, но и любая комбинация европейских армий.

Теперешние поколения немецкого народа, которые строят послевоенную Германию, должны были бы на память выучить предупреждение старого профессора.

Впрочем, в настоящее время, как известно, имеются два германских государства. Одно из них чуждо реваншизму. Это Германская Демократическая Республика, идущая по новой дороге. Это дорога — общая для стран, ставших на социалистический путь.

А сейчас хочу вернуться к так называемому «протекторату».

Борьба с оккупантами не прекращалась ни на один день, ни на один час. Последовал драматический эпизод убийства чешскими патриотами рейхспротектора Гейдриха и беспощадный террор немецких властей. Сложная закулисная сторона убийства Гейдриха могла бы послужить темой исторического романа.

Однако сейчас важно другое. Это был рубеж, когда внешне относительно спокойные условия сменились конвульсиями насилия, с одной стороны, и упорным, возрастающим сопротивлением — с другой. В этой атмосфере, неуклонно сгущавшейся, и жила потом Чехословакия вплоть до самого освобождения ее Красной Армией в мае 1945 года.

День же убийства Гейдриха памятен многим чехам. Тогда, особенно в последующие две-три ночи, очень многие не досчитались своих близких. А у меня уж такая своя судьба: во все тревожные и опасные дни, в силу какого-то рока, всегда попадаю в неподходящие места.

Так, в день убийства Гейдриха, выйдя из дому без паспорта, что тогда запрещалось, я провел целый день в квартире моей большой приятельницы, еврейки, что угрожало крупными неприятностями. Так я оказался под вечер далеко от дома, ничего не зная о драматических событиях утренних часов. Пришлось мне еще раз в жизни испытать быстроту моих ног и бежать сломя голову, чтобы добраться к себе до полицейского часа, когда приказано было эсэсовцам стрелять по всем людям на улице. В подъезде дома стояли моя жена и дочь, считая минуты, оставшиеся до запретного мига.

Я вбежал в дверь, а по улице уже хлопали выстрелы гитлеровских опричников, вышедших на охоту по двуногой дичи. Я боялся, впрочем, не столько случайной пули, сколько ареста и увоза в концлагерь.

Наша пражская жизнь, становясь с того памятного дня из месяца в месяц все более суровой, продолжала катиться дальше.

При этом можно было видеть, как медленно, но неуклонно стали подниматься склоненные головы, подниматься осторожно и осмотрительно, но подниматься!..

В Праге все начинали тогда понимать, что немецкая армия разобьется о мужество советского народа, о силу его армии. Тогда уже понимали, что именно на русских полях ляжет нацистская орда. После Сталинградской битвы люди, способные нормально рассуждать, верить в победу Германии уже не могли. Многие же поняли это значительно раньше.

А жизнь плела свои узоры, сложные, противоречивые, казалось бы, в конечном же счете всегда внутренне логичные и обоснованные.

Личная моя судьба сложилась так, что, кроме моей семьи, очень мной любимой, был еще один очаг, в котором я долгие годы бывал почти ежедневно. Там жил большой мой друг. Это как раз тот дом, из которого я вышел в памятный день убийства Гейдриха.

У этого моего старого друга была своя тяжелая забота. Моя приятельница родилась и выросла в патриархальной зажиточной еврейской семье, в пограничном силезском городке Тешине, из-за которого после первой мировой войны систематически портились отношения между Чехословакией и Польшей. Юной девушкой, уйдя от веры отцов и приняв католичество, она вышла замуж за бравого майора императорской австрийской армии, полк которого квартировал в Тешине.

Брак оказался не безоблачным: молодая жена была горяча и требовательна к жизни. Пережила другую большую любовь. Майор — пражский немец по происхождению — любил жену до глубокой старости, не отказывая себе, впрочем, во многих радостях жизни.

Когда мы познакомились, уже не существовало ни императорской армии, ни самой Австро-Венгрии; однако бывший майор, теперь уже полковник, сумел переключиться на журналистику, а его жена читала бесчисленные книги на разных языках, кроме русского, ходила по театрам, любила жить на виду и гордилась обожаемой дочерью, а потом внуком.

И вот в Прагу пришли гитлеровцы. Моя приятельница, о еврейском происхождении которой я тогда не знал, стала болезненно нервной, придирчивой и несправедливой ко всем, подозрительной. Она обвиняла мужа в тайном пристрастии к гитлеризму, что было совершенной неправдой. Меня, не знавшего основного источника ее страданий, обвиняла в безразличии, равнодушии.

Между тем, расистские законы начали проводиться в жизнь, немцы любили последовательность. Фрау Нелли мучилась, втайне плакала и как-то сказала мне, что не хочет больше со мной гулять, а мы много ходили по городу, и вообще не хочет меня

видеть. Я знал, что это не так, что ей трудно, когда мы не видимся два-три дня. И вот звонит мне по телефону ее дочь и заявляет, что ей необходимо поговорить со мной наедине. Недоумевая, я тотчас же отправился на свидание. Она мне сказала, что ее мать очень мучится: она скрыла от меня, столь близкого человека, свое еврейское происхождение. В старой офицерской среде ее мужа об этом не любили говорить. Что ей тяжело ее умалчивание не меньше, чем нюрнбергские законы. Я был очень обижен. Недоумевал, неужели моя долголетняя приятельница, с которой мы провели бесконечные часы вместе, которой я прочел на немецком языке, держа перед собой русский текст, сотни, а вернее тысячи страниц, написанных русскими классиками, могла во мне усомниться!

Но нужно было не искать объяснений, а утешать, бороться, быть начеку. В тот памятный мне день желтая звезда была прикреплена к пальто моего друга.

Через фрау Нелли я познакомился с рядом еврейских пражских семей, считавших себя немецкими. Это были тяжелые, трагические, последние дни их прежней жизни. Для большинства этих людей это были вообще последние дни. Вышло так, что, не будучи евреем, я пережил трагедию пражского еврейства.

Помню веселого, прямодушного, очень богатого, по моим масштабам, несметно богатого, директора угольного предприятия. Он был когда-то австрийским офицером, был ранен в первую мировую войну, его родным языком и единственным ему хорошо известным был немецкий. Его сотоварищи по угольной аристократии — германские директоры, они же важные советники и бароны — заверяли его, что с ним лично ничего случиться не может. Его, еврея, не дадут в руки «улицы». Нужно только немного переждать, и гитлеровцы будут призваны к порядку.

Мой знакомец внутренне метался: с кем он? Против кого? Это было по-настоящему драматично. Помню, я встретился с ним как-то вечером и сразу между нами разгорелся тяжелый спор. Директор с блеском в глазах начал мне говорить об успехах фельдмаршала Манштейна на восточном фронте. Я увидел, что гром боя на советских просторах возбуждает его, что успехи немецкой армии захватывают его помимо воли. Увидел, что ему мерещатся дальнейшие победы, а может быть, и неисчерпаемые природные богатства России.

Я ему сказал, что я русский, что в моей душе нет раздвоения, что слушать его не хочу. Прямо напомнил ему, кто он и что его ждет. Он весь вдруг обмяк, внутренне поник, затих... а потом все повторял: «Да, да, вы правы, нужно бежать. Но, вы знаете, у нас с женой плохие отношения и большое общее имущество. Как во всем этом сумасшедшем доме разобраться? Разделить имущество? Может быть, подождать еще немного?..»

И что же? И этот человек, и его жена, и его любимая дочь, и все их близкие погибли в страшных печах лагерей.

Прозвучал первый звонок и для моего друга. Эсэсовские офицеры явились к ее мужу, попросили фрау Нелли и дочь выйти из комнаты и, прикрыв дверь и взяв под козырек, обратились к старому полковнику. Так, мол, и так.... Законы он знает. У него жена еврейка, это очень неудобно. Не сочтет ли он возможным согласиться на развод? Это будет сделано в один час, без всяких хлопот и шагов с его стороны. Только тут, в квартире, нужно сейчас подписать маленькую бумажку — заявление... больше ничего.

Дочь и жена подслушивали у дверей.

— Как! — громко закричал старик,— вы меня, офицера, уговариваете бросить женщину, мою жену, мать моей дочери, в опасности? Как можете вы это мне предлагать?! Если бы я это сделал, мне осталось бы одно: пустить себе пулю в лоб из того револьвера, который я еще ношу. Знаете, господа офицеры, мои товарищи по полку и его командир не любили евреев, но если бы я это сделал, они не подали бы мне руки.

Эсэсовцы были несколько смущены. Как-никак, перед ними стоял старый солдат «германских кровей». Откозыряли и ушли.

И все же через несколько месяцев пришла уже прямо моей приятельнице повестка. Лагерь...

Вечером я застал в квартире страшное волнение. Что же делать? А война идет к концу. Это было в середине марта 1945 года. Спрятать? Но куда? Моя жена предложила — у нас. Но это на день-два, и то с огромным риском. Квартира у нас маленькая, всегда топчется народ. Да и поиски могли начать именно с моего дома.

И вот меня осенило. Поехал я к знакомой молодой женщине — врачу, носящей, кстати, по мужу историческое русское княжеское имя. Вот, говорю, какое положение. Нужно спасать! Я знал, что эта женщина сотрудничает с немцами по медицинской линии, что она у них на хорошем счету, как полусвоя. Поэтому я ее и выбрал. Не знаю, поступила бы она так, если бы это было тремя годами раньше, когда гитлеровские дивизии шли вперед? Может быть, и поступила, не хочу читать в душах... Но тут она твердо, решительно и спокойно посмотрела мне прямо в глаза, а потом тихо ответила: «Я приеду вечером в такси, попозже. Последите, чтобы дверь была отперта».

В Праге входная дверь в дом запирается в 9 часов вечера. Я провел гостью к моим друзьям, она сделала моему другу нужную инъекцию, вызвавшую лихорадочное состояние, пригласила нацистского врача, и так продержали мою приятельницу больной, с температурой, до того дня, когда оккупантам некогда было уже думать еще об одной бессмысленной расправе.

Сложные сплетения создавало то страшное время.

Встреча и проводы

Немало волнующих дней пережил я в Праге за сорок лет изгнания. Но ни один из них не был равен по счастливой взволнованности, по огромной волне подъема майским дням 1945 года.

Пражское восстание охватило город, когда нацистская сила была уже на исходе, когда немного дней оставалось до освобождения чехословацкой столицы Красной Армией. Праге не пришлось пережить варшавской трагедии, но напряжение все же было велико. Люди, гуляющие сейчас в воскресные дни по тенистым улицам, по паркам и площадям города, чуть ли не на каждом углу видят доску с именем погибшего повстанца.

В дни восстания, начавшегося 5 мая, среди русских пражан зародилась одна идея. Она заключалась в том, чтобы эмигранты, не имеющие гражданства, на переходное время позаботились получить от Международного Красного Креста, развернувшего тогда в Праге свою работу, документы, подкрепляющие их виды на жительство.

Идея эта была совсем неудачна. Ни у новых чехословацких, ни у советских властей Международный Красный Крест того времени особенным авторитетом не пользовался. Но человек, как известно, задним умом крепок, и работой в этом Красном Кресте занялся также и я. Во время восстания мне пришлось пробираться почти через всю Прагу в Красный Крест, расположившийся в очень поэтичном уголке города, прямо под пражским Градом-Кремлем.

Кого только из русских эмигрантов не пришлось мне тогда повидать в приемных комнатах Красного Креста! Однажды появилась супружеская чета — актеры, прося поскорее переправить их на Запад ввиду приближения советских войск. Я им ответил, что с приходом Красной Армии исполнится наше горячее желание и что отправкой на Запад мы отнюдь не занимаемся. Так оно, разумеется, и было.

А через несколько лет я пил у этих супругов вкусный чай с вареньем в прекрасном русском городе. Они за это время стали советскими гражданами, успели вернуться на родину и сами любили подсмеиваться над собой и своими страхами, вспоминая майские дни 1945 года.

Помню и совсем иную картину. Появился вдруг в Красном Кресте заместитель начальника так называемого Опорного пункта — квазирусской организации, созданной немцами и ведавшей русскими, живущими в Чехословакии; эта организация работала в годы оккупации под непосредственным руководством немецких властей. В. Балдин, о котором я сейчас говорю, прибежал в полной панике и предложил принять документы его учреждения. Спрашивал, что же делать ему лично.

Мне пришлось вести с ним тяжелый разговор и сказать, что вряд ли Красный Крест захочет принять архивы Опорного пункта. О том же, что делать ему лично, я никаких советов дать не могу. Я знал, что этот человек был где-то в оккупированных районах Советского Союза не то следователем, не то каким-то другим чиновником у нацистов. Теперь пришло время ответа.

Последние две ночи перед вступлением в Прагу советских танков я совершенно случайно провел в квартире одной знатной чешской дамы, графини Черниной, открывшей комнаты своей квартиры для всех нуждающихся в убежище. Кажется, испуганная графиня рассчитывала таким путем завоевать симпатии при происходящей радикальной перемене исторических декораций. Я же вынужден был воспользоваться ее помощью, так как в самые последние дни восстания пройти домой уже не мог. Квартира эта была в очень старинном доме, на так называемом Дворцовом спуске, возле самого Града и поднимающихся к нему террас. Из окон этой, кстати совсем небогатой, скорее даже скромной квартиры был почти виден огромный Чернинский дворец, ныне, как и в довоенной Чехословакии, занятый министерством иностранных дел. Дворец принадлежал Черниным, когда род этот еще не успел обеднеть и числился среди самых первых в Австро-Венгерской империи.

Утром, подойдя к окну, я увидел на одной из знаменитых террас под пражским Градом немецкую батарею, суетящуюся вокруг нее прислугу, наводящую орудия, а также невысокого, внешне спокойного генерала, стоящего чуть-чуть поодаль. Он рассматривал в бинокль центр города, который ему оттуда был хорошо виден. Через минуту-другую батарея начала беглым огнем обстреливать знаменитую городскую ратушу и историческую Старо-Местскую площадь. Это была ужасная картина совершенно непонятной и абсолютно никому не нужной попытки перед уходом хлопнуть дверью.

Но так или иначе — это были самые последние конвульсии умиравшего гитлеризма.

А 9 мая среди бесчисленных ликующих толп пражан мы уже встречали освободительницу страны — Красную Армию. Сброшено было иго, давившее народ несколько лет. Русские эмигранты воочию увидели советских солдат. Увидели граждан своей страны, с которыми не встречались десятилетия.

Сколько было слез радости в глазах моей жены и многих русских женщин, глубоко потрясенных встречей. Помню, при глубоком счастливом волнении, охватившем меня, и общей радости по поводу победы одно впечатление было особенно ярким. В советских солдатах, сидевших или лежавших на грузовиках и в повозках, а потом группами прогуливавшихся среди ликующих жителей Праги, в этих людях и их позах, в их манере лежать, говорить и ходить я сразу узнавал в юности мне столь хорошо

знакомую, а потом как бы полузабытую за годы зарубежного безвременья русскую деревню. Я встретился, наконец, с детьми тех русских крестьян, которых знал и помнил с детских лет. Да, среди советских солдат было немало детей крестьян, но только детей, очень далеко ушедших вперед от своих отцов. С раннего детства знал я этих отцов и сразу ощутил огромный скачок, сделанный русским народом, советскими людьми за четверть века. Этот скачок вперед нетрудно было почувствовать каждому русскому человеку, несмотря на запыленные шинели и весь тот походный вид, который имеет каждая армия, ведущая бой, а тем более армия, в непрерывных тяжелых сражениях проведшая почти четыре года, пережившая чудовищное напряжение и величайшие испытания.

И мне, хорошо понимавшему и видевшему этот скачок вперед, были неприятны и тяжелы убогие мещанские снобы, правда, совсем немногие, которые с кислыми лицами разглядывали советских воинов, изъяны в их привычках и манерах. Эти снобы — будущие противники новой Чехословакии — забывали или делали вид, что забывают о том, какой тяжелый бранный путь прошла победоносная армия.

Впрочем, люди, о которых я рассказываю, несколько громче заговорили позже. В первые дни среди общего ликования они не решались смущать глубокой общей радости населения страны. Радость была полной, охватывая очень разные слои населения. Я сам видел, как 9 мая неистово и восторженно кричал, приветствуя советские танки, один очень хорошо мне известный, пожилой и очень богатый человек, вскоре ушедший совсем в другой лагерь. А тогда и он был стихийно захвачен общей радостью встречи. Тогда это не была игра с его стороны. Красный цветок, вдетый в петлицу его изящного пиджака, отнюдь не был «защитной» декорацией, он был созвучен тогдашнему биению его сердца.

В самом деле! Великая моральная победа была одержана советскими войсками, о победе военной я уже не говорю. Победа над жестоким, потерявшим не только сердце, но и разум врагом.

Другое наблюдение над пришедшей в Прагу армией сделали мы сразу же: бросалось в глаза огромное душевное здоровье пришедших, вера в себя и в свое дело. Готовность служить родине до конца и без компромиссов. Словом, громадная сила духа, готового на новые подвиги. Когда я потом побывал в Советском Союзе, я увидел новый подвиг людей сильного духа. Я имею в виду изумительную быстроту восстановления разрушенного врагом, залечивания материальных и духовных ран, нанесенных войной. Только великому народу это по силам.

И еще: бездонная подспудная мощь чувствовалась как в этих молодых людях, что гуляли по пражским улицам, так и тех бесконечных людских резервах, которые стояли за ними. Какая огромная разница по сравнению с нацистской армией, только что мар-

шировавшей по улицам древней Праги. Истощение людских резервов у немцев бросалось в глаза в последние годы войны каждому, кто хотел что-то видеть. Слишком старые и слишком молодые шли в одних рядах. На лицах немецких стрелков красовались очки. Молодые люди, одетые в страшную черную форму СС, страдали явными врожденными физическими недостатками, при которых военный мундир не надевают. А в Праге любили рассказывать, что на вагонах ландсштурма — последнего запаса, который Гитлер бросил навстречу советским танкам, красовалась горькая надпись: Wir alte Affen statt neuen Waffen (мы старые обезьяны вместо нового оружия).

Прошло два дня со времени вступления советских войск в Прагу. Жаркий, безоблачный майский день, не весенний, а чисто летний, почти знойный. Я сидел за обедом, когда раздался звонок, и вошло двое пожилых чехов, представителей, как они сказали, местного национального комитета. Попросили меня зайти по делу в их учреждение.

Я хорошо не знал, что это за комитет, тогда эти организации только что начали возникать, и еще меньше представлял себе, что мне в нем делать. Однако размышлять не приходилось, и я вышел со старичками на улицу, закурив папиросу. Не успел я сделать и двадцати шагов, как из подъезда соседнего дома вышел молодой советский капитан, подошел ко мне и очень любезно сказал: «Дмитрий Иванович, позвольте прикурить». Я был внутренне совсем готов к встрече с советскими органами,но все же несколько растерялся. «Откуда вы знаете, что я Дмитрий Иванович?» — спросил я, протягивая спички. «Знаю,— ответил он,— зайдемте за угол, садитесь в эту машину». Так мы с ним и поехали...

А остановились мы у дома, населенного русскими. Это был так называемый «профессорский дом», о котором я уже рассказывал. Здесь число пассажиров было пополнено.

Разно тогда бывало. Были и курьезы. Я знал одного беженца, ни сном, ни духом ни в чем перед советской властью неповинного, кроме того, что он когда-то очень давно, почти мальчиком стал солдатом белой армии. И вот этот преуспевающий в жизни коммерсант приготовился при вступлении советских войск в Прагу к смерти. Он был твердо уверен, что все бывшие белогвардейцы немедленно будут расстреляны.

— Представьте себе мой ужас,— рассказывала мне его жена, она к тому же была чешка, мало разбиравшаяся в русских делах,— взял мой Петя стул, поставил его посреди комнаты, сел и говорит: «Скоро за мной придут. Оставь меня сейчас одного». Сидел так, не ел, не пил. Прошли чуть не сутки. Никто за ним не приходит... Понемногу Петя начал подсаживаться к обеденному столу, а к ночи перебираться в постель. А за ним никто так и не пришел.

Я потом часто встречал этого человека. Он стал советским гражданином, членом советского клуба, начисто забыл о своем

первородном грехе и чувствовал себя в новой Чехословакии, кажется, превосходно.

Что же до меня, то мне пришлось ряд дней провести в серьезных разговорах, относящихся к различным этапам моей жизни, но я давно был к ним внутренне готов.

...Днем вступления Красной Армии в Прагу, самым большим днем новейшей истории страны, начинался не только совершенно новый этап в жизни Чехословакии. Это было начало нового этапа и в жизни русских людей, уже перестававших, а потом окончательно переставших быть эмигрантами в прежнем смысле слова.

В их душах легко можно было почувствовать тогда смятение. Постепенно, но неуклонно росла новая настроенность. Еще в годы войны среди очень многих беженцев окончательно окрепло сознание изжитости и ошибочности многих эмигрантских установок. Выросло настроение, которое сначала в неполитической среде эмигрантов, а потом и среди «политиков» привело к тому, что в 1945 году и в последующие годы многие люди становились в очередь перед советским консульством соответствующей страны, хлопоча о советском гражданстве, о возвращении на родину.

Эти хлопоты завершились тем, что в первые послевоенные годы ряд больших транспортов бывших русских эмигрантов направился, как известно, из разных стран к границам Советского Союза.

... Теплый, солнечный день в Праге. Вокзал на одной из ее окраин. Ряд пассажирских вагонов, за ними ряд товарных. Это уже второй транспорт эмигрантов, целый состав, в котором старые мои знакомые по Праге возвращаются на родину. Взволнованные, счастливые лица... Не меньшая взволнованность на лицах провожающих, тех, кто прожил с этими людьми многие годы мира и драматические события войны. Среди отъезжающих много моих личных друзей. Едут они далеко на восток, в Узбекскую республику, по преимуществу в Ташкент. Среди них и сын писателя Е. Н. Чирикова с большой семьей. Сейчас эти люди уже давно жители Советского Союза; многие уезжавшие с этим транспортом уже вновь побывали в Праге как советские граждане.

Почему тогда были не только уезжающие, но и остающиеся? Отчего не уехали все?

Для того чтобы ответить на этот вопрос со всей точностью и правдивостью, нужно вспомнить два обстоятельства.

Если подсчитать число лет, прожитых эмигрантами в Чехословакии, — то же относится и к другим странам, то от начала эмиграции и до конца войны выходит четверть столетия. За 25 лет многие русские так крепко связались с работой и жизнью в стране, их приютившей, что уже не находили в себе душевных и физических сил искать путей домой. Туда, где у большинства не оставалось уже к этому времени не только близких и родных, но просто знакомой души. И провожая на вокзале отъезжающих, те, которые

оставались, разлучались с ними с глубоким волнением. Расставались со слезами на глазах. Они ведь знали, что не находят в себе решимости последовать примеру своих друзей, поспешно занимающих места в вагонах.

Иногда расставания бывали и драматическими. Разный жизненный путь выбирали люди, тесно и интимно друг с другом связанные. Разрывались крепкие семейные узы. Некоторые оставшиеся в Праге с выражением полной растерянности и отчаяния, не замечая окружающего, брели с вокзала домой, и, вероятно, такую же тяжелую горечь ощущали те, кто, только что простившись с близкими, устраивался в вагоне. Впрочем, в таких случаях уезжающим всегда легче. Открывается новая жизнь, мало того — жизнь на родине. Я знаю, какой восторг испытали они, увидев родную землю.

Были, наконец, среди остающихся и такие, и это совсем не единицы, кто не был тогда еще готов к встрече с родиной. То были те, кто, пройдя долгий путь изживания эмигрантской идеологии, кто, будучи в годы войны уже твердо в рядах патриотов, все же еще не покончил полностью с прежними представлениями, кто не мог переступить рубикон. Многие при этом отдавали себе отчет в том, что они пропускают, может быть, неповторимую возможность вновь обрести родину.

Да, и такие были среди провожавших на пражском вокзале.

Во главе одного из двух транспортов, а именно первого, стоял хороший мой знакомый В. Ф. Булгаков, бывший секретарь Л. Н. Толстого. Помню его глубоко взволнованным, а также его очень удачную речь, в которой он говорил о большой радости возвращения — он тогда уже знал, что путь его лежит прямо в Ясную Поляну. Говорил он также и о том, что расставание с городом и страной, в которой прожито 25 лет, не может не быть драматичным и что он наперед знает, что неизбежно придут часы, когда он будет тосковать по Праге.

Тяжелы были эти прощания, в частности для остающихся русских женщин, которые по каким-то причинам не могли уехать. А между тем именно женщины особенно горячо тогда стремились домой, взволнованно ждали первых вестей от вернувшихся друзей.

Впрочем, это эпилог, завершение эмигрантского пути. А я еще должен немного продолжить мой рассказ о нем и прежде всего о том и о тех, кто сделал возможными эти транспорты на родину, о которых идет речь.

Пути-дороги патриотов

Теперь уже довольно широко известно, как постепенно ряд видных эмигрантов, находящихся в разных странах, становился на патриотическую позицию, менял свое отношение к советской действительности, к самой политике Советского Союза.

В воспоминаниях Л. Д. Любимова, опубликованных несколько лет назад в московском журнале «Новый мир», а потом вышедших отдельным изданием, приведено обращение Милюкова к эмиграции, в котором он отказывается от некоторых общепринятых ранее эмигрантских установок и горячо призывает эмиграцию к единому фронту в борьбе с врагами России. Это обращение широко распространялось во Франции среди русских эмигрантов, к нам же в Чехословакию оно совсем не пришло, и мы узнали о нем только много лет спустя.

В Праге и других городах некоторые русские эмигранты активно включились в борьбу с оккупантами, энергично искали связи с партизанским движением, с чехословацким подпольем того страшного времени.

Были и жертвы. Долгое время в предвоенные годы секретарем Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии состоял А. А. Воеводин, работавший также в русском Народном университете — эмигрантской организации, вокруг которой объединилось немало людей. Я близко знал Воеводина и по Союзу писателей, и по другим общественным организациям, читал его рассказы и повести, но никогда не думал до войны, что человек этот способен на подпольную работу, на тяжелую, ежеминутно грозящую гибелью борьбу. А между тем это именно так и было: Воеводин был арестован гестаповцами в разгар войны с Советским Союзом и замучен в одном из нацистских лагерей смерти. Конечно, он был не один в этой борьбе; ближайшими его сотоварищами были чешские патриоты, также отдавшие свою жизнь.

Лично мне в годы войны пришлось убедиться в полной перемене политических позиций такого непримиримого в прошлом, известного антисоветского политического деятеля, как лидер «Крестьянской России» С. С. Маслов, долгие годы приверженного к эмигрантскому «активизму».

Во время войны он несколько раз был арестован немецкой политической полицией, а когда оказывался на свободе, не скрывал в русской среде своих патриотических убеждений, своего отказа от прежней тактики и желания включиться в борьбу с гитлеровским рейхом. Для Маслова это была совсем новая позиция, и он не хотел здесь оставаться раздвоенным, не хотел недосказанности. Это была примерно та же позиция, что у Милюкова во Франции.

В силу своеобразных условий, в которых в Чехословакии велась патриотическая работа против оккупантов, как я уже отмечал, движение Сопротивления в ней развернулось иначе, чем во Франции. Русская эмиграция не смогла принять в нем столь же активное, как во Франции, участие.

Было бы, однако, очень обидно, если бы из этих страниц можно было сделать заключение о том, что русские эмигранты только выжидали исхода войны, если забыть о тех, которые шли прямо к немцам. Конечно, это было совсем не так. Я уже сказал о людях,

широко известных в эмиграции, которые не только заняли принципиально бескомпромиссную позицию, но и включились в прямую борьбу.

В Словакии русские эмигранты приняли участие в восстании 1944 года, носившем подлинно героический характер. Можно привести целый ряд имен людей, рисковавших жизнью, чтобы помочь партизанам. В городе Банска-Бистрица — центре восстания — местный врач по происхождению донской казак В. П. Каклюгин ушел вместе с партизанами в горы, а когда они были в городе, предоставил свою квартиру в распоряжение борцов Сопротивления. Его задачей было содействие партизанам прежде всего врачебной помощью. В борьбу включилась также вся его семья. Дочь Ирина, ныне живущая в Болгарии, стала радисткой партизанского отряда, а 16-летний сын Владимир — связным словацкого Национального совета.

Активно участвовали в словацком восстании и другие эмигранты. Очень доверяли партизаны инженеру-агроному С. Я. Неграмотнову и сыну его сестры Г. Я. Чаусову. Потом они вступили в Красную Армию, участвовали в освободительных боях в Западной Словакии и Моравии, награждены советскими орденами. Сейчас Григорий Чаусов врач в Жилине, а Неграмотнов — пенсионер в городе Кошице.

Бывали и более сложные случаи: инженер Поляков, тоже донской казак, не принадлежал к тем, кто радовался приходу русских. Партизаны после занятия Банска-Бистрицы его даже арестовали. Он просидел два месяца, пока партизаны были в городе, потом они взяли его в горы как арестованного. В ноябре горный район, где скрывались партизаны, был окружен бандеровцами и гитлеровскими карательными отрядами. Они прорвали оборону партизан и принялись за расстрелы. В эти тяжелые минуты Поляков сразу определил свое место. Он добился, чтобы ему дали оружие и героически дрался с немцами и бандеровцами. После окончательного освобождения страны он стал одним из первых советским гражданином и уехал на родину.

Врач А. Н. Желдаков стал самоотверженным партизанским доктором, попал к немцам в плен и был расстрелян. Он награжден орденом посмертно.

Смело помогал попавшим в плен партизанам работник Красного Креста в Братиславе Константин Шимановский.

Многие русские, жившие в «протекторате», стремились в Словакию, чтобы принять участие в славном восстании.

Как известно, восстание в Праге вспыхнуло в самые последние дни войны. В нем тогда также участвовали многие русские, некоторые из них погибли на баррикадах. Были убиты молодой талантливый скульптор Бжезинский, связанный с движением Сопротивления, и сын известного ученого-историка философии

права, бывшего профессора Харьковского университета Н. А. Фатеева.

Только после войны я узнал, как широко включились в борьбу с гитлеровцами в движение Сопротивления многие русские эмигранты, жившие в Париже и других городах Франции, в том числе мои добрые знакомые.

С некоторыми из них я встретился потом в Праге и в Москве. Многое услышал я и от А. С. Сизова, живущего ныне в советской столице.

Узнали мы также об изданных в Париже номерах «Вестника русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции». На его страницах рассказывалось о героизме русских людей, вышедших из рядов эмиграции и боровшихся с гитлеровцами до конца, отдавших этой борьбе свою жизнь.

Имена В. А. Оболенской, Анатолия Левицкого, Бориса Вильде, замученных нацистами, уже давно перешагнули рубежи Франции, они известны не только среди русского зарубежья, но и на родине. В Москве проживает И. А. Кривошеин, сын царского министра, игравший видную роль среди русских участников французского Сопротивления.

Неувядаемой славой покрыто имя «матери Марии» — в прошлом русской писательницы Кузьминой-Караваевой-Скобцовой. Мужественно и самоотверженно боролась она с гитлеровцами. Впоследствии очутившись в Равенсбрюке, она добровольно пошла в газовую камеру вместо молодой советской женщины. Этот героический подвиг замечательной русской патриотки не должен быть забыт.

Если я сейчас говорю о движении Сопротивления в Чехословакии и Франции, называю некоторых его участников, то делаю это именно потому, что эти люди приоткрыли двери родины для эмигрантов, для тех, кто покончил с эмигрантской непримиримостью, кто захотел жить и работать в родной стране.

Не буду сейчас заниматься вычислением того, какой же процент русских эмигрантов покончил с прежними представлениями. Вероятно, в разных странах было по-разному. О том, как это выглядело в Чехословакии, я и рассказал в этой главе. Добавлю еще, что вести, приходящие ныне из той же Франции и стран Америки, говорят о том, что и там ряды ортодоксов сильно редеют.

Вспоминая же долгие годы от начала эмиграции до нашего времени, вижу одну и ту же линию, иногда не прямую, подчас зигзагообразную, но все же в основном одну, и притом последовательную.

Это путь постепенного изживания непримиримости первых лет эмиграции и глубоко ложных представлений об основных процессах, происходящих на родине.

О древней Праге и новой Чехословакии

Жизнь моя прошла в течение целого ряда десятилетий в чехословацкой столице — Праге. Сейчас я позволю себе немного сказать об этом древнем городе и о сегодняшней жизни страны.

В 1946 году — я тогда служил в Институте международного сотрудничества по сельскому хозяйству, где заведовал переводческим отделением,— как-то мне позвонил секретарь министра сельского хозяйства и сказал, что просит сопровождать двух советских гостей, с тем чтобы показать им Прагу. Это были москвичи: известный художник В. Н. Яковлев и главный архитектор Москвы Д. Г. Чечулин. Мне хотелось придать нашему хождению по столице возможно более оживленный характер, и я пригласил живую, находчивую молодую русскую пражанку, хорошо знающую город; так вчетвером мы и двинулись в путь. По наивности я предполагал, что нашей спутнице и мне предстоит показывать, а гостям смотреть, охать и восхищаться. Они действительно восхищались, а вот в смысле нашего показа вышло совсем не так, как я думал.

...Перед нами знаменитый Карлов мост с прославленными предмостными башнями по обеим сторонам его и статуями святых; почти каждая скульптура представляет немалый интерес. Этот мост, сооруженный в XIV веке, один из древнейших каменных мостов Европы. Когда идешь по нему, невольно ищешь глазами всадников в рыцарских доспехах на тяжелых конях или спешащих на работу цеховых ремесленников, или коварных и жеманных красавиц, возвращающихся из соседнего костела с исповеди, с тем чтобы снова начать грешить.

Готовлюсь к рассказу и чувствую, что наша спутница тоже воскрешает в памяти то, что ей нужно сказать о Старогородской башне на Карловом мосту, о храме монашеского ордена Св. Креста, наконец, о всем том архитектурном облике Праги, который представляет собой сложный синтез эпох и стилей. Я знаю, она хочет говорить о романском периоде, о готике, наложившей свою могучую, но далеко не ласковую руку на облик города. Наконец, ей следует подчеркнуть огромное значение барокко, которое как бы переродило средневековую Прагу и создало пластичное целое с рядом монументальных шедевров по обе стороны Влтавы, на берегах которой раскинулся город.

— А вот и Карлов мост! — с оживленным волнением восклицает полнокровный, плотный пожилой человек. Он идет рядом со мной, темпераментный и горячий, как я скоро увидел, неутомимый ходок, любитель поэзии, знающий на память множество стихов на многих языках.— А тут и собор...

И из уст Яковлева полился интереснейший и подробный рассказ об истории Карлова моста, об окружающих его башнях, костелах и монастырях. Если же художник запинался на какой-

нибудь из статуй, забыв время или имя ее создателя, то тут же его сотоварищ-архитектор вступал в разговор, восполняя забытое Яковлевым. Словом, нам, пражанам, почти не пришлось что-либо говорить. Я только переводил гостей с площади на площадь, с улицы на улицу, к Валленштейнскому дворцу на Малой Стране, к собору Св. Николая на исторической Малостранской площади. Мы прошли к террасам-садам у дворцов старой знати, вышли к пражскому Кремлю-Граду. Мы любовались возвышающимся над старой Прагой знаменитым собором Св. Вита, хотели идти дальше и дальше, только сил не хватило. Осмотрели немалую часть старинного города, самую знаменитую.

Никогда мне не пришлось слышать от иностранцев такого подробного и интересного рассказа, какой я услышал в эти послеобеденные часы от двух москвичей. Однако всякому терпению должна быть мера, и я в конце концов сказал Яковлеву:

— Что же это такое? В какое положение ставит меня наше почтенное министерство? Что я могу, в самом деле, рассказать о Праге двум гостям, каждый из которых знает архитектуру города и его историю с такими удивительными подробностями? — Войдите в мое положение...

— Ну, что вы,— успокаивали они,— ведь мы же специалисты, как нам не знать исторических сооружений Праги, а в натуре мы видим их, поверьте, в самом деле впервые. Нам не нужна история соборов, мостов, дворцов и особняков. Это мы знаем. Нам нужна была помощь, как к ним пройти, откуда получше их рассматривать.

Я много раз в жизни показывал Прагу чужому глазу. Одни приезжие много о ней слышали, другие знали мало, но я не встречал ни одного человека, которому бы она не нравилась.

Правда, очарование этого города особенное, изысканное. Оно не поражает глаз величием, как это мы видим в несравненном Ленинграде, и не рассчитано оно и на внезапное бурное поклонение. Ему нужно подлинное проникновение в душу города и постоянная сердечная преданность. Необходима определенная настроенность, способность и умение проникнуть в глубину очарования Праги. Так понимаю я редкую прелесть этого города и так, как мне кажется, воспринимают ее многие. Прага — древний город, и в ней много наслоений различных эпох. К тому же много различных национальных наслоений в связи с драматической историей чешского народа.

Но с одним, я думаю, согласится каждый, кто хоть раз побывал в Праге в дни, когда город иллюминирован: его потом забыть уже нельзя. Чехи не только большие знатоки иллюминации, но и подлинные художники этого дела. Я не видел в жизни ни одного города, который был бы освещен с таким художественным вкусом и проникновением в красоту и значение каждого освещаемого здания.

Люди привыкают ко всякой красоте — зданий, горных ландшафтов, моря, красивых женских лиц, картин. Всякая красота для тех, кто постоянно с ней встречается, в какой-то мере становится уже привычной. Однако сколько бы человек ни жил в Праге, как бы часто он ее ни посещал, но если в вечерние часы в дни иллюминации он выйдет на набережную Влтавы возле Национального театра и посмотрит вправо на ярко освещенный Кремль-Град, на полуосвещенную внизу Малую Страну и купол Николаевского собора, на близкий от него Карлов мост, он каждый раз бывает потрясен заново. Нет! Это уже не реальность. Это прекрасная сказка, уводящая далеко от забот, огорчений и тревог сегодняшнего дня, как и от его радостей, уводящая в какой-то далекий волшебный мир.

Что касается меня лично, то я никогда не могу достаточно налюбоваться этим зрелищем. Среди городов, которые мне пришлось узнать (а я видел их много), с такой волшебной картиной можно сравнивать, если уместно вообще сравнивать города, скорее всего уголки Флоренции и некоторые кварталы Рима. Там тоже человек уходит в мир прекрасного, забывая, где он, чем занят, как забывает в Праге, в каком году и месяце смотрит он с темной набережной через реку на возвышающийся холм с его историческими дворцами, башнями и соборами.

И еще вот что нужно сказать. Думается, во всей Чехии, хотя в такой же мере это относится и к другим частям республики, не найдешь и сотни человек, которые бы глубоко не чтили и не любили своих городов, и прежде всего их архитектурных и художественных ценностей, исторических зданий, музеев, картинных галерей. Без преувеличения можно сказать, что каждый дом не только в Праге, но и в любом городе страны, если за ним века, находится под охраной — не только соответствующих учреждений, но и общественности. Под охраной всего населения, которое гордится своей стариной, знает ее, умеет и любит показывать и своей молодежи и иностранным гостям.

Тщательно охраняются многочисленные интереснейшие замки. Некоторые из древних укрепленных замков уже давно в развалинах, но каждый камень заботливо оберегается. Это стоит немалых средств, но приносит славу, а также, вероятно, немалый доход.

Если выйти вечером на главные улицы Праги, на каком только языке не услышишь разговора, из каких только стран не приходят туристские автобусы, ночующие на боковых улицах, чтобы утром кочевать со своими пассажирами дальше.

Прага с 1945 года, пережив короткий период некоторой заброшенности, когда до таких дел, как говорится, руки не доходили, становится все наряднее. Помимо всего прочего, систематически проводится озеленение города. Все уголки, оставшиеся незастроенными, превращаются в маленькие садики с клумбами

цветов, а все большие площади стали громадными цветниками и лужайками, заставленными скамейками. Нет, я никому не пою дифирамбы и скажу только правду — пражанин или житель многих других городов Чехии, которые я видел за последнее время, если у него нет возможности выехать летом за город, легко найдет себе красивый уютный уголок. Не уходя далеко от дома, он может провести в нем какие-то часы отдыха. Если же у него есть в кармане хотя бы 10 крон и есть к тому вкус, он может в летние месяцы пойти в один из прекрасных садов-парков, принадлежавших старой чешско-австрийской аристократии, и там среди вековых каштанов, платанов, жасмина и роз послушать концерты, посвященные старинной или современной музыке. В этих концертах выступают лучшие оркестры и ансамбли страны и многие знаменитые гости.

А теперь заглянем в центр старого города. Узенькие, кривые улочки, в которых ориентироваться почти невозможно. Вы, вероятно, мне не поверите или подумаете, что я представляю собой существо не совсем полноценное, но это так: прожив в Праге сорок лет и выйдя вечером в центр старого города, на эти улицы, петляющие самым неожиданным образом, с близко стоящими друг против друга домами (есть и такие переулки, где обитатели домов на двух сторонах могут, не выходя из дома, в окно подать друг другу руки), я уже иной раз не знаю, как же мне добраться к Карлову мосту, и должен, к великому стыду моему, спрашивать прохожих. А ведь старый город совсем не велик. В его дома, сложенные из тяжелого камня, с узкими лестницами, где в вечерние часы электрическая лампочка представляется чем-то чужеродным, не один раз я поднимался по разным поводам.

Старый город живописен и неповторим, но в нем душно. Жить в нем тяжело, и каждый, отдав ему должное, стремится переселиться туда, где на просторных широких улицах стоят высокие удобные дома со всем современным комфортом, с широкими, нарядными лестницами, с красивыми подъездами и с той неукоснительной чистотой, которую требуют современные жители.

Люблю и я выйти кратчайшим путем из старого города сразу на главную улицу Праги — Вацлавскую площадь, широкую, нарядную, с изысканными витринами магазинов и с громадным памятником королю Вацлаву против здания Национального музея. Это не длинная улица, это не московский величественный Ленинский проспект, но это действительно центр современной Праги с ее шумной и трудовой жизнью, с ее всевозможными новыми техническими достижениями, со всем упорством и работоспособностью ее народа.

От старинной Праги я хотел бы перейти в моем рассказе к современной Чехословакии.

Мне, как и многим другим эмигрантам, пришлось после войны, в частности после февральских событий 1948 года в Чехословакии, жить уже не в капиталистическом государстве, а в стране народной демократии, в стране, строящей социализм и в значительной мере построившей его. Так накопился совсем новый опыт, новые наблюдения. Это неизбежно должно было отразиться на взглядах людей, в сущности уже переставших или перестававших, как я рассказывал выше, быть эмигрантами.

Сначала одно общее замечание: русские, живущие ныне в Чехословакии,— имеются в виду бывшие антисоветские эмигранты,— живут совсем и совсем неплохо. Можно смело сказать, что в экономическом отношении большинству из них сейчас значительно лучше, чем в годы первой республики. Они имеют сейчас возможность использовать также, притом иногда очень широко, знание русского языка, а в некоторых случаях также знание истории своей родины, ее культуры, советской литературы, искусства...

Эмигрантское прошлое обычно в большую вину никому не ставится. Я уже рассказывал о своей работе в новой Чехословакии. Все эти годы мои знакомые и приятели тоже работали и работают в государственных учреждениях.

Но не это главное. Самое главное для нас, людей определенной биографии, конечно, другое — наблюдения и восприятия пришедшей жизни. В течение почти двух десятилетий мы воочию видели и ощущали процессы перехода от капиталистической системы к социалистическому строю, пережитые Чехословакией.

Основные перемены, происшедшие со времени первой республики, прежде всего изменения социального и экономического порядка, стали для подавляющего большинства населения уже бесспорными. Эти перемены вошли, как я в этом постоянно убеждался, в железный фонд представлений сегодняшних жителей Чехословакии о социальной жизни и структуре современного общества.

Я вовсе не хочу изображать ход революции в идеалистических тонах. Во всех странах социализма велась острая классовая борьба. Но сейчас, я в этом уверен, не может быть никакого сомнения в одном. Какое бы ни проводить в стране голосование, к какому бы ни прибегнуть референдуму (голоса о необходимости его периодически звучат на Западе, особенно в США),в Праге и в любом другом городе или уголке страны почти не найдется людей, которые считали бы, например, что фабрики и заводы, как и вообще средства производства, должны вернуться в руки частных владельцев. Совсем мало оказалось бы тех, кто думает, что большие торговые предприятия, размещенные в шестиэтажных зданиях, по справедливости должны бы были принадлежать, скажем, вдове или дочери какого-нибудь крупного коммерсанта прежнего времени.

Это же относится к праву не только на крупное, но и на среднее землевладение. Все меньше становится в Чехословакии людей, которые считают, что земля должна находиться в частных руках, переходить по наследству.

Я совершенно уверен, что совсем не осталось людей, кроме разве лично заинтересованных, которые, скажем, думали бы, что шахты или рудники могут быть частной собственностью. Таких старомодных чудаков сейчас днем с огнем в той же Праге не найдешь.

А обитатели прежних доходных домов? Что бы они сказали, узнав, что с такого-то числа старый хозяин, ныне живущий в маленькой квартирке верхнего этажа, вновь вступает в свои права? Как бы они отнеслись к тому, что он устраняет домовые комитеты, единолично решает вопрос о том, кто будет жить в его доме, какие в нем будут порядки и, наконец, какая устанавливается квартирная плата, обеспечивающая владельцу спокойную и приятную жизнь? Уверен, таких странных людей среди пражан, живущих в прежних доходных домах, которые действительно хотели бы позаботиться о бывшем владельце, вручить ему ключи от его национализированного дома, найти было бы трудно.

Посетители Карловых-Вар, Марианске-Лазней, Пиештян и других чехословацких курортов ворчат подчас на мелкие непорядки в них. Одни изъяны быстро устраняются, другие медленнее, дело сейчас не в этом. Но посчитали ли бы курортники правильным, чтобы вместо лечения и отдыха по путевкам, обычно бесплатным, как это делается сейчас в Чехословакии, в чудесных местах отдыхали бы, лечились и развлекались только богатые и хорошо обеспеченные люди?

Кому пришлось бы по сердцу, если бы променады курортов были наполнены, как это часто было раньше, по преимуществу директорами различных торговых и промышленных предприятий? Чтобы эти богатые, немолодые, уверенные в себе люди, сопровождаемые юными секретаршами, одни имели бы доступ в нарядные рестораны и кафе, недоступные в то время для огромного большинства жителей страны? Кто же, кроме немногих избранных, мог заплатить за обед или ужин втрое или вчетверо дороже, чем это принято в обыкновенном ресторане?

Мне пришлось в последние годы не один раз бывать на чехословацких курортах, и я видел, как в роскошных парках среди нарядных клумб на скамейках сидят и наслаждаются отдыхом люди, которым ранее и не снилась подобная возможность; факт этот уже давно перестал казаться чем-то необыкновенным. Все уже привыкли к тому, что пожилые рабочие и работницы, трудящаяся молодежь как хозяева прогуливаются в летние месяцы по дорожкам самого фешенебельного и самого дорогого в прошлом курорта страны — Марианске-Лазне. Уже самая мысль, что может быть иначе, показалась бы им дикой.

На пражских улицах вы встретите подчас несколько странного вида юношей и девушек. Они как будто сошли с американского экрана. Это зеленая молодежь, подчеркивающая свою нарочитую одежду и прически на ультразападный манер. Вы услышите от нее иногда слова критики и даже недовольства.

Однако совершенно несостоятельны попытки западных пропагандистов делать при этом какие-то обобщения! Бесспорен тот факт, что молодое поколение приняло основные устои новой жизни в Чехословакии и вырастает на них.

Молодые люди, студенты, предложи им внести за свое обучение плату, как это делается и сегодня в странах западного мира, конечно бы, возмутились. Они бы изумились, если бы в ответ на обращение с просьбой о стипендии при хороших академических успехах последовал только иронически-недоуменный жест. Бесплатное обучение, а в средних школах и бесплатные школьные пособия для тех, кто в этом нуждается, почти бесплатные детские сады и ясли уже давно стали чем-то само собой разумеющимся, бесспорным.

Но для чего, могут спросить меня, в моих воспоминаниях эти ссылки на современную Чехословакию? Какое они имеют отношение к путям и судьбам эмигрантов и к их взглядам? Думаю, что страницы эти совсем не напрасны. Ими я прежде всего хочу сказать, что не только чехословацкий народ принял и усвоил главные начала новой жизни. Русские эмигранты, большинство которых принадлежало, притом уже многие десятилетия, к более бедным слоям населения, не остались в стороне от этого процесса.

И в самом деле, русские, живущие в Чехословакии (никак не в меньшей степени, чем чехи и словаки,— это я утверждаю), приняли новую жизнь, что, естественно, сказалось и на их политических взглядах. Насколько мне известно, это относится в равной степени и к русскому населению других социалистических государств.

Бывшие эмигранты, принимая новую жизнь страны, где они живут, приближаясь этим к той жизни, которой живет современная Россия, убедились в том, что новый строй не сводит счетов за прошлое и не предъявляет за него обвинений. Я давно знал чуть ли не всех русских пражан и вижу, что за долгое время, истекшее после 1948 года, случаи вмешательства государственных органов в судьбу отдельных эмигрантов в сущности можно пересчитать на пальцах одной руки. А ведь я находился последние годы в Праге, как это было и раньше, в самой гуще бывших русских эмигрантов. Правда, слово «гуща» не совсем уже уместно: прошли десятилетия, и наши ряды, естественно, сильно поредели.

И еще одно, как мне кажется, особенно нужное замечание. Русские, живущие в социалистических странах, хорошо знают обе мировые системы. Вот почему каждый из них — при прочих равных условиях — обогащен более широким опытом, житейским

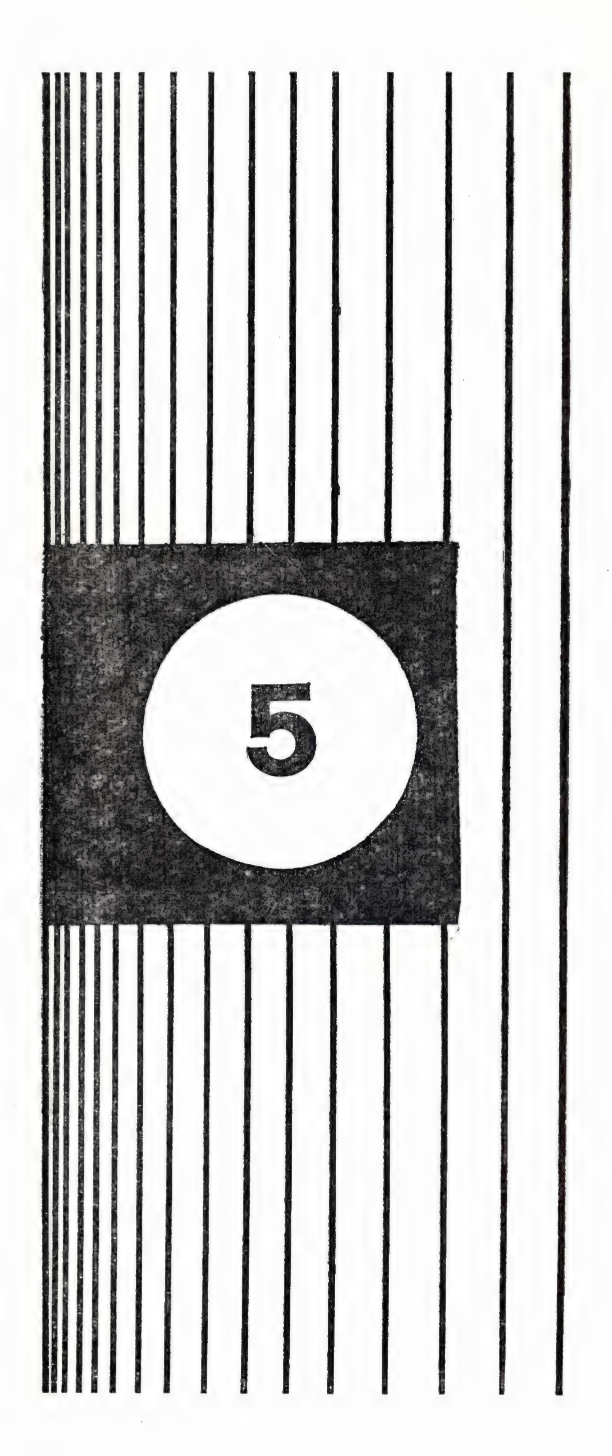
и политическим, чем тот опыт, который стоит за эмигрантами, живущими все время в западных странах.

Это тем более верно, что мы — я в этом отношении не был исключением — имели много возможностей встречаться с советскими людьми, слышать их выступления, наблюдать их и делать свои выводы.

И самое главное — мы имеем сейчас широкую возможность навещать свою родину. В худшем случае как туристы, а при наличии родственников и близких друзей и как гости, могущие прожить в советской стране целые месяцы, а то и больше.

Для живущих в Чехословакии русских посещения Советского Союза уже давно приобрели массовый характер. Сейчас, когда по вечерам за ужином или вечерним чаепитием собираются бывшие русские эмигранты в Праге, Братиславе или других городах страны, они скоро устанавливают, что среди присутствующих нет никого или почти никого, кто не посетил бы в последние годы родину.

О том, что они увидели там, я скажу несколько подробнее немного ниже. Сейчас же отмечу только, что в пересмотре старых эмигрантских установок, в окончательном преодолении прежних представлений эти встречи с обновленной родиной имели и имеют огромное значение.


5

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Здравствуй, племя
младое, незнакомое!

А. С. ПУШКИН

Молодые девушки, сидящие возле окошечек Бюро путешествий «Чедок» на нарядной пражской улице Пршикопы, в самом центре видавшей виды чешской столицы, уже пригляделись к одному типу своих клиентов.

К ним время от времени подходят взволнованные, беспорядочно объясняющие свои желания старые люди, часто старомодно одетые. Они хотят ехать в Советский Союз и именно туда-то и туда-то. Они не совсем чисто говорят по-чешски, и всем это понятно. Это здешние русские, едущие на родину, кто в первый раз, а кто во второй и больше...

Надо отдать справедливость молодым сотрудницам «Чедока», а также чешским и словацким попутчикам этих своеобразных туристов, посещающих родные места после сорокалетней разлуки. И девушки из «Чедока», и пассажиры в советских вагонах, люди часто не искушенные в долгих странствиях по чужим странам, отлично понимают взволнованность и своеобразие русских спутников, столь оправданные и в Праге при получении справки «Вам разрешено», «Вы едете», и потом дальше на границе. Здесь клиенты «Чедока» впервые видят советских пограничников, первый советский буфет на станции, первых людей, дающих на русском, а также на разных других языках первые справки; видят первых советских женщин, разносящих тарелки с непомерными порциями борща.

Первыми из русских беженцев, кто осаждал Бюро путешествий, ища возможностей попасть на родину, были женщины. Они, не усложняя вопроса, устремлялись к «Чедоку». Женщины твердо знали одно: они внесут определенную сумму денег, подождут какое-то число дней, затем поедут домой. В их глазах жила радость скорого свидания. Походка этих женщин, давно простившихся с молодостью, часто уже далеко заглянувших в старость, становилась опять легкой и стремительной, как когда-то. Они ждали встречи, ждали свидания. Они были взволнованы этим ожиданием, они радовались предстоящим дням. Они, как это всегда бывает перед свиданием, отбрасывали в сторону все отягащающие размышления. Женщины инстинктивно и совершенно естественно тянулись прямо к «плоти» жизни родной страны, решительно отстраняя промежуточные моменты.

Глубоко задумавшись, иногда не замечая окружающих, расхаживали в те годы и месяцы по пражским улицам русские мужчины с долгим эмигрантским прошлым. И они, конечно, знали о возможности встречи, и их сердце сжималось при мысли о возможности свидания. Но они тут же, не щадя себя, пропускали через свое сознание, через свой разум и свое сердце весь арсенал чувств, размышлений, любви и отталкивания, сомнений, разочарований, раскаяния и упорства, всего пережитого и переживаемого с тех самых дней, когда суда увозили их, как и многих других, в неизвестность из портов на юге и севере, западе и востоке их великой родины.

И они, эти седоватые, нередко полусогбенные, отяжелевшие люди, проходили мимо нарядного здания «Чедока» не один раз в день, делая часто большой крюк, чтобы попасть на улицу Пршикопы.

Вероятно, я тут немного преувеличиваю. Конечно, разные настроения и разные чувства волновали тогда эмигрантов. Не одни женщины торопили радость и волнение свидания, не все мужчины глубоко задумывались и отводили, иногда в тяжелой печали, глаза при беседах о поездках.

Вот и я оказался, наконец, у окошечка «Чедока» беседующим с молодой женщиной. И я надоедал ей вопросами, готовы ли бумаги, и я — впрочем, кажется, это делал только я — носил ей букетики ландышей и фиалок в надежде, что эти, ни в чем не повинные цветочки помогут мне скорее очутиться на границе, а потом и дальше.

И для меня наступила первая встреча с советской границей. Станция Чоп! Не нужно много слов, чтобы дать почувствовать то волнение, которое не может не охватить каждого русского человека, в том числе и самого далекого от сентиментальности, пересекающего впервые после сорокалетнего перерыва границу родины. Тут целый весьма запутанный комплекс чувств. Если охарактеризовать их одним словом, я выбрал бы слово «смятение».

Только потом, когда сквозь вагонное окно начали мелькать десятки и сотни километров родной земли, слово это можно было заменить другим.

Как хорошо, что Советский Союз широко открыл свои двери! Хорошо это прежде всего потому, что великой стране не приходится что-либо утаивать и скрывать.

Достижения советской страны настолько бесспорны, что они без труда становятся одинаково очевидными и ее идейным друзьям, и холодному, часто испытующему взору случайного иностранного туриста, и русскому человеку, который когда-то упорно не верил, потом не хотел верить, еще позже не позволял себе верить в творческую силу Октябрьской революции. Видят их и враги.

Под маской туристов, вероятно, проникают подчас в Советский Союз также лица с черной душой и грязными замыслами. Даже наверное проникают. Но нет сомнения, что они тонут в море других, тех, кто возвращается из Москвы, Ленинграда, Киева и из иных мест великой страны с истинной радостью от встречи с государством, построившим новую жизнь. Возвращается с глубоким пониманием и признанием того огромного трудового и духовного напряжения, которое привело прежнюю отсталую Россию к достижениям, сделавшим ее во многих отношениях первой страной мира.

...Вот я и перешел, наконец, на границе в советский вагон. Однако это было не так просто. Я вез много совсем не нужных мне вещей и не мог управиться с чемоданами. Носильщик? Как на зло носильщика все не было. Наконец, молодая женщина в железнодорожной форме, к которой я обратился за советом, остановила пробегавшего солдата. «Помоги старику погрузиться в вагон!». Не очень меня обрадовали эти слова первого советского человека, с которым я говорил на советской земле, да к тому же еще молодой женщины, но возражать не приходилось.

Очень скоро великая радость встречи с родиной оттеснила тот клубок смятенных чувств, который, вероятно, знаком многим, прошедшим тот же жизненный путь, что и я.

Скажу сразу, эта радость — безотчетная, я бы сказал, стихийная радость — переросла в чувство счастья, которое я дважды испытал особенно остро во время первой поездки в Советский Союз: при приближении к Киеву и еще сильнее около суток спустя, утром, при въезде в Москву. Здесь — об этом я уже наперед знал — меня будут встречать те, кого я сорок лет назад нежно любил в мои юношеские годы.

По-разному ведут себя люди в том настроении и состоянии, в котором я впервые на советской земле, в толпе чехословацких туристов, прошел в вагон-ресторан, пока наш поезд, минуя многие станции, стремился все дальше на восток. Некоторые в таких случаях молчат, я же принадлежу к тем, кто разговаривает.

Быстро познакомился, даже подружился я с проводниками вагонов и с девушками, обслуживающими ресторан. Я был единственным русским в группе чехословацких туристов, и это возбуждало интерес. Представитель «Интуриста», принявший на себя заботу о нашей группе, сразу же разобрался в том, кто стоит перед ним, и сказал мне, что он уже возил «таких», в частности из Парижа и даже Америки.

Чем дальше от Западной Украины и ближе к Днепру и Киеву, тем более знакомым становился пейзаж. Наконец поезд наш оставил за собой зеленые пригороды украинской столицы и подошел к перрону киевского вокзала.

Сердце мое дрогнуло. Киев! Работник «Интуриста», опекавший нас, приветливо сказал: «Вам будет хорошо, мы останавливаемся в Театральной гостинице, это как раз на Театральной площади. Очень удобно!»

Нет, не хотелось мне попасть на Театральную площадь и увидеть Фундуклеевскую улицу. Не хотелось! Слишком острые, незабываемые минуты пережиты были мною там в 1919 году при оставлении белыми Киева, при разлуке с близкими, прощании с невестой.

Делать, впрочем, было нечего, нужно было крепиться и смотреть весело.

А в сердце груз драматических воспоминаний. Дом же на Театральной площади, столь памятный мне, стоит по-прежнему, состарившийся, не такой импозантный, каким он мне представлялся, более провинциальный и старомодный. Стоит, как и тогда, прямо против театра, в котором я тоже переживал незабываемые минуты. В моих руках письмо и адрес. Я должен навестить первых русских людей, с которыми мне предстоит ближе познакомиться на родине.

Улица Ленина... «Как же пройти?» — спрашиваю привратника гостиницы. А привратник этот не просто швейцар в вестибюле большой старинной гостиницы: он как бы сошел со страниц каких-то рассказов Чехова первого периода его творчества. У него необыкновенно длинные, холеные усы, разложенные кольцами на широких щеках, покрытых густым склеротическим румянцем. Кстати, другого такого необыкновенного швейцара я увидел в той же гостинице, только в другом подъезде. У этого поражала большая холеная седая борода, которой также, видимо, уделялось совершенно исключительное внимание.

— Как вам пройти на улицу Ленина? — говорит почтенный усач,— так очень просто: прямо наверх. Это же бывшая Фундуклеевская!

Так мне сразу пришлось побывать в двух местах этого прекрасного города, видеть которые я не хотел. А на улице Ленина я узнал дома, вдоль которых бежал когда-то под выстрелы белых и красных.

Первые дни

В квартире на улице Ленина, в этом первом доме, в который мне суждено было войти после столь длительного, полного отрыва от родины, я провел несколько часов до глубокой ночи с людьми, встреча с которыми навсегда останется в моей памяти как один из самых волнующих и интересных вечеров, проведенных мною в жизни. А вечеров в обществе интересных и даже замечательных людей провел я не так мало.

Кажется, и мои собеседники были заинтересованы, между ними и мной сразу же установилось понимание, причем не только относительно того, о чем прямо говорилось, но и того, что подразумевалось. И это понимание, связанное с тем тонким радушием, которое особенно часто встречается на нашем юге, было очень отрадно.

Нет, я здесь не чужак. А разговор шел не только о приятности моего приезда на родину и первых моих впечатлениях. Мы говорили не только о красоте вида из широко распахнутого окна комнаты, выходящего прямо на Театральную площадь, окна, из которого можно было близко разглядеть и самую эту площадь, успевшую уснуть в тишине ночи, и громаду Владимирского собора, стоящего тут же совсем рядом. Нет, мы говорили не только о мягком, ласковом вечере, а потом ночи, которая опустилась на Киев в часы нашей беседы, но на многие и многие глубоко волнующие темы. Разговор шел о целых сорока годах! И каких, в частности для киевлян!

Сейчас я хочу сразу же подчеркнуть одно наблюдение, которое потом повторялось в беседах с самыми разными людьми. Все они настоящие, искренние, глубоко советские патриоты, иногда, вероятно, больше, чем они это сами думают.

Это вовсе не благонамеренная оговорка — и это относится также к тем, чья жизнь далеко не всегда была сладкой и жизненный путь которых не был ни усыпан розами, ни увенчан лаврами.

Это в полной мере распространяется также и на тех, кто часто критикует теневые стороны жизни — в данном случае я имею в виду, в частности, более молодые поколения.

Советский патриотизм очень меня обрадовал. В нем залог великой силы страны; он проявляется иногда в довольно неожиданной, непосредственной, а может быть, и наивной форме.

Вот что произошло в Москве относительно недавно. В гостинице «Националь» мне не могли сразу дать точной справки о приходе на место назначения прямого вагона Москва — Варшава— Прага. Я удивился и, глубоко взволнованный и расстроенный отъездом из Москвы, раздраженно высказал ожидавшему меня на улице моему, я мог это тогда считать, другу — молодой женщине нового советского поколения — свое удивление.

Еще раз оговариваюсь — может быть, я это сделал в несколько резкой форме. И вот она, решительно критикующая то, что ей кажется неправильным, совершенно неожиданно для меня обозлилась. «Вам не нравятся наши порядки? Так и поезжайте себе в Европу и сидите там, если у нас плохо». Это была обида советского человека за критику, в данном случае исходящую от друга и совершенно справедливую. Однако критику, высказанную человеком, хотя, казалось, и близким, но все же прожившим совсем иную жизнь. Так между нами напротив Большого театра, прямо на площади, по дороге в магазин за лучшими сортами советского чая, разыгралось горячее объяснение. И только потом я понял его большое значение. Неизмеримо большее, чем случайный и ничтожный повод, его вызвавший. Советский человек тут горой стал на защиту «своего», стал хотя и напрасно, так как никто не покушался на то, что он защищал, однако важно, что стал. Безоговорочно и бескомпромиссно.

«Вы знаете,— сказала мне совсем недавно одна москвичка — образованная женщина, знающая многие страны и на Западе и на Востоке,— вы, когда говорите и пишете о нас, должны помнить и твердо знать одно. Мы — сегодняшние советские люди — горды тем, что за эти десятилетия сделала наша страна. Иными словами — горды тем, что сделали мы. Наши успехи не достались нам даром. Пролили много пота, черпнули мы немало и горя. Достигнуто же бесконечно много. Помните об этой нашей законной гордости, иначе вы нас не поймете, а нам вы будете чужим и даже неприятным»...

Я намотал себе на ус эти справедливые слова, они полны глубокого смысла.

Понимая масштабы своих достижений и зная, во что обошлись они их творцам, советские люди чувствительны — и это более чем законно — не только к «критике», произносимой чужими устами, чему только что был приведен пример, но и к действительному или кажущемуся похлопыванию по плечу. Это не менее обидно, и отпор в таких случаях не менее понятен и законен.

Мои киевские собеседники пережили немало. И поэтому их патриотизм тем крепче и достовернее. В то же время они хорошо поняли человека, хотя и пришедшего к ним с другого берега, но полностью разделяющего эту их основную настроенность. Поняли и поверили ему.

В десятом часу вечера звонок. Входит сравнительно молодой человек, уверенный в себе, держащийся просто и крайне заинтересованный, когда на свой вопрос: «Сколько лет вы не были в Киеве?» — услышал, что сорок.— «Так вы что же, в девятнадцатом году ушли?» — «Да,— говорю я,— в девятнадцатом. Вы тогда уже родились?» — «И что же, за границей жили?» — «За грани-

цей»,— отвечаю я.— «А я вот бывший беспризорный. Был у вас в Праге в 1945 году, так же как в Германии — и в западной и восточной; в других странах тоже побывал».

Мой собеседник работает в театре; знает иностранную литературу и очень многим живо и по-настоящему интересуется. Неожиданно мы затеяли с ним спор о последней любви — страсти старца Гёте к семнадцатилетней Ульрике фон Леветцов и о родившейся в результате этой любви знаменитой элегии, запечатлевшей имя этой девушки. Ульрика, мы знаем, дожила до глубокой старости, но замуж так и не вышла, оставшись в веках «невестой» великого старца.

Киевлянин всем обязан советскому строю. Это он сделал из него высокоинтеллигентного, знающего специалиста, человека, умеющего широко и умно смотреть на жизнь, умеющего отличить важное от второстепенного, подлинное — от наносного и случайного. Расставаясь, мы условились, что опять встретимся и я расскажу о своих впечатлениях от вновь обретенной, хотя бы и на короткие дни, родины. Однако другие горячие волнения захватили меня, и в Киеве я еще раз так и не побывал.

В памяти же никогда не меркнет залитый солнцем, утопающий в зелени садов и парков прекрасный древний город. Никогда не забуду обольстительный изгиб медлительного широкого Днепра, Владимирскую горку, вид на далекие просторы. А знаменитый Софийский собор и Киево-Печерская лавра! Какое сердце, хотя бы и совсем иссушенное жизнью, не дрогнет при виде этих молчаливых стражей иных, далеких веков. А изысканность Андреевской церкви, рожденной гением Растрелли, а роспись Владимирского собора! А новый сегодняшний Киев, в котором самый строгий придирчивый обозреватель не найдет и следов недавнего ужасного разрушения.

Во многих странах мира умеют хорошо и упорно работать, но эта изумительная быстрота восстановления, вернее создание заново целых городов, кварталов и районов поражает гостей, приезжающих из самых разных стран.

Новый Крещатик! Одним больше, другим меньше нравится его современная архитектура. Но никто не может оспаривать, что это величественная и очень нарядная улица. Да, еще и еще раз приходится повторить: как Феникс из пепла восстал к новой жизни древний Киев.

А славные памятники героям минувшей военной бури! А выставка передового опыта народного хозяйства Украины! Я мог убедиться, какое она производит впечатление на людей, немало повидавших в жизни, давно ставших или приучивших себя быть скептиками.

Однако вот что: один мой старый приятель, просмотрев первые страницы моего рассказа о поездках на родину, нашел, что это воспоминания сентиментального порядка.

Б самом деле, этого надо опасаться! Нет ничего, что бы так ослабляло рассказы о пережитом, как сильный сентиментальный налет на них.

Не так-то просто соблюсти завет Пимена, если вспомним «Бориса Годунова», и писать об этих поездках и днях, в которых, в конце концов, так много глубоко и неизбежно волнующего и драматичного, ...«добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева». Тут нужна в самом деле выдержка и сила летописца.

Так или иначе, но хотелось бы сохранить способность к тому, чтобы видеть ясно и судить трезво. А прорывающееся чувство? Разве не помогает оно понять новую жизнь страны?

Люди и правда о них

Первое и основное, что интересовало меня, когда я думал о поездке на родину, были не высотные здания, не новые широкие проспекты, равные которым трудно увидеть в других европейских городах, не корпуса бесчисленных вновь отстроенных фабрик и заводов, не картинные галереи и не прекрасные музеи, даже не дорогие моему сердцу уголки, связанные с именами Пушкина, Толстого, Чехова,— а, в первую очередь, современные советские люди.

На них, именно на них, во все глаза смотрел я во время своих поездок на родину, во время пребывания моего в Москве. По этим людям, как и во всех городах мира спешащим по своим делам, на работу, с работы домой, в гости, в театр, на свидание с любимым человеком, я старался определить черты, которые этих людей, эту шумную городскую толпу многомиллионной Москвы, Ленинграда и Киева делают специфически современной — советской, делают той средой, которая типична сейчас для городов родины.

Если обратиться к первым впечатлениям от этих новых для меня людей, то я бы сказал, что самое правильное слово, если характеристика должна быть краткой,— это народность. На улицах советских столиц я видел по преимуществу тех людей, чьи деды, а то и отцы не знали тротуаров города, не ходили по министерствам и учреждениям, не посещали театров, дипломатических и иных приемов. В этом и есть одно из революционных достижений той культурной революции, которая должна стоять на заглавном листе списка огромных успехов Октября.

Да, я видел, что ходят по Киеву люди, чьи корни далеко за пределами города: в бескрайних украинских степях, заросших вишневыми садочками селах и поселках с чистенькими

домиками под шиферными крышами. Воспетые когда-то белые хаты-мазанки под соломенной «стрихой», в которых мы ночевали в гражданскую войну, почти уже не встречаются.

Именно эти люди, очень далеко ушедшие вперед от старшего поколения, определяют в основном характер современного Киева; их северные братья, пришедшие с широких русских полей, из вековых лесов, дети крестьян России — облик нынешнего Ленинграда и Москвы.

...Мой поезд, в котором я спешу из Киева в Москву для первой с ней встречи после долгой разлуки, еще только пробегает брянские леса, но я забегу вперед и вот что скажу сейчас о советской столице.

Мне пришлось прожить два зимних сезона в Москве в самом людном районе города. Передо мной прошли нескончаемые тысячи москвичей, которые спешили по утрам на работу.

Столица, как и весь Советский Союз, не знает безработицы. Это явление огромного значения. Оно определяет во многом психику людей, совершенно уверенных в завтрашнем дне, оно делает устойчивым и материальный уровень. В зимние месяцы я не видел в Москве ни одного человека, которому приходилось бы в морозы туго. Все эти люди одеты достаточно тепло и очень добротно. И я, хорошо знающий многие закоулки западных городов, спрашивал себя, могут ли руководители западного мира уверенно сказать, что в непогоду в их городах никто не вынужден зябнуть, так как нечего на себя надеть. Я хорошо помню, как в довоенной Праге в годы безработицы люди, в том числе мои знакомые эмигранты, несли старьевщикам свое, иногда последнее платье.

Я присматривался к тысячам и тысячам лиц и человеческих фигур на улицах Москвы и не видел никого, на ком лежала бы печать недоедания и физического истощения. Могут ли западные лидеры сказать, что в городах их стран люди всегда накормлены досыта?

Не раз я беседовал с рабочими и колхозниками, родители которых были еще малограмотными людьми.

Сами же эти рабочие и колхозники закончили среднюю школу или семилетку, прошли курсовую подготовку. Они покупают и собирают книги, и многие из них немало читают. Они в курсе мировых событий, живо и заинтересованно о них говорят и спорят. Они в самом деле хотят разобраться и разбираются в сложном клубке современных международных отношений, в основных вопросах развития их страны. И это только второе послереволюционное поколение: дети и внуки тех, кто, может быть, еще не держал в руках и букваря.

Трудно утверждать, что такой скачок в области культуры известен в какой-либо иной стране.

Я видел также советскую молодежь высокой квалификации. Эта молодежь любит вести и вела со мной продолжительные горячие споры о литературе, театре и живописи. Молодые люди живо интересуются достижениями мировой культуры. Они тщательно, я бы сказал, ревниво за ними следят; стремятся глубоко и всерьез ознакомиться со всеми явлениями этой культуры, по-своему проверить их и расценить.

Могут ли люди Запада утверждать, что такая глубокая и неутомимая любознательность характерна сейчас для молодежи их стран?

Я слышал в Москве критику недостатков и неполадок в различных областях жизни. Критику, свободно и громко высказываемую. Критикуются частности при внутренней верности общему. Я не видел при этом страха и не слышал опасений. И я думал: похоже ли это на ту запуганность, о которой упорно твердят, говоря о Советском Союзе, например в США?

Всякие утверждения подобного порядка были бы просто неправдой. Зачем же эта неправда до сих пор еще появляется на страницах части американской и не только американской прессы? Неужели это способствует взаимному пониманию и укреплению всеобщего мира, к которому будто бы все стремятся.

В Москве, как и в других советских городах, мне пришлось со многими советскими людьми говорить на тему о войне и мире. Все они, об этом не может быть двух мнений, горячо хотят мира; его сохранение — заветное их желание. Это так, прежде всего, потому, что никто в СССР не забыл войны. Никто здесь не хочет сделать ничего такого, что обострило бы напряженность. В России слишком хорошо помнят и знают ужасы войны.

У руля управления государством, а также в руководстве промышленными предприятиями страны, учреждениями, колхозами или совхозами стоят люди, которые сами с оружием в руках боролись с врагом. Эти люди знают, во что обходится народу современная война, и делают все возможное, чтобы войны не было. И в то же время каждый, кто побывал в Советском Союзе, не может не отдавать себе отчета в том, что, если бы война все-таки разразилась, советская страна встала бы на борьбу сплоченной, единой, готовой к смертному бою. Велик патриотизм советских людей, притом патриотизм, не специально культивированный, а подлинный, живой и действенный. Велика также столь свойственная этим людям уверенность в себе. Это как раз те, не надуманные, а совсем реальные факторы, которые никак не должны забывать люди другой стороны. В частности, не должны забывать те из них, кто сознательно или нет, но играет иной раз с огнем.

Я продолжу еще немного мои рассуждения. Ведь не одно же сердце участвовало в моих поездках на родину; не оно одно

будило меня по ночам. Также и опыт, и беспокойная моя голова были «в действии». Наблюдали, размышляли, заключали...

Некоторые круги западного мира только лукаво утверждают, а другие действительно твердо убеждены, что советские люди не считают государственную власть современной России своей народной властью, что эта власть им чужда. Они утверждают, что основа, на которую она опирается,— принуждение. Некоторым при этом кажется, что достаточно более или менее сильного толчка со стороны, чтобы новый «колосс на глиняных ногах» рухнул так, как около пятидесяти лет назад рухнул старый. Нет представления более ошибочного, чем это. В самом деле, нравится ли это кому-либо или вовсе не нравится, приятно это или, наоборот, неприятно, но факт тот, что советская власть для советских людей есть прежде всего и больше всего своя, народная власть.

А между тем из ошибочного представления об «антинародности» власти делаются политические выводы основного значения. В свое время этим глубоко ошибочным представлением руководствовались нацисты. Гитлер и его штаб предполагали, как известно, что советские люди не будут или не всегда будут, или далеко не все будут считать нацистов врагами, ибо они ведут войну с «советской властью». Вот это-то, глубоко ложное представление, начисто опрокинутое прежде всего недавней мировой войной и многими другими бесспорными сейчас явлениями и обстоятельствами, необходимо постоянно и без страха повторений опровергать. Это необходимо не для пустой полемики или злословия, но для того, чтобы противоречащие действительности заблуждения не приводили к губительным ошибкам большего или меньшего масштаба.

Тем важнее и необходимее понять не только фактическую неправильность утверждений о разрыве между властью и народом, но и опасность таких утверждений, ведущих к глубоко неправильной оценке советской страны.

Мне, как и многим, посещающим Советский Союз на более продолжительный срок, пришлось встретиться здесь с одним явлением, весьма характерным для сегодняшней жизни.

Я имею в виду совершенно новое отношение советских людей к труду, к выполнению ими своих обязанностей, будь то на заводах и фабриках, в сельском хозяйстве, в государственных учреждениях или в общественных организациях. И вот мне кажется, совершенно правы те, кто утверждает, что для большинства современных советских людей труд уже в большой мере стал своим кровным делом.

У советских людей выросло и окрепло, стало привычным ощущение и сознание того, что их участие в труде — частица общего трудового напряжения страны. Я это прямо наблюдал,

а также слышал от ряда людей, слышал не в какой-то декларативной форме — это бы многого не стоило,— а при интимно-душевном рассказе о всей жизни человека, о всей его работе за долгие годы.

В одну из моих поездок на родину мне пришлось с глазу на глаз услышать такое подробное повествование шахтера Кузнецкого бассейна. Это коренной сибиряк, человек уже немолодой, проживший нелегкие годы. Когда он говорил о своей удовлетворенности жизнью, о материальном благополучии его семьи, о своем оптимистическом восприятии всего окружающего, я хорошо понял, что в основе лежит его удовлетворенность своим трудом, в котором он чувствует себя активным участником общего дела. Он не продает, хотя бы и за хорошую плату, ни своих мускулов, ни своих нервов. Он соучаствует в общем трудовом процессе, он творит, и это его сильно молодит, делает интересным и занимательным в его пятьдесят четыре года.

Вспомнился мне и другой интересный человек, с которым мы проговорили многие и многие часы. Если я о нем сейчас говорю, то для того, чтобы не согласиться с встречающимися на Западе представлениями о том, будто в современной советской действительности можно найти черты какой-то новой «чеховщины».

А вот мой собеседник очень далек от героев Чехова, даже в любом обновленном, как бы «современном» варианте. Это сорокалетний ученый-ботаник, спешащий уже не в первый раз из Киева в карпатские леса. Он влюблен во флору этих гор и пишет о ней научный труд. Он долго и интересно рассказывал о работе украинских естественников и об огромных возможностях, предоставленных им для научных изысканий. Киевлянин много также знает об успехах своих пражских сотоварищей по специальности. Он читает на разных языках близкую ему литературу и сам по себе всей своей речью, увлеченностью и вместе с тем широкими интересами, выходящими очень далеко за пределы карпатской растительности, лишний раз подтверждает, что советские интеллигенты живут полной и содержательной жизнью!

В Москве, на Ленинском проспекте, в квартире, где я часто бывал, мне пришлось познакомиться и подружиться с моей сверстницей, колхозницей Орловской области, Анастасией Георгиевной, приехавшей в столицу к сыну понянчить внучку. Женщина она умная с твердой и спокойной душою русского сельского жителя. Училась она мало, с науками не знакома и любит это подчеркивать как свой изъян. А жизнь малознакомого ей города и родной деревни понимает хорошо и умеет, что называется, брать быка за рога, смотреть прямо «в точку». Целыми часами мы с ней дискутировали. Я многому у нее научился и многое понял, еще и еще раз сравнивая высокий уровень этой старой жен-

щины с теми деревенскими бабками, которых я знал в дни моей юности.

Вспомнил также и судьбу двух русских сел, о которых и хочется сейчас сказать.

Когда-то, в 1907 году — я об этом уже упоминал — одним из руководителей кадетской партии, земским врачом А. И. Шингаревым была издана нашумевшая книга «Вымирающая деревня». В этой книге автор, ни в какой мере не относившийся к кругу социалистов, нарисовал жуткую картину жизни двух сел Воронежской губернии. До крестьянской реформы 1861 года эти села принадлежали богатому и старинному дворянскому роду Веневитиновых.

Шингарев рассказывает о постоянном недоедании крестьян и часто прямом голоде, о полном отсутствии какой-либо гигиены в крестьянских избах того времени, переполненных вперемежку стариками, детьми, больными и здоровыми членами семьи и тут же в избе согревающимися у печки новорожденными телятами и поросятами. Он, как врач, приводит убийственную статистику широкого распространения туберкулеза, нервно-психических заболеваний (главным образом у женщин), рассказывает о страшной детской смертности, об инфекционных детских болезнях от грязи и запущенности, наконец, о широком распространении сифилиса и о совершенно недостаточной борьбе с этой роковой тогда болезнью. Он знакомит читателя чуть ли не с каждым двором сел, о которых пишет.

Помню, я перечел его книжку, это было совсем недавно, и невольно перенесся мыслью к нашим рязанским деревушкам, где проходило мое детство. В самом деле — с подлинным верно!

И вот в 1937 году в Москве была опубликована книга К.М. Шуваева, озаглавленная «Старая и новая деревня». В книге этой полностью перепечатана работа Шингарева «Вымирающая деревня», а дальше, также по отдельным дворам, автор обходит оба села, теперь уже колхоза, и рассказывает, что стало с воронежскими крестьянами за истекшие со времени Октябрьской революции годы. Перед читателями проходят перемены, происшедшие за первые революционные годы, когда помещичья земля перешла к крестьянам и когда советская власть и общественность страны повели непримиримую борьбу с неграмотностью и малограмотностью, царившими в шингаревских селах. Далее рассказывается подробно, по отдельным семьям и людям, об огромном культурном и материальном подъеме этих сел-колхозов. Автор говорит о том, сколько людей из этих сел получило законченное среднее образование, сколько — высшее, сколько крестьян обоих сел выписывает газеты и журналы, сколько старых крестьян и молодежи посещают клубы и т. д. И все это с непрерывными параллелями с шингаревским временем, когда, за исключением

помещика и священника, никто никаких газет не выписывал, никто их не читал, да и в глаза редко видывал. Рассказывается о новой больнице, о последовательной борьбе с социальными болезнями, о подавлении сифилиса, детских заразных болезней, о снижении общей смертности и колоссальном уменьшении детской смертности.

Это не общие выкладки, не планы, это не нечто предполагаемое в будущем, а это факты. Это имена, а не статистические таблицы. Прошло еще несколько лет, над некогда веневитиновскими селами пронесся ураган войны, и опять советские исследователи обратились к тем же селам и рассказали, снова обходя дом за домом, двор за двором, о жизни воронежских крестьян уже в послевоенное время, почти в наши дни (в частности, работа П. Бунина «Великие перемены»).

И опять данные о новых культурах, вводимых на полях, сведения об окончании обитателями обоих сел высших учебных заведений, о количестве агрономов, врачей, учителей, офицеров, вышедших из деревни, о новой жизни в стародавних селах. И опять конкретно по отдельным семьям, с приведением фактов о судьбах деда, отца, сына и внучки.

Мне бы очень хотелось, чтобы зарубежные специалисты, интересующиеся социологией деревни, ознакомились бы сами с этой литературой поближе. Возможно, они убедились бы в том, какие громадные препятствия преодолены в современной России.

...Но я разговорился о вопросах и делах, очень меня занимающих, очень мне близких, и забыл о поезде, в котором спешу на север.

Дорога из Киева на Москву идет через небольшой городок Нежин, где когда-то в местном лицее получал первые сведения по литературе и разным наукам, вкушал первые уроки жизни Гоголь.

Мне же этот город долго был хорошо памятен по гражданской войне, по суровым и жестоким ее эпизодам. В этих местах произошло мое первое боевое крещение, первая встреча с гражданской войной во всей ее реальной действительности.

В этот раз Нежин встретил меня совсем по-другому: теплый майский вечер, веселое оживление путников, спешащих в Москву, ряды украинских женщин на перроне, принесших моченые яблоки, пироги и чудесные букеты крупных лесных ландышей.

С одним из таких букетов я и отправился сразу же к руководительнице нашей группы, сотруднице «Интуриста», молодой, привлекательной женщине, бойко распевавшей чешские и словацкие песни. Она знала Прагу и Братиславу и совершенно покорила, притом без малейшего труда, всех моих пражских спут-

ников, принадлежавших, как говорил когда-то староста села, вблизи которого я рос, к «мужскому сословию».

Советские же женщины, о которых во враждебном мире рассказано столько глупых и наивных небылиц, в некоторых отношениях не так уж отличаются от своих подруг, жительниц иных стран. Например, они, как женщины всего мира, очень преданно и нежно любят цветы и благодарны тем, кто их приносит.

А советские мужчины это знают, но, как и мужчины всего мира, часто забывают остановиться у цветочного киоска.

...На север, на милый моей душе север спешит наш поезд. Позади уютная, но все же как бы только полуродная Украина. С восходом солнца неотступно стою у окна, охваченный горячей волной чувств, которых словами определить не умею. Через два-три часа Москва! Чувство полного счастья, о котором я уже говорил, охватило и понесло меня. Такого счастья, какое редко дается в жизни. Очень редко. Многим — никогда.

Почему я не художник? Я нашел бы тогда слова, проникающие в самое черствое, холодное сердце...

Трепетная радость, охватившая меня, когда я из окна вагона увидел Москву, увидел громадину нового здания университета, первые высотные постройки, часть кремлевской панорамы, слилась с волнующим ожиданием встречи с когда-то близкими мне людьми, близкими в бесконечно далеком прошлом как будто в какой-то иной жизни, ином мире.

Нет, пока живу, я не должен, не смею потерять память. Я хочу сохранить в моем сердце до конца дней моих эти минуты на Киевском вокзале Москвы в мае 1959...

Что же еще в первую очередь привлекает взоры человека, давно не бывшего на родной русской земле? Я бы сказал — это равенство отношений между современными русскими людьми.

Люди, выполняющие разную работу — академики и рабочие, писатели и доярки, маршалы и солдаты,— в личном общении дистанции не держат. Конечно, сейчас не времена моей юности, порядок отношений, о котором я говорю, можно наблюдать и в других странах с сильной демократической традицией, но нигде люди разного труда, разных служебных обязанностей не стоят в чем-то основном друг к другу так близко, как именно в СССР.

Особенно это видно, в частности, в отношениях между солдатами и офицерами. Известно, что в старой России разрыв в армии был очень велик; в странах Запада он и поныне не изжит. В советской же стране на каждом шагу можно видеть совершенно равную дружескую беседу людей разного социального круга. Я наблюдал в вестибюле большой гостиницы дежурного швей-

цара в оживленной беседе и даже каком-то интересующем обе стороны споре с морским офицером. Вот такого разговора запросто раньше в России услышать было нельзя. Глубокий бытовой демократизм свидетельствует о том, что сейчас в России кануло в Лету самое понятие избранных и массы, не говоря уже о «господах» и «простом народе». И это в большей степени, чем в какой бы то ни было другой стране, которую мне пришлось в жизни узнать.

Сказанным я вовсе не хочу утверждать, что все советские люди живут в равных условиях. Директор предприятия получает в несколько раз больше, чем уборщица, но когда они вступают в беседу, выходящую за пределы их служебных отношений, они говорят на равных началах и к тому же обычно легко находят общий язык.

Кстати, в Советском Союзе требования, предъявляемые к жизни людьми массовых, неквалифицированных профессий, неизмеримо возросли по сравнению с прошлым. Я, конечно, знал это, но был все же немало удивлен, когда лифтерша, с которой я подружился, мне призналась в своей заботе: «Знаете, дочка и внучка вернулись из Крыма, и эта поездка выбила нас из колеи...» Вспоминая прошлое, я должен сказать, что не только дети лифтерши, но и члены семьи полковника царской армии или помещика средней руки не могли отправиться в Крым на летний отдых. Для этого нужно было находиться на иных, более высоких этажах социальной лестницы.

Равенство отношений, о котором я говорю, создало в стране свою демократию, отрицать которую никак нельзя.

Вот еще одна встреча. В Праге, собираясь в Москву, я прощался с молодой женщиной, моим сотоварищем по переводческой работе.

Это москвичка, совсем юной она вышла после войны замуж за чеха и живет в Праге. Остается же она совсем русской и совсем советской в ее благоустроенной квартирке, где собрана уже большая библиотека русских книг. Она ведет ответственную переводческую работу, требующую широкого горизонта и больших сведений. А в Москве я побывал у ее родителей. Мать в прошлом — ткачиха, теперь пенсионерка, отец — токарь, тоже сейчас на отдыхе. Я знаю, что мать только к 30 годам овладела грамотой. Но меня предупредили, что она «вас многим удивит». В самом деле, открывшая мне дверь старушка оказалась не только приветливой, внимательной и гостеприимной хозяйкой, но и женщиной, с которой можно вести интересный и содержательный разговор на очень многие темы. Она в курсе не только последних политических новостей, но и многих явлений культуры. Она отлично разбирается в тех условиях, в которых далеко за пределами Москвы живет ее дочь. Она сразу же поставила мне ряд беглых, но очень метких вопросов, на которые дать полноценный и иск-

ренний ответ я смог, лишь хорошо подумав и мысленно крепко почесав затылок.

Словом, как говорили в старину, ума палата. Но, скажут мне, что же тут нового? Как будто русские женщины не насчитывали и раньше в своих рядах больших умниц? Конечно, это так, но дело в том, что большой и любознательный ум этой моей собеседницы уже не бился в замкнутом кругу фатально ограниченных представлений, на что он был бы обречен в старой России, а в течение долгих десятилений мог находить себе постоянную обильную пищу, развиваться и крепнуть.

Да и как могло быть иначе? Культурная революция, давно ставшая фактом, совершенно неоспоримо и неуклонно делает свое огромное дело. Достаточно услышать перечень устраиваемых в отдельных республиках страны всевозможных художественных, литературных, научных начинаний, всевозможных проявлений самодеятельности, охватывающих сверху донизу многие миллионы людей! Достаточно развернуть любой номер газеты, чтобы прочесть об этом отчеты. Пусть не всегда эти выступления проходят на самом высоком художественном уровне. Пусть поэты, читающие свои стихи,— иногда люди, далекие от литературной профессии. Их произведения не всегда походят на лучшие образцы великой русской поэзии. Дело сейчас совсем не в этом. А в том, что на литературные собрания, в концертные залы — некоторые из них теперь носят прямо название «Поэзия» — собираются тысячи людей, причем людей совсем не безразличных, а требовательных к тому, что они услышат.

Недавно мне довелось побывать в Ленинграде на вечере, уже совсем не новичка, а большого признанного в стране прозаика и поэта В. Солоухина. Этот человек производит немалое впечатление. Его владимирский говорок, с которым он, по-видимому, не хочет расставаться, как бы подкрепляет его большую и подлинную любовь к родному краю — Владимирской области. Его автобиография, с которой он начал свое выступление, говорит о большом интеллекте, давшем возможность солдату кремлевской охраны в немногие годы стать известным писателем. А молодые ленинградцы, слушавшие Солоухина, вовсе не были намерены ограничиться одними только аплодисментами. Они ставили ему в своих записках многие острые вопросы о литературе, поэзии, о их значении в жизни страны, о положении писателей. Молодежь была шумная, бурная. Солоухин отвечал быстро, точно, прямо в лоб, не уклоняясь, не прячась за общие слова и формулы. Это был вечер, который крепко запечатлелся в моей памяти; он говорил о горячих страстях вокруг деятелей современной русской литературы.

Я слышал это выступление в Ленинграде. И вот сейчас, подходя к последним страницам моих воспоминаний, не могу не сказать еще о встрече с родным городом.

10 Заказ 598

Снова на Неве

Сначала два отзыва о нем, произнесенные совсем чужими устами. Два года назад я вернулся в гостиницу «Европа» с набережной у Зимнего дворца, как всегда совершенно захваченный и потрясенный несравненной перспективой, и вдруг услышал взволнованный рассказ сотрудницы «Интуриста», только что сопровождавшей группу английских архитекторов. Они, пройдя Дворцовую площадь и выйдя на набережную Невы, обогнули слева Зимний дворец и увидели залитую солнцем Неву, по которой шел ранний весенний лед, Петропавловскую крепость, Меншиковский дворец, прекрасную панораму города. И что же? Один из гостей вдруг прикрыл рукой глаза и с глубоким волнением сказал: «Простите мне мою сентиментальность, но я не знал, что руки человека способны создать такое величие, а я кое-что видел на своем веку в самых разных уголках мира»...

А совсем недавно я сам стоял на том же месте этой неповторимой набережной в солнечный день ранней осени, и, вероятно, на моем лице была написана любовь к городу на Неве и поклонение ему, так как ко мне вдруг быстро подошел крепкий молодой человек спортивного типа с взволнованным возгласом: «Какой необыкновенный, прекрасный город!». Говорил он по-русски плохо и оказался сербом, архитектором.

— Я,— сказал он,— только что встретился с моими советскими коллегами. Они мне говорили о предполагаемой реконструкции некоторых районов Ленинграда, но как же к этому великому городу подступиться?! — воскликнул серб.— И, знаете, что я сказал моим собеседникам? Если вы будете вычерчивать проекты перестройки Ленинграда, я надеюсь, ваше начальство вовремя отрубит вам руки!..— Много смеялись ленинградские архитекторы этим словам. Они хорошо знают красоту своего города и меньше всего хотят посягать на нее.

Вот уже несколько раз был я в Ленинграде после длительной с ним разлуки. Каждый раз, уезжая, я думаю все о том же! Разве не было бы мудрым на самом закате жизни стремиться только к одному. Позабыть себя и все связанное с личным и только, пока видят глаза, смотреть на этот город, жить его величием, историей, собранными в нем духовными богатствами. Смотреть на новую жизнь, так не похожую на прежнюю, на жизнь, в которой столько интересного, устремленного в будущее.

Когда я беседую с коренными ленинградцами, они очень часто обращаются своими мыслями к пережитому во время блокады. Рассказывают о бесчисленных жертвах, о жутких испытаниях и жестоких страданиях, об изумительном присутствии духа и героизме тысяч и тысяч людей. Многие мои близкие, в том числе старшая сестра, погибли тогда.

На далекую окраину города, на Пискаревское кладбище, нужно ехать одному. Там, среди иных надписей начертаны замечательные слова: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». Это кладбище — последний приют нескольких сотен тысяч человек — жертв блокады.

Оно всегда стоит передо мной таким, каким я видел его в одно из моих посещений.

Холодный зимний день... Сильный ветер с моря. Сосны вокруг кладбища в снегу, засыпавшим также домики и старые дачки, стоящие по пути. Сумрачный северный пейзаж! Тихо и мертво вокруг, только каркают вороны, перелетающие от нечего делать с сосны на сосну. В дневные часы более теплых дней здесь скопляются автобусы с советскими и иностранными посетителями; читая надписи, имена и цифры, люди уходят глубоко потрясенные, многие, очень многие в слезах.

Не знаю, заслуживает ли человеческая психика такого невнимания к законам ее устойчивости, чтобы в старости человек искал, приехав как бы из другого мира, из далеких стран, следы домашнего очага, покинутого десятки лет назад.

Пришлось и мне на Петроградской стороне Ленинграда, шатаясь от волнения, разыскивать маленький деревянный дом, в котором когда-то жила наша семья. Прежде всего надо было найти улицу.

Я знал, что она переименована, но кого же спросить? Я обратился к старушке, оказавшейся коренной ленинградкой, и подошел, наконец, к месту, где стоял памятный мне дом. Сейчас там детская площадка, и ребятишки перебрасываются разноцветными мячиками.

Я отправился дальше в своих розысках. Где же гимназия Л. Д. Лентовской, в которой я когда-то учился? Иду по Большому проспекту, мелькают названия боковых улиц, они встают в моей памяти, казалось, давно навеки забытые. Вот как будто где-то здесь! Но весь проспект мне кажется каким-то маленьким, совсем не таким, каким я его себе представлял. В здании нашей школы 48 лет назад была булочная Филиппова, вот и здесь, кажется, булочная! Я расхрабрился и, обратившись к старичку в длинном пальто, спросил: «Скажите, не в этом ли доме была когда-то частная школа?» — «В этом», — ответил он, бросив на меня быстрый, недоуменный взгляд. За булочной теперь столовая, раньше это была кофейня, куда мы бегали в большую переменку, и я заставил себя войти в нее.

Я держал поднос в руках, что-то заказывал, за что-то платил и даже что-то жевал, но что это было, ей-богу, не знаю.

Не помню, как я добрел до дома, в котором жил. Но знаю, что в этот день я должен был отменить все встречи, все посещения. Я не мог ни с кем общаться, ни о чем ни с кем говорить.

У самого «окна в Европу», у ленинградского порта, встретился я и с моими пражскими знакомыми. Это бывший актер МХАТа В. И. Васильев и его жена — журналистка и артистка Г. С. Гульяницкая. Они уже несколько лет в Ленинграде, включились в театральную жизнь города и очень довольны своей судьбой. В том же Ленинграде, в номере гостиницы, где я жил, у меня сидела старшая дочь уже называвшегося мной в этих записках московского профессора П. И. Новгородцева, вернувшаяся с мужем в первые годы после войны. Слева от меня сидел и ее брат— инженер, уже много лет ленинградский житель. Все это — люди хорошо устроенные и сумевшие по-настоящему войти в советскую жизнь. А дети их полностью принадлежат к советской молодежи.

Вспоминаю, как И. П. Новгородцева горячо мне сказала: «Я так счастлива, что уже давно я тут и что дочь моя совсем позабыла о своем эмигрантском прошлом». В Ленинграде живут и другие пражские эмигранты. Некоторые из них, как, например, муж Новгородцевой Г. А. Зальф, сильно выдвинулись на научном поприще или в производственной работе.

Ленинград, разумеется, не единственный город, принявший бывших эмигрантов. Еще больше их в Москве. Среди этих новых москвичей, кроме уже названных, Л. Д. Любимов, автор интересной книги «На чужбине», посвященной приблизительно той же теме, что и эти отрывки моих воспоминаний. Он много и успешно пишет о живописи и архитектуре.

Еще недавно в одном из московских учреждений я встретил плотного, очень старого человека, с традиционной гривой седых волос. Это бывший видный эсер В. В. Сухомлин, сотрудник большой французской прессы, полностью ставший впоследствии на советскую платформу. Недавно Сухомлин скончался. А на улице Горького я часто вижу моего друга-противника первых лет эмиграции А. С. Сизова. Он тоже когда-то в юности был причастен к эсерству, но уже давно порвал с эмиграцией.

Перед моим последним отъездом в Москву мне посчастливилось в Праге провести интересные часы в обществе жены сына писателя Е. Н. Чирикова. Семья эта с одним из транспортов русских эмигрантов направилась в Ташкент, где и обосновалась. И вот по прошествии более десяти лет М. В. Чирикова приехала снова в Прагу в гости к своей сестре, рассказав о многих общих знакомых и друзьях, живущих сейчас в Узбекистане. Здесь, как и в Ленинграде, молодежь уже стала совсем советской. И в старшем поколении все рады своему возвращению на родину. Беседуя с этой старой моей знакомой, я невольно снова вспоминал отправку эмигрантских транспортов на родину и весь тот комплекс горячих сложных чувств, которым она сопровождалась и у отъезжавших, и у провожавших.

Эти встречи с бывшими эмигрантами еще раз показали мне, что люди, изжившие прежний строй представлений, легко включаются в новую жизнь их родины.

Впрочем, все они в большей или меньшей степени приобщились к новой жизни, еще живя в народно-демократической Чехословакии. А там, как я рассказывал, у русских сложились уже новые представления, во многом далекие от традиционно-эмигрантских. Не случайно мой приятель Г. Ф. Флорианский, как и я, старый политический эмигрант в прошлом, а теперь советский гражданин, живущий в Праге, вернувшись недавно из двухмесячной поездки в Париж, говорил мне:

— Вы знаете, наши парижские друзья усмотрели у меня совсем новый строй мыслей. Они мне прямо заявляли: «Дорогой, да вы, кажется, стали настоящим марксистом!»...

И в самом деле, в очень серьезных вопросах пражский гость уже не мог договориться со многими старыми парижскими друзьями.

Это еще один штрих все на ту же тему о новых началах, усвоенных иногда помимо воли.

Заканчивая эти воспоминания, я хотел бы добавить, чтобы избежать недоразумений и недоговоренности: всем мною сказанным об умирании старой эмигрантской идеологии и о принятии новой жизни родины, о новом понимании Октябрьской революции я не хочу и не могу по совести сказать, что абсолютно все в современной России выглядит так, как мне того хотелось бы.

Но что же из этого следует? Если повзрослевший или успевший постареть сын видит, что его мать не совсем такая, как он это себе представлял, или как бы ему того хотелось бы, разве она от этого ему дальше? Или он менее готов служить ей? Или он упорно не захочет понять ее жизненный путь?

Велика разница между окружающей действительностью начала моей жизни и современностью. Это не мешает и не должно мешать видеть в полном объеме правду нынешней жизни и радоваться ей. Видеть широкий и глубоко перспективный путь, на который вступила родина и советские люди. Видеть огромные успехи отечества, успехи его науки и техники, вознесшие человека в космос, успехи социального строя, открывшего двери в будущее.

* * *

В старые годы в Праге был клуб под названием «Чешско-русское единение». Там встречались русские эмигранты с чехами-русофилами антисоветского толка.

В первые годы эмиграции встречи были частыми и многолюдными, потом все более редкими и бесцветными. Жизни в этих встречах не прибавлялось; нет, она их как-то все больше обходила стороной.

Вышел я однажды из этого клуба вместе с чешским историком, преподавателем в каком-то полувысшем учебном заведении. Звали его Гавличек. На собрании д-р Ян Гавличек молчал, а тут его вдруг как прорвало, что с чехами случается редко.

— Не так ваши единомышленники понимают ход истории,— начал он.— Знаете, молодой человек, революции так «случайно», от нечего делать, по щучьему велению не бывают. Они происходят, я имею в виду настоящие, глубокие народные революции, как ваша или французская, только тогда, когда все иные пути заказаны, когда пути прогресса закрыты или когда двери в новое только скупо и недостаточно полуоткрыты... Тогда поток прорывает плотину. Он бурен и уносит много жертв — и тех, кто стал против него, и зазевавшихся. Революции всегда уничтожают все одряхлевшее, а также иной раз сгоряча и кое-что из того, что могло бы жить. Великие революции всегда проливают много крови виновных, невинных и часто их участников и проводников. Но они же всегда в конечном счете приводят к бурному прогрессу, к расцвету, к могучему росту подспудных народных сил. Новые люди «снизу» крепче, смелее, сильнее и активнее тех, кого они сменили. Народы и государства от великих революций, как от очистительных гроз, в конце концов, всегда в выгоде. То же будет, скажу вам на ушко, и с Россией. Заметьте еще одно: такие великие народные революции, как ваша, всегда несут на своих знаменах новые идеи, новое учение, которому в той или иной форме принадлежит будущее...

— Мне, — добавил мой собеседник, — не хотелось ваших людей расстраивать, им, я знаю, невесело; но, верьте, это так.

Я с этим историком тогда спорил, называл его фаталистом. А разговор запомнил крепко, на многие годы.

Да, он оказался тысячу раз прав. Этот совсем скромный, совсем незаметный человек смотрел открытыми глазами в «сердце огненное» моей родины.

И вот еще что нужно сказать. Разве все, что мы видели, наблюдали, переживали и продолжаем наблюдать и переживать в жизни советской страны, разве все это не заставляет нас в раздумье, но с гордостью повторять известные всем русским на память знаменитые гоголевские строки о тройке-птице и Руси, несущейся в неудержимом беге.

... «Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все,

что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства...»

Насчет народов и государств нужна оговорка.

Ведь современная русская «птица-тройка» никого затоптать не хочет. Она, как я понимаю, только зовет присмотреться к ее бегу; зовет всех тех, кто этого хочет, следовать вместе к новой жизни.

Послесловие

Для тех, кому сейчас тридцать, сорок, даже пятьдесят лет, события и люди с их взглядами, спорами, надеждами и заблуждениями, картины жизни дореволюционной России, с которыми знакомит нас Д. И. Мейснер,— уже далекое прошлое. Слишком разительно изменился мир после Великой Октябрьской социалистической революции в России, а на её просторах утвердилось могучее советское государство, которое скоро отпразднует славный полувековой юбилей.

Но автор книги взялся за перо не только для того, чтобы рассказать читателю об ушедших в небытие дворянских гнездах, о крахе старой России, который он лично пережил и о чем существует целая литература.

Нет, мемуарист видел свою задачу главным образом в том, чтобы обрисовать белую эмиграцию в 20—30-х годах, показать, как постепенно, под напором жизни, под влиянием успехов советского народа изживала и изжила себя до конца сама «белая идея». Он повествует также о судьбе белогвардейских полков, какими видел их на полях сражений и в унылом галлиполийском лагере, полков, навсегда выброшенных Красной Армией за пределы советской земли; автор показывает «непризнанное поколение» за границей, которое известный писатель-сатирик Аркадий Аверченко, умерший в эмиграции, назвал «осколками разбитого вдребезги» мира.

Эмигрантская судьба привела Д. И. Мейснера в Чехословакию. Он прожил в Праге более сорока лет. За это время многое прошло перед его глазами на берегах Влтавы, во Франции, Италии и других странах, где он периодически бывал, многое им пережито, перечувствовано. Миражи, порожденные изъянами мировоззрения, безвозвратно канули в прошлое, а накопившиеся наблюдения, пережитое вылилось в книгу.

В отличие от многих и многих эмигрантов, кончивших свою жизнь на чужбине в безысходной тоске по родным местам, Д. И. Мейснер своими глазами увидел преображенную родину. Завершая книгу, он описывает, как сама советская действительность, за которой стоит правда, справедливость, светлое будущее, окончательно рассеяли остатки его былой предубежденности.

Переоценка ценностей... Прежде чем это произошло, автор прошел длинный и трудный путь, долгое время находясь в рядах тех, кто, став эмигрантами, продолжали за границей борьбу с новой Россией, пользуясь поддержкой иностранных кругов.

Народы России пошли за большевиками, за Лениным, но многие белоэмигранты не хотели считаться с непреложными фактами и продолжали свою бесплодную и бесперспективную борьбу.

Один из видных защитников исчерпавшего себя общественно-государственного строя В. В. Шульгин во время спора с историком в советском кинофильме «Перед судом истории» говорит: «Мы большевикам не верили, ни словам, ни делам их... мы их просто ненавидели».

Что правда, то правда. Автор книги описывает, чем жили эмигрантские антисоветские организации, мы видим, как, ничему не научившись у истории, некоторые из них уповали на новую интервенцию, другие делали ставку только на заговор, третьи надеялись на перерождение советского строя.

Мы знаем, что все их попытки в этом направлении, все надежды, вынашиваемые годами, лопнули, как мыльный пузырь. Старая Россия, капиталистические порядки в ней умерли навсегда. То, что обречено на слом, на исчезновение с исторической арены,— невозможно оживить никакими средствами.

Д. И. Мейснер принимал активное участие в деятельности ряда белогвардейских эмигрантских организаций, десятилетиями общался с многими людьми русского зарубежья. В своих воспоминаниях он со знанием дела воспроизвел правдивую картину эмигрантской жизни.

Характеризуя эмигрантские политические группировки и течения, рассказывая о жизни различных слоев русской эмиграции, автор наглядно показывает, как со временем менялась политическая настроенность белоэмигрантов, как постепенно изживалось враждебное отношение к советской власти, как в тревожные предвоенные годы «ненависть и любовь боролись в их душах и росла тревога за судьбы давно оставленной родины» и как уроки Великой Отечественной войны советского народа с гитлеровскими захватчиками привели многих и многих даже самых упорных противников советского строя к его признанию.

В книге прослежен путь некоторых лидеров антисоветской эмиграции, показано крушение их идеологии. Во время войны и после разгрома нацистской Германии иные из них пересмотрели свое политическое кредо и отказались от прежних взглядов на Советскую Россию.

Нападение Гитлера на Советскую страну пробудило патриотические чувства эмигрантов, заглушенные до этого старыми обидами и озлобленностью на свою беженскую судьбу. Многие эмигранты активно боролись с врагом, сражаясь в рядах движения Сопротивления в странах Западной и Средней Европы. Недавнее награждение советскими орденами русских эмигрантов, героически боровшихся с гитлеровцами во Франции и Югославии, является признанием заслуг патриотической части эмиграции перед советской родиной.

Если гражданская война в России привела к образованию многочисленной антисоветской эмиграции, то вторая мировая война подвела итог этому явлению.

В первые послевоенные годы множество эмигрантов возвратилось на родину и влилось в ряды строителей коммунистического общества. А те, кто остались за рубежом, давно порвали с антисоветским прошлым, у них появилось стремление постараться объективно разобраться в социально-экономических процессах, происходящих в советской стране, они поддерживают миролюбивую политику СССР.

Только небольшие группки эмигрантов, состоящие в основном из людей окостеневших в своих антисоветских традициях, а также и прямых гитлеровских пособников, продолжают тянуть старую антисоветскую лямку. Переменив хозяев, они перешли от нацистов на службу международной реакции.

События, описанные в книге, охватывают значительный срок — более сорока лет. Д. И. Мейснер показывает их нам с точки зрения человека умудренного жизненным опытом, пересмотревшего многие свои взгляды. При том не все его оценки описываемых событий и характеристики некоторых деятелей можно признать правильными. То же можно сказать и об отдельных высказываниях автора по вопросам социально-политического характера.

Для его мемуаров характерна и несколько старомодная манера письма, а также встречающиеся архаизмы.

Важно, и это главное, что Д. И. Мейснер искренно рассказал о судьбах белой эмиграции, обреченной на политическую смерть еще при своем зарождении. Получив возможность увидеть своими глазами родину, присмотреться к её новой жизни, к чему давно стремился, он убедился в правильности нового пути. Автор сумел разглядеть и верно осмыслить типические черты советской действительности.

Книга «Миражи и действительность» издается нами на русском и иностранных языках.

Советские читатели найдут в ней много для себя нового, расширят познания по истории борьбы эксплуататорских классов с революционным народом.

Для иностранных читателей эти воспоминания могут явиться в известном смысле открытием, ибо доселе им приходилось читать о белой эмиграции выпущенные на Западе тенденциозные издания, грубо извращающие исторические факты.

Проживающие же за границей наши соотечественники, чей жизненный путь во многом совпадает с тем, который прошел Д. И. Мейснер, возможно, с пользой воспримут рассказ автора этой книги и, быть может, вместе с ним подведут итог прожитому в свете сегодняшних дней.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ОГЛАВЛЕНИЕ

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕЙСНЕР

«МИРАЖИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ»

Редактор *Б. Бродовский*

Художественный редактор *А. Мухина*

Технический редактор *Н. Ванагас*

В06101 Сдано в набор 25/VI—66 г. Подписано в печать 17/XI—66 г.
Бумага 60×90/16. Объем 19 печ. л., 19 усл. л., 19,56 уч.-изд. л.
Тираж 200 000 экз. Зак. 598. Изд. № 463. Цена 1 р. 18 к.

Издательство Агентства печати Новости.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

